

Елена
Катишонок

Елена Катишонок

ПРОТИВ
часовой стрелки



ПРОТИВ
часовой стрелки

роман

*Елена
Катишонок*

ПРОТИВ часовой стрелки

роман

МОСКВА 2011



УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

К29

оформление, макет — Валерий Калныньш

Первое издание романа осуществлено в 2009 году издательством «M-Graphics» (Бостон, США)

К29

Катишонок Е. А.

Против часовой стрелки: Роман. — М.: Время, 2011. — 400 с. — (Серия «Самое время!»)
ISBN 978-5-9691-0590-4

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму... Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети вырастут и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет. Единственный способ остановить мгновение — запомнить его и передать эту память человеку другого времени, нового поколения. Книга продолжает историю семьи Ивановых — детей тех самых стариков, о которых рассказывалось в первой книге автора («Жили-были старик со старухой»).

ББК 84Р7-4

© Елена Катишонок, 2009, 2011

© «Время», 2011

*А мы вчерашние и ничего не знаем,
потому что наши дни на земле тень.*

Книга Иова, 8

*Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспмятстве ночная песнь поется.*

Осип Мандельштам

Автобус остановился, развернувшись перед высоким современным зданием. Шофер выключил мотор, и, несмотря на людской гул, стало тихо.

Наверное, ее нерешительность была заметна, потому что какой-то военный улыбнулся и громко сказал: «Конечная, бабушка! Дальше не поедem». Ишь, внучок, улыбнулась она, прожоя взглядом высокую стройную фигуру, но улыбнулась без всякого ехидства, а просто и ласково, как и полагается бабушке. Да иначе ее никак и нельзя было назвать. Старость сэкономила на морщинах, зато не пожалела седины и уже примеривалась к прямой спине. И все-таки это была не старушка: несмотря на преклонный возраст, в ней не было старушечьей шамкающей ветхости. Не было и высокомерной жесткости, отличающей старух; одним словом, бабушка, свидетельством чему были четверо взрослых внуков и двое правнуков. Именно бабушка, в аккуратно повязанном шелковом платочке и вязаной кофте поверх летнего платья: пар костей не ломит, — но в эlegantных, любящих ногу туфлях, которые были сделаны в Бразилии, а не на местной фабрике «1-е Мая».

И лицо, готовое к улыбке.

Пусть выйдут, решила бабушка, не давиться же в дверях. Водитель уже стоял снаружи, с наслаждением затягиваясь сигаретой, а из дверей, точно фарш из мясорубки, продолжали вываливаться люди.

Сойдя на тротуар, она повернулась было к шоферу, но тот даже не дослушал вопрос, а просто кивнул в сторону здания и, выдохнув к небу дым, пояснил: «Это и есть восьмая, других больниц тут нету».

Один за другим люди входили в стеклянно-голубую громаду. Куда люди, туда и я, решила бабушка, твердо помня про язык, который до Киева доведет. Остановилась у диванчика перевести дух: ноги не очень верили, что доведет. Присела. Надела очки, практически бесполезные, но в них чувствовала себя уверенней; и действительно, довольно скоро нашла в сумке таблетки «от сердца». Аккуратно вытряхнула на ладонь крохотное гладкое зернышко. Двадцать минут на трамвае до центра, поиски нужного автобуса в очумевшей толпе, да сколько времени внутри, пока он тронулся, а потом гнал в такую даль, где сроду не бывала. Слава Богу, не девочка: восемьдесят пять в апреле стукнуло, а сейчас июнь на исходе, самая жара.

Рядом на столике стоял графин с водой и толстым перевернутым граненым стаканом. Хотя таблетка легко проскользнула в горло, очень хотелось пить, особенно после душного автобуса. Но из *этого* стакана?!

Когда перед глазами перестали плавать серые червячки, бабушка подошла к широкому окну с надписью «ИНФОРМАЦИЯ», где висел большой календарь, напоминающий крупными черными цифрами, что на дворе 25-е июня 1986 года. Девушка посмотрела вопросительно и, услышав фамилию, зашелестела страницами толстого грассбуха. Бабушка озадаченно смотрела на склоненную двухцветную голову: из черных волос там и сям торчали оранжевые завитки. Казалось, голова вот-вот загорится. Красить не умеет, пожалела она бедняжку, это же курам на смех. Бедняжка прихлопнула ладонью страницу и подняла лицо:

— Шестнадцатый этаж, лифт номер два.

Бабушка не двинулась. Лицо у нее было растерянное, и дежурная повторила, а потом громко, словно разговари-

вая с глухой, спросила: «Найдете сами, бабушка? Подождите, я вам напишу», — и протянула шершавый квадратик бумаги.

Бабушка поблагодарила и отошла, неся бумажку прямо перед собой. Ничего, кроме неясных пятен, — что в очках, что без очков — она все равно рассмотреть на ней не могла. Шестнадцатый этаж, сказала эта пеструшка; сколько же всего этажей?! В поисках лифта двинулась вперед по светлому коридору, который изнутри совсем не выглядел стеклянным. Сама больница тоже не была похожа ни на одну из ей известных: ни на дальнюю и давнюю ростовскую, где она едва не сгорела от смертельного тифа, ни на ближнюю, печально знакомую из-за покойного отца, а затем и матери, Царствие им Небесное.

Коридор уперся в широкое окно. У правой стенки жались люди и нерешительно смотрели вверх, точно ожидая дождя. Бабушка невольно подняла голову. Прямо в стене мелькала широкая красная стрелка, потом появилась зеленая, и стенка бесшумно раздвинулась. Опустив головы, все ринулись в лифт, и она тоже как-то оказалась внутри, крепко сжимая в пальцах путеводную бумажку.

Лифт шел быстро, часто останавливаясь, и внутри становилось просторно, но люди по-прежнему смотрели вверх, где над дверью мигали лампочки. «Пятнадцатый нажмите, мне пятнадцатый», — забеспокоился сзади женский голос, и лифт, точно услышав, остановился. «А мне шестнадцатый», — попросила бабушка и так, держа в руке шпаргалку, почти сразу шагнула в коридор.

Здесь было точно так же, как внизу, только светлее. Блестящий пол, а вдоль стен просторного коридора почему-то

тянулись красивые отполированные перила. Все было обшито светлым деревом, и солидные двери с номерами напоминали скорее гостиницу. Все время казалось, что вот-вот выбежит внучка. Конечно, изумится, обрадуется, перепугается: «Ты одна, в такую даль?! Зачем?..» Она переводила выжидательный взгляд с одной двери на другую, но когда они бесшумно открывались, то выходили совсем чужие люди, одетые кто в пижаму, кто в халат — все яркое, неодинаковое. Некоторые прогуливались, придерживаясь рукой за перила. Только белые фигуры медсестер то здесь, то там быстро пересекали коридор, будто мелом прочерчивали.

Леля не появлялась.

Дура старая, обругала она себя с досадой. Разве в больницу кладут, чтоб человек по коридору шастал? Она вылететь должна; с головой не шутят.

Больше тридцати лет прошло с того дня, как она сама проснулась утром на казенной кровати. По стене быстрыми толчками двигалась муха. Резко остановилась и замерла, а потом начала азартно потирать передние лапки, точно рукава засучивала. Прогнать бы нахалку, но обе руки были крепко примотаны бинтами к железной раме кровати, и каждое усилие отзывалось болью в голове. Лелька тогда пятилетней была. Мало что помнилось, только высокий свод потолка, тугая шершавость бинтов на запястьях да муха на серой стенке. Боль и то забывается. Сестра рассказывала, как они с матерью проводывали ее, приводили внучку, однако сама этого не помнила. Подумать только, всего и запомнилось, что муха, досадовала она. А теперь все поменялось: стенки вон какие светлые, кругом чистота — мухи сюда и дороги не знают... Больница — загляденье, и в этой

больнице что-то делают с ее внучкой, которую не спасли от головной боли даже состриженные волосы.

Бесшумно распахнулась огромная, до потолка, двойная дверь, похожая на детскую распашонку. Оттуда, досмеиваясь, выбежала девушка в белом халате и, сразу сделав серьезное лицо, деловито протопала к столу с горящей лампой. Когда она села, накрахмаленные полы халатика чуть разошлись, как крылышки.

— Вы кого-то ждете?

Выслушав ответ, кивнула:

— Она в реанимации.

— Мне внизу сказали, что здесь, на шестнадцатом, — бабушка протянула бумажный лоскуток.

— Это здесь, — терпеливо пояснила та, — только в реанимацию посетители не допускаются.

— Интересно, почему? — встрял мужчина в махровом халате. — Вон в Америке кого угодно в реанимацию пускают!

— Мы не в Америке, — строго бросила ему девушка и, повернувшись к собеседнице, продолжала, — вот переведут вашу дочку в палату, тогда приходите.

Нужно было поправить: не дочку, а внучку, и спросить, что такое реанимация, но она не могла решить, с чего начать, а руки и ноги стали вдруг очень тяжелыми. Наверное, это было заметно, потому что крылатая барышня вскочила и сама подвела ее к стулу:

— Вы сядьте, бабушка, — но не отошла сразу, а ждала, пока она нащупает в сумке таблетки.

Славная какая, растроганно подумала о девушке, которая уже несла ей воду. Отдышавшись, хотела поблагодарить, но не получилось; только выговорила:

— Как она себя чувствует?

Девушка взглянула укоризненно:

— Ну как может человек себя чувствовать после *такой* операции?

И стало не нужно узнавать про эту реанимацию: сердце подскочило к самому горлу, и она закашлялась, точно оно не давало дышать; да так и было. Опять растопырились полы халатика: сестричка переполошилась, и бабушка, откашлявшись, замахала руками: не надо никакого доктора звать, Боже сохрани. Нашелся и корвалол; она выпила пахучую гадость и теперь сидела, с наслаждением глотая воду.

Напротив стола с лампой висели круглые часы с такими крупными цифрами, что она без труда их различала. Часы обладали пугающей особенностью: было видно, как движутся стрелки. Самая тонкая плыла тяжело и непрерывно, как в масле, а минутная, вздрогнув, с громким щелчком перескакивала на следующую отметку. От этого казалось, что время идет очень быстро, вот и еще минута проскочила. С трудом отведя глаза, бабушка подумала, что такие часы хороши для больницы: каждая уходящая минута уносила Лелькину болезнь.

Она не стала спрашивать у отзывчивой сестрички, чем внучка больна и скоро ли ее отпустят — пусть вылечат хорошенько, зря держать не станут, да и часы подгоняют, — поднялась осторожно (ноги держали), поблагодарила и направилась к лифту. Девушка догнала: «Я провожу вас, бабушка», — а пока ждали лифт, спросила: «Сколько вам лет?» В ответ недоверчиво протянула: «Да ну!.. Нет, вы молоде выглядите!» И хотя было очевидно, что для двадцатилетней барышни что пятьдесят, что восемьдесят пять — одно и то же, все равно было лестно. Внимательная какая;

зря ругают молодежь. Проводила до первого этажа и даже показала, где такси останавливаются, да только такси ей не по карману, о чем ни любезной сестричке, ни шоферу полупустого автобуса, где она удобно устроилась на переднем сиденье, знать было ни к чему.

Вот и съездила, бабушка, говорила она самой себе. Афера, чистая афера. Вчера, случайно услышав, как внучкин муж сказал кому-то в телефон: «...Восьмая больница, автобус прямо от памятника Свободе», она еще не знала, что ноги сами приведут сегодня к этому автобусу, и она будет трястись через весь город, а потом вознесется на шестнадцатый этаж, где будет смотреть на зловещие часы, услышит непонятное слово «реанимация» для того только, чтобы так и не повидаться с внучкой, большой неизвестно чем, но так страшно, что к ней не пускают.

Автобус несся быстро, словно истосковавшись по дороге. За окном, как на экране телевизора, мелькали одинаковые серые дома, июньская щедрая зелень и разноцветные машины. На конечной остановке бабушка опять вышла последней. Потом был трамвай, а когда оказалась дома, что-то произошло, о чем она, как ни старалась, вспомнить не могла. Знала твердо, что комната была залита предзакатным светом, и привычно сняла платок, а потом вдруг увидела матово белеющую подушку рядом. Вторая лежала под головой. Как она очутилась на кровати, даже не переодевшись — только туфли скинула — и сколько времени прошло? На улице горели фонари, и небо от этого было бледно-сиреневым. Включив лампу, поднесла к глазам будильник: десять минут одиннадцатого. Куда делся кусок времени — и жизни, ведь был седьмой час?..

«Натопалась, бабушка», — сказала негромко. Выпить чаю, потом затеплить лампадки — и спать. Встав, включила телевизор, хотя программу «Время» пропустила. Во весь небольшой экран прямо на нее неслась бесцветная дорога, по краям мелькали дома, одинаковые, как вафли из пачки. Такое уже показывали, недавно совсем. Равнодушно повернула рычажок, отправив скучную дорогу мчаться навстречу кому-то другому. Не забыть часы завести. Сначала старый, довоенный еще будильник, давно оглохший и потому разучившийся будить, но исправно стрекочущий время ее жизни. Бабушка бережно повернула его и, придерживая левой ладонью циферблат, начала осторожно крутить тугой металлический бантик, прямо над изогнутой стрелкой и надписью на когда-то привычном немецком языке: «*gegensinnig*». И немецкий забыт, и глаза не видят, да это и не нужно: пальцы привычно крутят маленький железный бантик «к себе». Этот старомодный никелированный будильник, бросающий вызов ходу времени, не казался ей ни смешным, ни нелепым. Потом взяла в руки второй, маленький и изящный, с плоской иглой секундной стрелки, и долго пыталась поймать бессильными глазами движение этой стрелки. Внучка привезла из Ленинграда, когда в командировку ездила. Господи!.. Лелька! Шестнадцатый этаж... И так, с прижатым к груди будильником, опустилась на стул.

2

Когда человеку за восемьдесят... Нет, здесь необходимо назвать точную цифру, ибо старики так же ревниво относятся к своему возрасту, как и дети, и так же гордятся каж-

дым прожитым годом. Это пожилые пугаются и конфузливо машут рукой: чур, чур тебя; поспешно уезжают в отпуск или на дачу, чтобы избежать нашествия гостей в день рождения. А если все же скрыться не удастся, то празднуют как-то стыдливо, искоса посматривая друг на друга, и в разговоре молодежато подтягивают животы, страдающие преступным склерозом талии.

Когда же человеку восемьдесят пять, и он не только не нуждается в палке, но походка его легка, руки не дрожат, и голос звонок, он вправе не только гордиться этой цифрой, но еще и прихвастнуть: мне, дескать, уже восемьдесят шестой пошел... Бабушке тоже не было чуждо такое хвастовство, и если она нечасто щеголяла почтенным своим возрастом, то единственно от недостатка аудитории. В этом своего рода расплата за долгожительство: жизнь становится малолюдной, как загородное шоссе в будни. Знакомые и стареющие, как ее собственное, лица вдруг замирают, больше не меняются и остаются такими в памяти навсегда. Иногда бывает иначе: четыре года назад, когда хоронили брата Мотю, видела не только стянутые вечным холодом черты, но и живое лицо десятилетнего мальчишки, дующего на стакан с кипятком. Уходят родные. За праздничным столом становится просторно, а на кладбище тесно. Все чаще и чаще именно там встречаешь друзей молодости, и в разговоре непременно узнаешь, кого еще не стало.

Умерла сестра; скоро два месяца будет, как умерла. Да только ли сестра, и со смертей ли нужно начинать?

Как посмотреть.

«Илиада» начинается перечнем кораблей, а воспоминания, тем более воспоминания старого человека, живут по законам внезапности, наваливаясь на него в самую непод-

ходящую минуту и захлестывая с головой. Вместе с тем человек, проживший долгую и непростую жизнь, — это тоже эпос, крохотный и в то же время огромный, поэтому его родословная заслуживает описания. Лучше всего сделать это по модели великой книги, где самые эпохальные события очерчены такими скупыми и емкими словами, что непременно отыщется хоть один пассаж, написанный о каждом из нас. Начать уместно, наверное, с тех, кто дал жизнь старой женщине, сидящей с будильником в руке.

Вот родословие ее.

Жил человек именем Григорий в земле Ростовской, на берегу Дона. Григорий взял жену именем Матрона.

И сказал Господь Григорию: встань, возьми жену свою, и поведу я тебя по дороге к захождению солнца, даже до моря западного.

И послушался Григорий, и пошел, и стал жить у моря, где указал ему Господь.

Жена родила ему дочь Ирину, сыновей Автонома и Андрея, дочь Антонину и сына Симеона.

В четырнадцатом году стала война по всей земле и поразила город у моря. И двинулся Григорий со всеми сынами и дочерьми, и пришел в землю отцов своих, откуда вышел он и жена его.

И жили там.

Когда же был голод в земле Ростовской, скорбел Григорий и воззвал к Господу.

И сказал ему Господь: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо спасешься.

Послушался Григорий и вошел в ковчег, и вернулся, и разбил свои шатры у моря, и стал жить.

Ковчегом в каждодневной, неэпической жизни называлась теплушка — битком набитый поезд времен гражданской войны. Все остальное полностью соответствует эпической действительности. Более того, величаявая простота и лапидарность фраз ведет, тянет за собой, и, несмотря на то что поменялось время и выросли дети и внуки, невольно хочется продолжать в той же тональности.

Был человек именем Конон, и взял жену именем Ирина, из рода Григория.

Ирина родила дочь Таусию и сына Льва.

Автоном взял в жены Павлу и родил Михаила, Виктора, Нину и Димитрия.

Андрей взял в жены Надежду и родил Геннадия и Людмилу.

Антонину взял в жены человек именем Феодор, и родили Георгия и Татьяну.

Симеон взял себе наложницу из рода шляхетского, именем Ванда, и родила ему Ванда Вячеслава, и Алексия, и Сабину.

Григорию было семьдесят шесть лет жизни, когда он умер.

И Матроне было семьдесят два года жизни, когда она умерла.

...Пожалуй, если перечислить всех потомков рабов Божиих Григория и Матроны, получилось бы достойное колено — одно из немалых колен русских, которых Господь не вывел из земли, где они жили, ибо она стала для них родной. А та, что держит сейчас в руках будильник, бессонно отстукавший три четверти из ее восьмидесяти пяти лет, и есть Ирина, старшая дочь.

Здесь, на этой земле, прожила она свою долгую жизнь, которая, в свою очередь, состояла из нескольких эпох — по числу жизней тех, кого не стало. Эпоха под названием «ког-

да еще папа был жив», «мама», «брат». Хорошо помнилась, несмотря на сизую даль времени, безразмерная общая эпоха по имени «мирное время», но она навсегда скрылась в мареве рыжей дымной пыли. Пыль медленно и неохотно оседала на тусклых рельсах, тянущихся за поездом, и на вагонных стеклах, сквозь которые все труднее было рассмотреть мирное время. Муж, Коля, настоял... Да что настоял!.. — заставил ее с детьми сесть в тот поезд — догонять мирное время, убежать, точно можно было спастись от войны. Тогда порвалась ее жизнь — коварно, предательски, неожиданно, хотя совсем не должна была порваться: рвется, если неправильно скроено, как учила мадам Берг, портниха высокого класса; а ее жизнь была скроена и сшита любовно, радостно и умело.

Порвалась.

Нет, иначе: война порвала.

Такое же время за окном стояло: не то запоздалые сумерки, не то затянувшийся рассвет — белые ночи. Белые ночи — и черные дни: горячие, знойные, как вот сегодня, ослепительно солнечные. Сегодня днем часы отстукивали минуты внучкиной болезни, и только сейчас, из белой ночи, отчетливо стал виден цвет минувшего дня.

Как тогда, ровно сорок пять лет назад.

Ночь так и не сумела сгуститься. Душный вагон поезда уносил их все дальше и дальше от дома, где оставались муж, мать с отцом и семья сестры. Город, где она родилась и родила своих детей, уже сменился однообразными летними пейзажами, которые время от времени оживлялись то озерком, то пыльным пришибленным полустанком, то хутором на

пригорке. Поезд шел очень медленно, часто останавливался и подолгу терпеливо стоял, пропуская эшелоны с солдатами, — те, напротив, мчались очень быстро, оставляя позади душливую рыжую пыль. Иногда поезд тормозил, и люди вокруг начинали беспокойно вертеть головами и вскакивать. Машинист бежал вдоль вагонов, крича: «Выходи! Не поеду дальше, бомбят вон!..» — и смотрел в небо, вобрав голову в плечи. Люди подхватывались с мест и бежали в поле, неловко скатываясь с высокой насыпи. Ира тоже было вскочила, сжимая ручку корзины, и... опустилась на сиденье. Не побегу. Судьба так судьба: пусть тут убивают. Что ж я в поле буду лежать?!

В том же поезде она начала мысленно писать Коле письмо. Как все такие воображаемые письма, оно получалось очень ярким, внятным и убедительным. Нашлись единственно правильные слова, чтобы Коля не обиделся и перестал на нее сердиться: ведь они поссорились, первый раз в жизни поругались среди бела дня 25-го июня черного 1941 года, поссорились только потому, что она не хотела без него уезжать! Ни разу до этого они не расставались, а теперь он сам выталкивал их из Города, заставлял ехать неизвестно куда, да еще объяснял, какая это удача, что они могут эвакуироваться!.. То хмурился и даже голос возвысил, чего за ним не водилось сроду, то, напротив, называл ее Ирочкой, милой, послушай меня, родная... Сам неумело складывал толстое одеяло, а на улице ждал грузовик, шофер изнывал от жары, но в дом не заходил, так и сидел в пыльной фуражке за рулем. Ира беспомощно обводила глазами квартиру: солнечные трапеции на полу, икона «Нечаянные радости», кровать под пикейным покрывалом... подушки надо захватить, на

чем спать-то? — и тут же забыла про подушки. В приоткрытую дверь видна была кухонная плита, а на плите кастрюля; пахло супом. Перевела взгляд на икону: нет, как же можно, незнамо куда... Книжная полка темнела провалами, точно рот с выбитыми зубами. Стулья криво отъехали от стола. На комодѣ стоял будильник, как привык стоять всю их недолгую жизнь, и тикал безмятежно; стрелки показывали половину второго.

Осознать это было невозможно: после войны здесь так же стояли уцелевшие вещи, да что вещи — будильник стоял, будто уверен был, что они вернуться. Теперь он потускнел и даже тикает не так громко, но ведь дождался же! А Коли нет и никогда не будет. Зачем он это затеял?.. Вы должны уехать, пойми, Ира. Береги детей, родная. Тайка, оставь велосипед, не пускай в вагон! Да-да, зимнее бери, кто знает... Да куда я возьму, у меня только две руки?! Сестра вон не едет никуда, мама остается; зачем, Коля, зачем? И — дробный грохот: Левочка выронил из рук ящик с оловянными солдатиками, а Коля улыбается: не играй в войну, сынок; видишь — большие играют. И, повернувшись к ней: как славно, ты в моем любимом платье. Помнишь, мы ездили в Кайзервальд, и ты была в этом платье? Левочка еще тебе мороженое на колени уронил, помнишь? Коля, Коля, какой Кайзервальд, Господи, зачем ты нас прогоняешь?! Вдруг — твердо, даже губу закусил: так надо; потом поймешь. Скорее! Как нарочно, нетерпеливо загудела машина. Слышишь, это за вами. Ну, с Богом! Потянулся к ней, но Ира отпрянула в гневѣ и досаде, так что он только в волосы успел поцеловать, обнял детей обеими руками одновременно — и торопливо подтолкнул к двери. Ирочка, родная... Вполоборо-

та: там суп на плите, горячий, — и руку протянула: зачем, Коля?! — А зачем война?..

Теперь она сидела, зажата с двух сторон чужими боками в переполненном вагоне, и держала на коленях корзинку. Мать уложила туда дорожную снедь в пергаментной бумаге. Между свертками торчала высокая бутылка с молоком. Хоть бутылка была надежно закрыта фарфоровой крышечкой с резиновой прокладкой, было тревожно, что молоко прольется. Так, механически следя за танцующим в бутылке молоком и время от времени переводя недоуменный взгляд на колени, обтянутые Колиным любимым платьем, писала ему письмо. Карандаши и бумага — добротная, плотная бумага в сиреневую полоску и с малиновым обрезом — были сложены вместе с книгами и постельным бельем, а все вместе втиснуто между детьми на второй полке. Вот приедем, думала Ира, надо сразу сесть, записать — и отослать в тот же день. Так хотелось это сделать, что хоть сейчас начинай; корзинку на пол, что ли? Да только дети уже уснули, не будить же из-за бумаги, а на такой пол лучше не ставить ничего.

Несмотря на то, что ночь так и не состоялась, вагон затих. Спали не только дети, но и взрослые, — или делали вид, что спят. Ира осторожно поправила маленькую подушку у сына под головой. Подушка была с бесхитростным «секретом»: внутри второй наволочки, завернутые в мягкое полотенце, лежали все их деньги, которых должно было хватить хотя бы на полгода скромной жизни. Документы положила на самое дно корзинки — машинально, не думая. Война не стала препятствием для воровства, поэтому бесполезная модная сумочка и дорогие вещи были оставлены дома: лишний со-

блзн. А так — подушка и подушка, тем более под головой у ребенка; не украдут.

Украли.

Наверное, все же забылась хоть на час: раз не было ночи, то утром. В тряском, ненастоящем сне снова говорила с Колей, но уже не так, как дома, а — как в письме: ровно, мягко, убедительно. Когда открыла глаза, дети еще сладко спали, — словно войны не было. Она сразу увидела, что подушки у сына под головой нет, и так же сразу поняла, что искать бессмысленно. Сыночек, сыночек! — Живой, слава Богу; и не проснулся даже, когда чужие руки выдернули из-под головы подушку. Все их сбережения, да мать сунула, сердито приговаривая: «Нам-то на кой, бери-бери, у тебя ребята». Увидела, да так явственно, словно не в воображении своем, а воочию, как вор, быстро оглянувшись, удовлетворенно перекладывает деньги во внутренний карман двубортного пиджака. Почему двубортного, почему именно пиджака, откуда она это взяла, неведомо, но видела отчетливо человека, а не деньги, к которым и привыкнуть-то еще не успела за короткое время советской власти. Деньги и деньги, дело наживное; не плакать же из-за них.

А ведь было, что плакала. Бежала с работы, зажав в руке — даже в сумочку положить не хотела — недельное жалованье. В мирное время, когда республика была. Деньги выплачивали аккуратно, вручали в продолговатом конверте. На семью, детей, домашние дела и обязательный маникюр, без которого на чулочной фабрике «Планета» к работе не допускали, оставалось воскресенье, да много ли успеешь за один день?! Спасибо, маникюрша вечером домой при-

ходила, а потом резкая ацетоновая струя вытесняла запах свежевыглаженного пододеяльника. Ненадолго, впрочем: в полшестого уже на ногах, работа начиналась в восемь — и заканчивалась тоже в восемь. Работать Ирине было не привыкать, да только... только жить было некогда. Потому и плакала, торопливым шагом пересекая нарядную эспланаду и не замечая сочувственных и недоуменных лиц. Зачем, зачем мне эти деньги, у меня за прошлую неделю зарплата лежит нетронутая, да мне же тратить их негде и некогда! Мужу, детям не успеваю порадоваться, а по ночам вижу чулки, чулки, потом будильник, но уже наяву. За что, Господи?! За что мне столько денег, и на кой они мне?..

Денег на жизнь хватало, а что работать по двенадцать часов, так и все так работали, не только на фабрике «Планета», привычно думала она, ловко крутя на руке шелковый чулок: нет ли спустившейся петли. Р-раз! — сдернуть за носок и передать направо, где барышня укладывала очередную пару в хрусткую прозрачную упаковку, обезображенную рисунком того же проклятого чулка.

...Сколько раз она вспомнит себя, бегущую в слезах с зажатými в руке деньгами, когда теплым сентябрьским полднем окажется совсем далеко от древних камней родного города, а именно в Поволжье, в деревне под названием Михайловка, в самом что ни на есть медвежьем углу? Но сначала помытарились в каком-то поселке под Ярославлем. Запомнился головокружительный запах сена, на котором спали ночью в помещении школы; днем, вместе с другими эвакуированными, сгребали это сено в поле и метали стога. Она отправила домой открытку — шершавую рыжеватую картонку, чтобы

Коля не тревожился, а то главное письмо, так хорошо сложившееся в вагоне, написать было негде и, главное, некогда. Тревожно ждали, куда же их направят дальше, а новые пыльные эшелоны доставляли новых измученных беженцев, не смевших распаковать свои пожитки, потому что вот-вот должны были отправиться еще куда-то. Так произошло с Павой, женой старшего брата. Она успела сунуть Ирине несколько кредиток, пока красноармеец подсаживал ее с тремя детьми на подножку. «Куда, куда их?» — «На Урал», — отмахнулся устало. Так расстались с Мотиной женой.

Наде, жене среднего брата, было нелегко: сынишке третий год, а девочка только начала ходить. Договорились не разлучаться, куда б ни послали. Уходя на войну, Андрей просил: «Не оставляй их, сестра. Ты ведь знаешь, какая она». Ирина знала; вернее, ей так казалось, потому что привыкла понимать брата с полуслова, как и он привык во всем полагаться на старшую сестру. Теперь обе держались рядышком, с изумлением вслушиваясь в царящее вокруг разноязычье. Многие даже по-русски говорили иначе, не так, как они; другие словно передразнивали. Оказалось — белорусы. Вавилонское столпотворение, только вместо башни — лохматые стога сена, точно каждый сам себе башню строил.

Принимая очередной поезд, какой-то военный кричал сипло и безнадежно в телефон: «У тебя наряд? А размещать где? У меня тоже наряд! Засунь свой наряд себе в ...! Я что, рожу тебе место?!» До нарядов ли тут, подумалось Ире, но удивиться не успела; Надя закричала: «Едем!»

Так они оказались в С*-ой области, в соседних деревнях.

А тот день и свои слезы по пути домой вспомнит не раз, но вне связи с деньгами, хотя деньги как раз им понадобились довольно скоро. Во-первых, потребовалось за что-то заплатить в сельсовет. Определили их на проживание к некоей Михайлихе, точно мало было одного названия деревни. За проживание, как Ирина предположила, и следовало платить, но почему-то не самой Михайлихе, а в неведомый сельсовет. Хозяйка повела ее в огород и ткнула хворостиной в две грядки с краю: это тебе. Сдвинула платок и, сунув корявый темный палец в ухо, затрясла им быстро-быстро. Завязала платок потуже, покосилась на детей и той же палкой показала на третью грядку: «И тую бери. Весной посодишь что-ничто». — «А как же вы?» — «А что я. Я тебе мешаться не буду, я к сестры пойду жить. Когда надо будет, приду от сестре, заберу что-ничто — и обратно».

Михайлиха была худая скуластая баба, на вид Матрениного возраста, но седины и морщин было больше, чем у матери. Позднее выяснилось случайно, что она Ирина ровесница. Сын ушел на фронт, так же, как и оба племянника. «А муж тоже на фронте?» — «Кабы с голоду не помер восемь лет назад, был бы на фронте; куда ж деться». Больше Ира вопросов не задавала, озабоченная только одним: как бы скрыть недоверие на лице. Она очень хорошо помнила голод в Ростове — тогда, давно, в первую войну; ей четырнадцать было. Но здесь — от голода?! Коля так рассказывал о Советской России, что становилось ясно: лучше страны не бывает, поэтому поверить в голод было просто невозможно.

Пришлось поверить, и намного скорее, чем хотелось бы.

Денег не было, только в кармане помятого пальто нашлась одна тридцатирублевка, скатанная трубочкой. Выка-

пывали на огороде картошку, варили, пекли; дети получали в школе какой-то суп. Ирина пыталась устроиться на работу, но председатель только мотал головой, озабоченно по-маргивая. Часто заходила Михайлиха.

— Ты какую работу-то работала там, у себя? — Теперь уже Ирине не показалось: последние два слова, как и прежде, прозвучали недоверчиво.

Ира пожала плечами. А какую она не работала? Но разве объяснишь вот так, стоя по другую сторону одолженной тебе грядки, про табачную фабрику, парфюмерный магазин, пекарню, модное ателье, чулочную, будь она проклята, фабрику, с которой она в слезах бежала домой, сжимая в руке деньги, так нужные сейчас!..

— Портниха я.

Михайлиха взглянула удивленно-недоверчиво:

— А хоть бы и портниха — шить-то не с чего; бумагею негде взять.

Перешагнув через грядку, хозяйка привычно зашла в дом и загрохотала на полке какой-то утварью. Она брала в руки то одну, то другую посудину, что-то откладывая в сторону; откуда-то выполз таракан. Тайка шарахнулась с криком.

— Чего ж ты голосишь, милая моя (Михайлиха выговаривала: «милма»), — хозяйка кинула на девочку насмешливый взгляд, — где невеста, там и тараканы. Другая бы спасибо сказала. — Потом, повернувшись к Ирине: — Ты мне кацавейку, часом, не поправишь? Стрепанная больно, а холода на носу. Если что надо, так я у сестре, — и вышла.

— «К сестры, у сестре, невеста, милма», — передразнила Тайка. В свои двенадцать лет она была строптивой девочкой с хмурым взглядом и обиженно надутыми губами. Пере-

дразнила так смешно, что Левочка расхохотался. Потом отложил книгу и спросил:

— Мама, а хлебушка нету?

Не было.

На следующий день Ира снова побежала в контору. Председатель на этот раз встретил ее иначе:

— Нашел я тебе работу: ночной сторожихой пойдешь?

Она возликовала, но все же спросила:

— А куда?

— «Заготзерно», там ночью никого нету. Пойдешь, что ли?

— Пойду! А за какой год?

— Чего?.. — Председатель поднял голову от серой разграфленной бумаги и посмотрел прямо на нее, мелко и часто моргая, точно заикался глазами. Из-за этого странного дефекта невозможно было поймать его взгляд.

Ирина повторила:

— За какой год зерно, за этот или... за прошлый тоже?

Председатель насторожился и заморгал еще чаще:

— Тебе знать незачем, твое дело будет сторожить. Знаешь, где «Заготзерно»? Сегодня в ночь и выходи.

— Найду, — обрадованно схитрила Ирина, — во сколько приходиться?

— Обожди, — он вышел из-за стола, — я сейчас.

Вернулся с двумя плотными мешочками, каждый величиной с буханку:

— Проелась, — произнес без вопроса. — Тут на первое время хватит, только хлеб не пеки, — и сунул, помаргивая, мешочки прямо ей в руки.

Вот и хлебушек, думала Ира, подходя к дому, дай Бог здоровья председателю. В деревне его называли просто Терё-

хой (а за глаза и Моргатым), но то свои, а для нее он был Терентием Петровичем. Оставалось решить две загадки: почему нельзя печь хлеб и... место работы.

Второе выяснилось, как только дети пришли из школы: не зерно за *какой-то год*, а заготовка этого зерна, для краткости — Заготзерно. Еще раньше заглянула Михайлиха и долго вертела преобразенную Ириными руками кацавейку, если эту неуклюжую громоздкую кофту на вате можно было назвать таким разудалым словом. Не было на ней ни затейливого шитья, ни меховой опушки, зато заплат хватало с избытком, а подкладка протерлась в нескольких местах, обнажая темную и жалкую сбившуюся вату, вылезающую из прорех. Правда, так выглядело это облачение до Ириного вмешательства, а сейчас, когда Михайлиха требовательно крутит его и перебрасывает с руки на руку, охотно верилось, что, если это и не настоящая кацавейка, то уж в отдаленном родстве с таковой явно состояло. Подкладка, обтерханные рукава и борта были обшиты плотным темным сатином, а из захваченных второпях обрезков шерстяного сукна удалось скроить новый воротник и накладные карманы, так что если прищуриться, уговаривала себя Ира, кофта как кофта.

— Ишь ты, лучше новой! — восхитилась Михайлиха. — То-то бабы мне завидовать будут. А я ребятам молока принесла, да и на затируху хватит. — Она запахнула обновку, хозяйственно погрузив руки в карманы. У дверей оглянулась: — Ты затируху-то знаешь, как делать?

Да уж справлюсь, в Ростове досконально научилась; это не «Заготзерно», молча парировала Ира, а руки уже ловко растирали... нет, *затирали* муку — темную, грубого помола,

да слава Богу, что такая есть, — с кипятком. Нашлась луковича и сделала маленькое чудо: запахло супом. Не настоящим, конечно, супом, — во всяком случае, не тем, что остался на плите в день их отъезда, — так ведь и они уже становились другими... Там, дома, Тайка долго сидела бы с надутыми губами, упрямо отводя взгляд от тарелки. Левочка съел бы лениво несколько ложек бульона, а гущу — ни-ни. Одну бы ложечку той «гущи» сюда, в эту затируху — вот попиروвали бы... Даже забелить нечем. Как нечем? А молоко!.. Хозяйка не поскупилась, принесла полную кринку, так что впервые за долгое время дети наелись. Почти.

Пока Ирина раздумывала, как разумней поступить с драгоценным пшеном из второго мешочка: наварить ли каши или добавлять каждый день в затируху, — в окно легонько стукнули. Поля, соседка.

После того, как Михайлиха триумфально прошествовала по деревне в возрожденной кацавейке, в окошко их домика стучали часто. Чего только не приносили! Из старых брюк ушедшего на фронт мужа требовалось сшить новую юбку для жены; из пропахшего нафталином сарафана той, кого уж давно нет в живых, наоборот, брюки для внука; из огромного и жесткого, как асфальт, драпового пальто... Ирина с сожалением покачала головой: «Не возьмусь. Тут без машины не справиться, а машины у меня нет».

Поля помолчала, чуть прищурившись, будто решая про себя, продолжать или уходить.

— Ну а если, — она сделала паузу, — а если будет машина... Ты с машиной-то... Не спортишь?

У Иры чуть дрогнули уголки губ:

— Не спорчу.

— Пойдем, — гостья решительно водрузила драповый монумент на лавку и вышла первой. По пути рассказала, что картошки в этом году полно, гороху тоже. А ты в «Заготзерне» вроде? Смотри, чтоб Тереха твои трудодни не проморгал.

— Убогий он, — вставила Ира, идя следом.

— Убо-о-гий!.. Зато на фронт не попал. Как же: «убогий». Так и просидит всю войну у бабьих юбок.

— Он не женатый разве?

— Был женатый, а теперь вдовееет. Девятый год пошел.

Шли молча. Ира спросила нерешительно:

— Случилось что, или родами?..

— Катерина-то? Не, она легко рожала. Трое у них с Терехой было, два мальчика и девонька, ма-а-ахонькая совсем.

«С кем же он детей оставляет?» — чуть не спросила Ирина, но запнулась о прошедшее время.

— Славная девчушка была, — продолжала Поля, — Тереха в ней души не чаял. Все на руках ее носил, уже когда все лежали, встать не могли. Мальчишки первые померли, потом Катя, а девонька последней. Так у Терехи на руках и отошла, точно уснула.

— Отчего... они все?

Женщина не обернулась, только шаг замедлила:

— С голоду. — И снова пошла быстрее, что было очень кстати, ибо лица собеседницы не видела.

Ира сама видела немного, потому что Полина спина вдруг раздвоилась, а вскоре несколько Поль то расходились веером, то сливались опять в одну, пока наконец эта одна не распахнула дверь сарая, кивнув походя на домишко рядом: «Тут я живу».

Темновато, как и во всяком сарае. В углу сутулятся мешки с картошкой — недавно копала. Сено под ногами, как и в любом другом сарае. Поля подняла зачем-то небольшой пучок, медленно обтерла руки и сдернула пустой мешок с того, что можно увидеть отнюдь не в каждом сарае. Точно такая же швейная машина стояла у Иры дома, в простенке между окнами, и солнце падало прямо на сверкающую педаль, где было вытиснено «Singer» с пузатой заглавной буквой.

Приводной ремень цел; головка в порядке — ржавчины, как она опасалась, нет, слава Богу. В выдвижном ящичке обнаружили сокровища, которые не снились ни одному соискателю богатства из «Тысячи и одной ночи». Наверное, потому, что их фантазия не простиралась дальше парчового халата и хрустального дворца, а настоящий клад — иголки разного роста и упитанности, катушки ниток, похожие на приземистые бочонки, фирменная жестянка с надписью «Singer» на крышке и гремящими детальками внутри — настоящий клад покоился именно здесь, и он делал вполне реальным если не хрустальный дворец, то уж парчовый халат наверняка, найдись в деревне Михайловка парча.

Парча не парча, но та же бумазая у кого-то нашлась. Заказы приносили по большей части на перешивку старья для подрастающих детей; если новое, то почти всегда «кофту», редко другое. Расплачивались пшеном, картошкой; иногда молоком. Случалось, приносили твердое сало в тряпке, на котором густо, как иней, блестела соль. Шить нужно было только для местных (у эвакуированных были другие заботы), хотя понятие «местные», как выяснилось позже, оказалось весьма относительным. А пока Ирина каждую ночь

проводила в «Заготзерне», оказавшемся не чем иным, как огромным амбаром, где хранилось зерно, — как в мешках, так и просто ссыпанным в кучи. Ей выдали ватник. Поначалу она стеснялась его громоздкости и неуклюжести; потом оценила. Выдали и сапоги с чьей-то ноги, которые послужили им всем славно: днем Левочка в них бегал в школу, а Тайка донашивала материнские городские туфли. Когда настали холода, ватник тоже пригодился всем троим, а ночью им накрывались, и он лежал, как большая неуклюжая птица, заботливо распластавшая крылья у них на ногах.

Дневное время просачивалось сквозь пальцы быстро и незаметно, как осенний полдень: хозяйство и шитье, да темнеет рано, хоть швейную машину поставили у самого окна. Дольше всего пришлось повозиться с Полиным драпом. Она охотно прибегала «на примерку». Присаживалась на край лавки, уважительно наблюдала за работой и рассказывала, как ребятишки ждут «бабкиного письма», будто сама не ждала. У нее было румяное лицо, плотно сбитая фигура с очень короткой шеей и обветренные, в трещинах, руки. На первый взгляд она казалась не старше тридцати, но стоило ей, засмеявшись, прикрыть грубой короткопалой ладонью рот, где не хватало нескольких зубов, волей-неволей приходилось прибавить, хотя как понять, после ошибки с Михайлихой?

Поля приносила новости: кто получил письмо с фронта, откуда еще появились беженцы. Опять с Украины, еврейская семья. Спросила с любопытством:

— А там, где вы жили, тоже евреи есть?

— Есть. У меня подруга была, в двадцатом году в Палестину уехала. У нее и машина швейная такая же была.

Гостья молчала долго и сосредоточенно, однако чем было вызвано ее молчание, Ирина не знала. Чтобы разбавить паузу, спросила:

— Ты зачем такую вещь в сарае держишь? Пропадет!

Ответ прозвучал странно:

— Так ведь кто что хватал. Думали: вдруг отдавать придется, ну, так прятали. Только-только свое пристроили, а тут вона сколько добра!

— Где?

— Да тут, в Михайловке этой. И рядом то же самое — что в Золотове, что в Березовке: мебель побросали, скотину оставили, посуды — уйма! Что только...

— Кто бросал?!

— Немчура, кто еще.

— Немцы?! — Ира была уверена, что ослышалась.

— Ну да. Тут же республика ихняя была, с царских еще времен; мне тятка рассказывал. Только республика советская стала; советских немцев, не с Германии. А как война началась, они сразу давай вредить, где только можно. Тогда солдат прислали...

— Красноармейцев?

— Так я ж и говорю!.. Всех вредителей да шпионов, немчуру эту, посажали в вагоны — и вон отсюда, чтоб духу ихнего...

— Куда?

— Кто знает, — Поля пожала плечами, — люди говорили, кого в Сибирь, кого... куда. Да ты, если не веришь, у немки спроси.

— У какой немки?

— В школе работает. У ей matka была из ихних, из немцев, да померла; а сама вышла за русского. Петр Михайло-

вич в школе директором был; сейчас на фронте. А ее так все и зовут: Немка.

Ирина машинально отметила еще одно имя с принадлежностью к Михайловке, а Поля продолжала:

— ...нам так и сказали, уполномоченный приехал: хотите — живите, места хватает. Сами-то мы, — спохватилась она и снова прикрыла рукой в улыбке рот, — сами-то мы с Водопьяновки, Усть-Подольского района. Русские мы. И Тереха-председатель, и Нюра — у ей как раз двойня родилась, муж на фронте, и...

— Но Михайлиха-то, хозяйка наша, местная?

— Не! — жесткая ладошка досадливо шлепнула по машине, — что Михайлиха твоя, что сестра ейная — обои с Водопьяновки. Какая она тебе хозяйка? Сама избу эту заняла, а жить не живет. Она себе часы взяла — во-о-от такие, — Поля показала коротенькой ручкой, привстав с лавки, — поставила к сестры в амбар. Красиво бьют, со звоном, — добавила с завистью.

Руки привычно скалывали булавками толстый материал, а в голове царил совершенный сумбур. У Тайки надо спросить: может, им в школе рассказывали. Этой бабе тоже верить нельзя — говорит же, что пришли на все готовое. И ведь не гнал никто, могли дома оставаться. Сами себя эвакуировали? Мы-то всё бросили, как те. Поля вон хозяйке позавидовала, а пальто драповое откуда? Сама, небось, кроме бязи, и не видала ничего. И сразу же ощутила неловкость: да мне какое дело? Принесли — перешиваю. Спасибо, машина есть.

Краденая.

Да нет, сомневалась она. Как можно всех людей вывезти, вон нас-то Коля с трудом в эшелон посадил? И откуда здесь немцы — немцы в Германии?..

В этом заключался один из абсурдов войны: из Германии наступали немцы и теснили Красную Армию на восток, в то время как Красная Армия безжалостно теснила и гнала немцев — только других, советских немцев с Поволжья, — тоже на восток: в Сибирь, в Казахстан. Для одних это называлось «Drang nach Osten», для других — Великая Отечественная война.

В школе рассказывали не об этом, а о шпионах и диверсантах, которые были бдительно выявлены и обезврежены, а также о вредителях, затаившихся в тылу, чтобы делать свое черное дело.

...В первую зиму они еще не голодали, только недоедали, в основном сама Ирина. За ночные дежурства ей не платили ничего — и никому не платили ни за какую работу, а только записывали, кому и сколько заплатят осенью. Это называлось *трудодни*. Ира представляла трудодни чем-то вроде карточек, которые уже ввели на хлеб, крупу и постное масло. Других продуктов попросту не было, даже если бы нашлось чем заплатить.

Как-то в воскресенье удалось проведать Надю: вездесущая Поля как раз ехала в Балашовку и подвезла ее на телеге. Своим новым драповым пальто она очень гордилась и была похожа в нем на невысокий гранитный столбик, какие украшали набережную там, в самом лучшем городе на свете.

От Андриюши тоже писем не было. В доме было тепло и пахло едой. Невестка засуетилась, застрекотала часто-часто и, убедившись, что Поля отъехала, начала вполголоса жаловаться на колхозные порядки, приговаривая: «Не диво, что мерли с голодухи». Работала она в коровьем хлеву, мно-

го и тяжело. Деревенский труд был ей не в новинку: выросла у отца на хуторе, с коровами управляться умела и как раз поэтому пришла в ужас от того, как содержится скот, хотя бы и казенный. Ужас, понятно, ничем не выдала, а что ребятишек брала с собой, так не оставлять же одних дома! А самое главное: где коровы, там и молоко. Последнего, впрочем, и объяснять не было необходимости: все трое, слава Богу, выглядели румяными и здоровыми. «Вся работа — коту под хвост, всё — задарма, за трудодни эти!» — зло шептала Надя. Предложила золовке чаю, но Ирина отказалась: не хочу Полю задерживать, а то обратно пешком идти.

Дело было вовсе не в Поле, а просто она была слишком голодна, чтобы угощаться в сытом доме, и боялась, что Надежда заметит это.

А ведь тогда голода еще не было; он пришел через год.

Не было и писем — ни с фронта, ни из дому. Наступил октябрь, а война не кончалась. Иногда казалось, что они всегда будут жить в деревне Михайловка Подлесного района, как она и писала на конвертах и почтовых карточках. Первым состоялось, наконец, то главное письмо, которое начала писать еще в поезде. Конечно, какие-то слова потерялись, другие пожелтели, как осенняя трава, и больше не казались убедительными и единственно правильными; но нашлись другие, очень нужные для разговора, начатого 25-го июня, — самого трудного, смятенного и путаного их разговора, который она вела до сих пор.

Теперь можно было ждать ответа.

Привыкая к новому быту, а вернее — к иному бытию, продолжала писать Коле обо всем. Не дождавшись ответа, написала еще одно, и еще; а потом что-то произошло,

словно долгий сквозняк прошел по волосам, и она поняла: Коля уехал. На фронт послали или сам ушел, неизвестно, но дома его не было. Квартира стояла запертая. Цветы стойко держались за сухую, растрескавшуюся землю — не столько в надежде высосать хоть каплю воды, которой там не было, сколько по привычке. Осенний луч неохотно прорезывал густеющую пыль. Коля уехал — или его увезли, потому что она вдруг перестала слышать его голос, как привыкла за всю их жизнь, и не могла представить, что может стать иначе.

Другие, счастливые, получали письма с фронта — сероватые, залохматившиеся треугольники: полевая почта. Если Коля на фронте, уговаривала она себя, то и нам такой придет.

Картофельные очистки бережно собирали и добавляли в затируху, а то пекли лепешки — темные, тонкие и восхитительно вкусные. Изредка по карточкам выдавали яичный порошок, который Ира щепотками добавляла в затируху.

— Вкуснятина будет! — обрадовался Левочка и вдруг бросился к матери, обнял крепко-крепко и уткнулся лицом в живот. — Мамочка, прости нас с Тайкой! Ты нам супчик оставляла, а мы не ели... мы в помойку его выливали. Ты прости нас, мамочка!

Мальчик крепко прижимался к ней лицом, и не надо было его отрывать. Стояла, беспомощно приподняв руки, потом взглянула на дочь. Та сидела очень прямо и смотрела в угол, а по лицу текли слезы.

— Зачем?.. — зачем-то спросила Ира.

— Потому что мы не хотели кушать! — Сын поднял мокрое лицо. — Представляешь? Мы кушать не хотели!..

— У нас было слишком много еды, — всхлипнула Тайка.

Теперь стало слишком мало.

Продуктовый магазин, где отоваривали карточки, находился в районном центре. Хорошо, если можно было подсесть к кому-то на телегу: пешком идти три километра становилось все трудней, только голод и подгонял. Именно в этих походах-поездках, а затем в очереди мало-помалу познакомилась с другими эвакуированными.

Медсестра Бася Савельевна из Ленинграда сразу расположила к себе именем, словно подруга юности Басенька привет передала, — приветливо улыбнулась Ире: «Мы же соседями были, в одном море купались!» Две сестры, Гута и Ада, как и акушерка Сара, попали сюда с Украины. Пожилая учительница физики Блюма Борисовна начала рассказывать, как добиралась с мужем из Ленинграда, их долго где-то держали, а больше ничего не смогла рассказать: расплакалась. Маня с братом-подростком Феликом и мужем Зайднером (Ирина так и не поняла, это фамилия или имя) бежали из Гомеля. Фелик переживал, что его не берут на фронт. Зайднера тоже не брали, но он не переживал, а стыдился, как стыдился и своей беспомощности: хоть стекла в очках у него были толще некуда, Маня всегда водила его за руку. Поля уверяла, что Зайднер «зачитал» свои глаза, но читать не бросил, только теперь без увеличительного стекла не справляется. Когда Зайднера спрашивали, где он работал, он отвечал всегда одинаково: «Я занимался чистой математикой». Маня поясняла, что это наука такая.

Остальные считали это чудачеством полуслепого, ибо все были заняты математикой грубой, или, говоря на языке Зайднера, «грязной»: как растянуть недельную норму хлеба на всю неделю? Ирина как работающая получала 400 граммов в день; дети, по иждивенческой карточке, 200 грам-

мов каждый. Итого 800 граммов хлеба. Казалось бы, разве мало? Ведь дома, до войны, килограммовой буханки на пару дней хватало, размышляла она на обратном пути, стараясь не вспоминать, что тогда и что-то кроме хлеба было, только бы не перечислять, что именно: хватит того, что ночами снилось, как медленно кладет жаркое в нагретую тарелку или режет курицу, а на столе поднимается парок от густого ароматного супа. Такие ненасытные и ненасыщающие сны изводили хуже самого голода, сны, полные хлеба: круглого, с толстой пузырчатой коркой, припудренной мукой, длинных золотистых французских булок, аккуратных кирпичиков черного — плотного, с изюмом и тмином.

Хлеб, который получала по карточкам, ни видом, ни вкусом не напоминал буйство хлебных снов. Он был липким и тяжелым, неизменно влажным внутри от примеси гороха, а на срезе продернут какой-то шелухой, похожей на рубленую солому. Поля объяснила: отруби. Ирина, городской человек, смутно представляла себе отруби как что-то *отрубленное* и относящееся скорее к мясной лавке, чем к пекарне. Оказалось, где зерна, там и отруби; раньше скотину откармливали, а теперь хлеб пекут.

А вкуса он был — божественного.

Теперь, когда шептала слова Вечной молитвы: «...Хлеб наш насущный даждь нам днесь...», видела только этот хлеб, больше похожий на глину. Так что? Не из глины ли создан Творцом человек?..

За три километра дороги нужно было мысленно разделить 800 граммов на три порции. Дополнительное условие: двое иждивенцев нуждаются в усиленном питании, ибо они — дети. Чистая математика.

Она сильно исхудала; при ходьбе кружилась голова. Зоркая Поля протянула махорочную папиросу: «Дерни, а то совсем свалишься». В деревне курили почти все. Свою норму махорки Ирина поначалу обменивала на сахарин, но сахарин привозили все реже, а махорочный дым странным образом насыщал: во рту появлялся резкий, вяжущий вкус, и не так отчаянно хотелось есть. Махорка помогала и ночью, когда она много раз обходила вокруг зернового амбара: не затем, чтобы поймать злоумышленника, а — согреться. Да и что бы Ирина делала, случись ей и впрямь наткнуться на вора? Председатель велел, к ее ужасу, ходить с винтовкой, но теперь она с трудом эту винтовку поднимала, а заходя внутрь, ставила между мешками, и сама устраивалась рядом. Надо было убедить себя, что согрелась, а потом выйти в ночной холод и снова обойти амбар. Можно было растереть онемевшие пальцы и скрутить папиросу. Насытившись, вернее, обманув желудок табаком, сидела, мысленно разговаривая с Колей.

Он не отзывался.

Время от времени заходил председатель, с одной и той же фразой: «Проведать зашел. Живая, что ли?» Присаживался поодаль, моргал, закуривал.

Как-то появился уже за полночь. Бросил взгляд на винтовку, на сторожиху и крикнул громко:

— Не спи! Замерзнешь. Ходи, ходи больше!

— Силы нету, — призналась Ира, расправляя затекшие ноги.

Сразу стало зябко. Она начала сворачивать застывшими пальцами самокрутку; руки дрожали. Председатель подошел к двери, оглянулся внимательно, потом вернулся и бы-

стро развязал ближайший мешок. Ирина окаменела, а он черпал аккуратными горстями драгоценное зерно и, отпихивая ее дрожащие руки, сыпал ей прямо в карманы ватника. Она пыталась что-то сказать, но своего голоса не слышала, а слышала громкий, яростный шепот:

— Дура! Дура ты несчастная, ты счастья своего не знаешь! Ты не знаешь, как с голоду помереть можно?! Сама померешь — ладно; а о детях ты подумала?! Как дети начинают пухнуть, не знаешь?! А я — знаю!.. Знаю! — И с каждым «знаю!» со злостью упихивал кулаками тяжелое выливающееся зерно. — Я знаю: ты сама ни в жизнь не возьмешь, померешь, а не возьмешь; я не тебе — я детям твоим даю, дура ты эвакуированная, как есть дура!..

Председатель Терентий Петрович Овчинников, он же Терёха Моргатый, в ту ночь совершил государственное преступление — хищение социалистической собственности — не то что в «особо крупных», а — в соответствии с законами военного времени — в астрономических размерах, и по тем же законам мог быть расстрелян многожды.

Как знать, может, то украденное зерно и спасло им жизнь лютой зимой сорок второго года.

Дети об этом не знали — и не узнали никогда.

3

Чем измеряется жизнь человека? Успехами и неудачами, болезнями, надеждами и разочарованиями; сменой власти; покупками; влюбленностями, детьми, встречами и разлуками; неприятностями; переездами с квартиры на квартиру,

находками и утратами; ссорами, изношенными туфлями, прочитанными книгами, праздниками, войнами... Письмами, полученными и написанными, но так и не отправленными; любимыми игрушками, юбилеями и смертями, разбитой посудой, исписанными блокнотами, хлебными карточками... да мало ли что еще может быть перечислено в списке, где только две абсолютных величины: смерть и война. Для удобства, а также объективности жизнь измеряется временем: повешен на стенку новый календарь, отогнут очередной глянецовый лист, и сентябрь плотно прильнул к августу. Теперь понедельники передают все сплетни своим подельникам-понедельникам, вторники и четверги шелестят в затылки своим августовским тезкам, да только что тем в грянувших событиях, коих они, августовские, не дождались?!

Объективность времени сомнительна. В детстве между двумя днями рождения простирается вечность. Когда ты юн, о времени не думаешь — оно безраздельно принадлежит тебе. Не то в старости. Хоть время становится пожилым и почтенным, впереди его так же мало, как трешек в кошельке до пенсии, зато все, что прожито, — твое состояние, а это целый капитал, который позволяет жить на проценты... Время разветвляется прихотливыми тропками воспоминаний, и у каждой — свое собственное время, которое, в свою очередь, может быть растянуто почти до полной безразмерности, так оно послушно.

Совсем недавно по телевизору показали кусочек старого фильма. Маленький человек в мешковатых штанах и щегольском котелке быстро-быстро шел вперевалку, помахивая тросточкой и глядя прямо на бабушку удивленными

грустными глазами. Сколько фильмов пересмотрела она в молодости, и многие не один раз! На черно-белом экране подергивались в судорогах коварные ревнивцы и влюбленные, полицейские и несчастные простакы, кроткие цветочницы, высокомерные миллионеры, мерзавцы, обманутые красавицы... Верх искусства. Те, кто пришли вдвоем, украдкой поглядывали друг на друга в условной темноте кинозала и, обменявшись улыбками, снова поворачивались к экрану, а лица их мерцали, словно освещенные лунным светом.

Вот еще одна ловка времени: все фильмы, просмотренные в молодости, теперь словно слились в один, долгий и захватывающий, о чьей-то бесконечно далекой, прекрасной и недоступной жизни.

Большому портрету в овальной раме шестьдесят семь лет. Он висит под небольшим углом к стене, поэтому кажется, будто девушка чуть наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть себя спустя почти семьдесят лет: седые волосы, загорелое лицо, исчерченное морщинами, как гравюра, янтарную брошку на воротнике и ревматические пальцы на будильнике. Глаза на портрете смотрят прямо и внимательно; кажется, девушка вот-вот улыбнется. Должно быть, улыбнулась, когда фотограф окончил работу, но это ее секрет. Бабушка знает наизусть каждую черточку портрета и смотрит снисходительно на юное лицо, черные волосы, разделенные пробором, нитку жемчуга на черном платье, про которую только она помнит, что была невероятной длины, так что приходилось завязывать узлом. Подарок отца ей на восемнадцатилетие: 1919-й год, апрель.

...По всем законам жанра, не говоря уже о причудливых извивах памяти, отсюда должна была бы протянуться

дорожка к жаркому ростовскому лету 14-го года, прорезав стрелой пышный тенистый сад, и остановиться у колонн пансиона, но на столике внезапно зазвенел будильник: второй, маленький; это он вчера ее разбудил и отправил к внучке в больницу. Сегодня ему звонить не полагалось: в больницу ехать бабушка не собиралась, однако вещи, долго живущие с человеком, мало-помалу сами очеловечиваются и ведут себя в соответствии с обретенным характером, а зачастую и вообще выходят из повиновения. Или, наоборот, движения человеческих рук становятся более механическими, и непрощеный звон легко объясняется тем, что, заводя, она машинально вызвала к жизни звонок.

Как бы то ни было, фальшивая белая ночь подошла к концу. За стеной, в соседней комнате, послышался глухой стук упавшего диванного валика, привычный и неизбежный, как пенье муэдзина на Востоке или звон Биг Бэна в Лондоне: последние сорок лет так начинался ее день. Он привычно озвучивался, и это напоминало оркестр перед началом концерта, когда музыканты настраивают инструменты, покашливают и тихонько переговариваются. Оркестр составляли льющаяся из крана вода, горловой звук раковины, шарканье половой тряпки, газовая горелка, загудевшая свирепо, как паяльная лампа, и тут же усмиренная в трепетную фиалку наступившим на нее кофейником; стук дверей на лестничной площадке; шипенье замерзшего масла, плывущего по сковородке, как фигурист по льду, и кудахтанье захлебывающегося чайника. Спешат трамваи, дрожат оконные стекла; одно утро похоже на другое, как два коробка спичек. Однако так было не всегда: неизменны разве что бодрый звон трамваев, вода, всегда холодная и необыкновенно вкусная,

да звук упавшего валика. Бабушка помнит утреннюю суету с растопкой плиты. Помнит, как купила примус, затем керогаз; газовая плитка появилась намного позднее. Современник примуса, оранжевый эмалированный кофейник, жизнь вел спартанскую и ничего, кроме цикория, отродясь не пробовал; он даже представить себе не мог, что его сменит алюминиевая посуда шахматного силуэта с нелепой длинной ручкой. А сковородки в то время и вовсе скучали неделями, оживляясь изредка, чтобы поджарить картошку на постном масле...

Принято думать, что старики любят вспоминать. Но ведь вспоминать можно только то, что забыто, а если вся твоя жизнь непрерывно идет перед глазами, точно кино крутят? Вещи, вещи не дают забыть, потому что помнят сами, как, например, стол, за которым она привыкла сидеть вот уже сорок семь лет — почти полвека! — не может забыть товарищей по гарнитуре, из коего он один остался — не в живых, но в этой комнате.

...Шел 39-й год, Гитлер занял Польшу, но ни Второй мировой, ни Великой Отечественной эта война еще не называлась, да и мало кто думал о войне; разве мало забот? Они с Колей подыскивали более просторную квартиру: дети подрастали. Мебель продавалась «по случаю», что всегда означало «по несчастному случаю» (тогда как покупалась по счастливому). В объявлении было написано: «в хорошие руки», словно речь шла о кошке. Смотреть поехали вместе с отцом, хоть тот и ворчал: на кой у чужих людей покупать, будто сам сделать не могу. С осеннего бульвара свернули вправо, на Стрелковую улицу, и позвонили у парадного.

Хозяин, профессор-немец лет шестидесяти, с усталым лицом и вялым мешком под подбородком, как у индюка, явно только что пришел. Придерживая висящую на манжете запонку, распахнул застекленную дверь в гостиную.

Мебель стояла не так, как была бы расставлена в магазине, где все продумано для искушения покупателя: со спинки кресла свисает шаль, стулья дружно окружают стол, а на трюмо трогательно лежит якобы забытая ребенком кукла в кисейном платье. Нет, стулья почему-то стояли вдоль стен, словно в доме собрались танцевать. На краю стола, покрытого бархатной скатертью с бомбошками, стояла тяжелая бронзовая пепельница, а с трюмо свисала, грозя соскользнуть, полуразвернутая немецкая газета. Другие газеты были рассыпаны по козетке, а на полу валялись два новеньких портпледа.

Эта свежая бесприютность гостиной никак не отражалась на самой мебели, которая Ирине сразу понравилась. Сделанная из ореха, она была легкой, изящной и удобной, а винного цвета бархат обивки, казалось, согревал комнату. Отец тоже одобрительно кивнул и ласково провел рукой по раме трюмо, задев газету; Коля негромко разговаривал с профессором. В зеркале была видна пухлая рука, вывинчивающая из манжеты упорную запонку, профиль мужа и невысокая женщина с бледным лицом и темно-каштановой волной волос, сбегаящей на лоб и щеку. Она строго оглядела свое модное клетчатое платье и маленькие черные туфли, незаметно разгладила складку; поправила волосы.

Гарнитур был недешевым, но ни Ирина, ни отец не торговались: для такой мебели это было бы оскорбительно. На лице профессора отразились облегчение и растерянность

одновременно. Было видно, что хозяин любит эту гостиную с широким балконом, тихую тенистую улицу, любит свою — вернее, уже не свою — элегантную мебель, — словом, привычный уют и покой старого дома и города. А все то, что относится к покупке чемоданов, несессеров и прочая, только раздражает, ибо одно дело — путешествие, и совсем другое — репатриация: такая же разница, как между новобрачным и новобранцем.

— Что им там, в Германии этой, медом намазано? — недоумевал отец на обратном пути. — Едут, едут... а на кой?

— Трудно сказать, папаша. Войны боятся, вот и едут, — Коля махнул, подзывая извозчика.

...В Городе действительно что-то менялось. Репатриация, предложенная Гитлером, всколыхнула местных немцев, и первой откликнулась молодежь. Отъезды, впрочем, начались не сразу, ибо старшее поколение оказалось тяжелее на подъем. В самом деле, о каком *возврате на землю отцов* можно говорить тем, чьи отцы, деды, прадеды и предки оных родились и жили здесь, на этой земле? И не из Бремена ли пришел в незапамятные времена епископ, чтобы основать — и благословить — этот город? Не немецкие ли бюргеры приехали его строить по образу и подобию своих родных городов?

Вот она, ловушка: *те* — приехали. Посему предлагают возвращаться — *этим*. Куда? — На родину, оставленную всего около семисот лет назад; извольте радоваться.

Не получалось — или получалось далеко не у всех.

Генеалогическое дерево глубоко проросло корнями в местную землю: попробуй выдери. Кто порешительней, так и делали: выдирали. Бесноватый фюрер не сулил золотые

горы, а призывал помочь родине, которую повальное большинство этих людей не видело, но призывы звучали на их родном языке, и сердца не могли оставаться равнодушными. Люди оставляли дома, распродавали мебель, дарили — или бросали — посуду и книги. Пустели скамьи в немецких церквях, закрывались немецкие школы, построенные немецкими архитекторами, запирались магазины с немецкими вывесками, и только на кладбищах ничего не менялось: никакая репатриация не затрагивала их обитателей, потому что они были дома.

...Мебель перевезли на следующий день и за неимением места поставили в квартире у родителей — до лучших времен, где она и простояла несколько десятков лет. Лучшие времена ведь никогда не наступают.

...Как причудлива память. Кристен, ее давняя подруга, тоже укладывала чемоданы той осенью, однако вспомнился чужой человек с индюшачьим подбородком и болтавшейся в манжете запонкой. Вспомнился как раз потому, что был прочно забыт. А с Кристен она познакомилась еще в 19-м году у мадам Берг, где обе обучались портновскому искусству. Острый профиль, прямые рассыпчатые волосы, маленький рот и острые плечи — природа выкроила Кристен по очень строгой мерке: ничего лишнего. Мадам Берг относилась к ней более требовательно, чем к другим барышням, и часто заставляла переделывать работу. Ирочка была в группе единственной русской, не сразу понимала объяснения портнихи, и Кристен всегда оказывалась рядом: немецкий язык был ей родной. Не только язык, впрочем: почтенная вдова Берг приходилась ей матерью, однако это не

только не афишировалось, но и маскировалось подчеркнутой строгостью обращения.

У дверей мадам Берг Ирочку встречал Костя из Коммерческого училища; за Кристен ухаживал долговязый Герберт, спортивная гордость Немецкой гимназии. Столкнулись в фойе кинотеатра; познакомили кавалеров, а на завтра с удовольствием уплетали шоколад и делились впечатлениями о фильме. Вместе гуляли, катались на лодке, ходили в кино. Вскоре обе заметили, что Герберт смотрит не на экран, а на Ирочку, в то время как второй кавалер неудержимо краснеет всякий раз, когда к нему обращается Кристен. Немка попыталась было обидеться за Герберта, но Ирочка так легко предложила: «Да возьми себе обоих!», что оставалось только расхохотаться.

Кавалеры менялись, а дружба крепла. Первой вышла замуж Кристен, через несколько лет Ира. Видеться стали реже, но всегда радовались встречам, и отчуждения не возникало.

А спустя двадцать лет, когда Коля с отцом грузили так удачно купленную мебель, Ирочка сидела напротив подружки, которая укладывала чемодан. Хотя Кристен давно уже называлась фрау Небельграу, она осталась такой же стройной и узкобедрой, как в девичестве. Детей у них с мужем не было, и может быть, по этой причине Андреас с головой окунулся в политику. Вынырнув, объявил, что, во-первых, Гитлер — гений, призванный осуществить мечту Наполеона, а во-вторых, что долг немцев — вымостить, если понадобится, своими телами дорогу к этой мечте. Мостить нужно было почему-то непременно в Германии, следствием чего явились чемоданы с разъявленными пастями, куда Кристен аккуратными стопками укладывала вещи.

Еще была встреча в парке в воскресенье. Дети прыгали у фонтана, уворачиваясь от сверкающих брызг, Ирина и Кристен болтали, сидя на скамейке; мужчины курили в тени деревьев. Андреас говорил громко, отчетливо и с явным удовольствием — Коля угрюмо молчал. Потом пили шоколад на террасе ресторана, Андреас все продолжал говорить. Ира вслушивалась, но быстро утомилась. Речь Андреаса походила на сматывание ниток из вялого, безвольного мотка спутанной шерсти. Клубок никак не получался, потому что нитка то и дело застревала в дряблой «восьмерке» пряжи, так что весь моток приходилось встряхивать и выворачивать, но через два-три витка она опять вязла, цеплялась и, наконец, обрывалась, не оставив путеводной нитки, как и мысль оратора, которую поймать было столь же трудно. Повторив в который раз: «Drang nach Osten!» — Андреас взял чашечку с остывшим, неинтересным теперь шоколадом.

— *Nach Westen*, — негромко поправил Коля и закончил по-русски, — великая Германия находится на западе.

Только поздно вечером, когда дети уснули, она решила задать вопрос, который мучил отца:

— Зачем они едут, Коля?

И муж ответил с такой готовностью, словно ждал вопроса и сам все время думал о том же:

— Они немцы. А если завтра война?

Он назвал самыми точными, единственно возможными словами страх, поселившийся в сердце, и знать не мог, что те же слова звучат второй год в самой популярной советской песне и поются не только безо всякого страха, но и с напористым, уверенным энтузиазмом:

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!
В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила:
С нами Сталин родной, и железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов!

Правда, боевитая эта мелодия звучала не здесь, а в СССР, за границей. Самые главные политические события тоже совершались за границей, между известными, серьезными странами. Правда, репатриация немцев вплотную касалась их уютной маленькой республики, где немцы жили с незапамятных времен, так что, если завтра война... Но об этом, как уже было сказано, если кто-то и думал, то вслух говорили редко. И, следовательно, совершенно напрасно сжималось сердце от мутного предчувствия; да Коля и сам знал, что напрасно.

Может быть, маленькая республика, которая была известна на весь мир своим сливочным маслом, а на всю себя — ежегодным самозабвенным праздником песни, просто хотела, чтобы все у нее было, как у больших стран; поэтому так много разговоров возникло вокруг этой репатриации. Тем более что праздник песни уже кончился, и счастливые усталые песельники заботливо вешают в шкаф свои национальные костюмы — до следующего года, и дай Бог, чтобы в будущем году на праздник была такая же славная погода, как в этом; только бы не дождь! О войне никто не думает.

Ира тоже думала не о войне, а о Кристен, в то время как та раскладывала пасьянс: вынув сложенное полотенце из большого чемодана, она ровно укладывала его в маленький, а что-то новое, в хрустящей магазинной упаковке, достав из маленького, так же ровно перекладывала в большой. Светлые рассыпчатые волосы то и дело падали ей на глаза и прикрывали распухшее от слез лицо.

— Одержимый, — повторяла Кристен, зябко вздрагивая узкими плечами, — одержимый. *Besessen*.

Немецкое слово звучало совсем зловеще. Андреас писал небольшие репортажи для местной немецкой газеты, но скромные рамки этого жанра ему наскучили. Он мечтал заявить о себе зажигательными памфлетами и статьями, так необходимыми великой Германии. Дело было за малостью: сочинить их.

Строгая лицом и фигурой, которую корсет стягивал в песочные часы, мадам Берг стала к этому времени бесформенной и рыхлой, как переходившая опара, что сделало ее почти неузнаваемой. Всю оставшуюся энергию тратила на то, чтобы передать свое элегантное, как шкатулка, модное ателье в хорошие руки, да на злые, беспомощные слезы; думать о великой Германии не хватало сил.

Кристен всхлипнула. Медленно перебрала стопку фотографий, вытащила одну и протянула подруге: «Возьми на память». Сердито отвела влажные волосы за ухо; сверкнула сережка — или это слеза блеснула на щеке?

Такой она и запомнилась. Больше не увиделись.

А ведь недавно — совсем недавно! — прощались с Басей.

Да-да, с той самой Басей, про которую брат Мотя всегда спрашивал: «Ну, где твоя рыжая подруга?» Он с детства не выговаривал букву «р», поэтому выходило: «ыыжая подъуга». Интересовался так часто, что мать настороженно поднимала бровь, вопросительно поглядывая на Ирину, но ничего не уяснив, возвращала бровь на место. С той самой Басей, которой мадам Берг назидательно говорила: «Воротник морщит, фройляйн Кугель, и будет морщить, потому что вы бортовку кроили без лекала», и это была чистая правда: у Баси было восемь братьев, все младше ее, поэтому родители не поняли бы Баськину возню с портновским лекалом, точно в доме не к чему руки приложить. Отец семейства держал небольшой дровяной склад, где и проводил всю неделю, а в пятницу вешал на дверь замок и решительно направлялся домой. Он был низкорослый и щуплый, с острым носом, торчащей вперед бороденкой и торопливым, быстрым и мелким шагом. То ли за эту походку, то ли за быструю доставку дров звали его на форштадте Яшка-Пуля. Прозвище ему нравилось еще и потому, что именно так звучала бы по-русски его фамилия.

Его жена Дебора, громоздкая, мешковатая женщина, отличалась красивым низким голосом и тем, что рожала крепких, здоровых мальчишек; Бася была единственной дочерью. На Деборином лице всегда было написано уныние, даже когда она улыбалась, будто ничего интересного от жизни она больше не ждала, хотя как раз ждала нового младенца — мальчика, как она чувствовала, — чем и поделилась с Ирочкиной матерью, когда та выбирала зелень на Маленьком базарчике. Матрена, недавно схоронившая отца, дохаживала со своим последним ребенком, ни пола,

ни имени которого не знала, и с удовольствием вслушивалась в красивый низкий голос торговки, повествующей известно о чем, где припевом были слова: «Чувствую, опять мальчик — с Моне́й то́чь-в-то́чь так же было», а в следующем припеве фигурировало другое имя. Овощи у Деборы всегда были отменного сорта, как и дети.

Дебора оказалась права: опять родился мальчик.

Бася унаследовала от матери красивый голос, а от отца быструю походку — к счастью, без Яшкиной суетливости. Откуда взялись тонкая, очень белая кожа, густые тяжелые волосы, блестящие, как только что вылущенный каштан, и фигура, по которой мадам Берг объясняла построение выкройки, когда манекен не помогал, откуда? Бася осторожно поворачивала к подруге серьезное лицо — лицо, которому даже явные изъяны: веснушки и чуть неровные зубы — только прибавляли обаяния. Может быть, Дебора и ломала голову, откуда у дочки эта грациозность и легкая, почти балетная поступь, а скорее, у нее не было времени думать об этом, как не было времени любоваться Баськой. «Задумчива, доверчива и привязчива», — незаметно наблюдая за своей моделью, думала мадам Берг, твердо сжимая губы, — не от скептицизма, а чтобы не выронить булавки. «Заносчива, влюбчива и разборчива», — тоже поджимала губы, хоть и безо всяких булавок, Матрена, и хмурилась всякий раз, когда старший сын, напротив, светлел лицом при виде Баси.

Однако внешность обманчива.

Бася с любопытством скашивала глаза на зеркальную стену, где отражался сиреневый манекен, ее собственная тонкая рука и строгая немка с булавками во рту. Дома не

было ни зеркал, ни времени. Помимо нескончаемых домашних дел, Бася ухитрялась где-то подрабатывать для внесения очередной платы портнихе. «Хочешь, пойдем со мной? — неожиданно предложила она Ирочке, — всю неделю, до пятницы. Вместе будем; а платят хорошо». — «А что делать надо?» — «Мацу катать. В синагоге». — «Да меня разве пустят?» — «Пу-у-устят!» — уверенно пропела Бася.

Пустили.

Никогда раньше Ира в синагоге не была и поначалу робела: очень уж этот храм не был похож на свой, родной и привычный. Двухэтажное прямоугольное здание на Гоголевской стояло в глубине, за оградой. Окна были прямоугольные и высокие, а наверху, вдоль всей крыши, — круглые, как рисуют на кораблях.

Мацу катали в подвале, просторном и теплом, на огромных столах. Затем по тонким раскатанным пластикам из твердого, очень упругого теста проводили — словно проезжали — особыми зубчатыми колесиками, которые оставляли ровные ряды маленьких дырочек, и отправляли в печь; но Ира только раскатывала. Теста было очень много, и к концу дня скалка казалась очень тяжелой и горячей, хотя горячей быть никак не могла. Работали очень быстро, переговаривались азартно на непонятном языке, хотя иногда слышались немецкие слова. Вечером, засыпая, она подумала, что если прострочить мацовые лепешки на швейной машине, то дырочки выйдут еще ровнее, а нитку и вовсе не надо заправлять...

Окончив курсы с блестящими рекомендациями от мадам Берг, они вместе искали работу, обивая пороги швейных мастерских, но время было нелегкое: заказчиков становилось

все меньше, ателье закрывались одно за другим. Спустя два месяца обоим посчастливилось устроиться... на табачную фабрику. Ни хозяина, веселого усатого грека, ни управляющего, который быстро-быстро писал что-то в маленькой кожаной книжечке, не интересовало искусство построения выкройки. Набивай гильзы быстро и аккуратно, вот и все; жалованье раз в неделю.

Басенька, Басенька, юность моя! Где ты сейчас?..

Если бы кто-нибудь написал книгу о моей жизни, думала бабушка, это было бы так интересно! Всю жизнь она была очень молчаливой, а в последнее время охотно разговаривала, вспоминая минувшее. Любой прожитый год мог стать последним в буквальном смысле, собеседников — свидетелей прожитого — становилось все меньше, но кто напишет такую книгу?

Сын хмыкал, отодвигал стул, вытаскивал из рыжеватой пачки плоскую сигарету: ну, допустим, написал бы кто-то, а на кой тебе? Он нарочно говорил «на кой», как привыкла говорить она сама, как раньше говорили ее мать с отцом. Дескать, книга эта так же нужна, как слово «на кой». Нет, сын вовсе не хотел ее обидеть; все молодые разговаривали так... снисходительно. «Да как же, — волновалась бабушка, — ведь детям интересно, а я сколько могу рассказать!» Она так и произносила, с ударением на «я». Сын пожимал плечами и с наслаждением закуривал; сигарету держал в ладони бережно, как дети держат светлячка, и мизинцем стряхивал пепел. «Книги, бабуля, пишут о знаменитых людях, — старший внук кивнул на книжную полку, — вон, видишь: “Жизнь замечательных людей”».

Ничего не поняли. Ни один, ни другой.

Какие они... сегодняшние. Ничего знать не хотят.

Что ж о тех людях писать, если они и так замечательные? Ты про обыкновенного человека напиши, про замечательных уже писано-переписано. Говорить раскотелось. И что объяснишь? Что пережила две войны, четыре власти (из них две советские, но разной закваски), два голода, а сколько смертей... При чем здесь замечательные люди? Она таких совсем не знала. Да и кто замечателен перед лицом Господа? «Ты подумай только, в какое время я жила!» — с такими словами она обращалась к внукам. Бабушка рассказывала живым и богатым языком, и младший, посмеиваясь, предложил: «А ты возьми сама и напиши — вот тебе книга и будет».

Не мне, хотелось сказать. Вам.

Вместо этого стала вспоминать, как собирали деньги — каждый давал сколько мог — на памятник Свободе, и как он прямо на глазах...

Перебили: про это ты уже рассказывала.

Да, наверно... А я говорила, как получила деньги на фабрике и плакала, когда домой шла?

«Ой, бабуль, мне бы твои неприятности», — засмеялся внук, но был обиден не смех, а недоверие, отчетливо прозвучавшее в нем. Отсмеявшись, он спросил: «Это когда ты с Басей работала?»

И оказался прав, хоть и совершенно случайно.

...После табачной фабрики Ирочка перешла работать в цветочный магазин, и с Басей виделись реже. Нужно было привыкать к новой работе, где самое сложное оказалось не

составление букетов, а умение угождать. Как бы ни капризничал покупатель, изволь встретить и проводить с любезной улыбкой. Магазин находился в самом центре, где как раз Александровская, тогда уже бульвар Свободы, начинается; покупатели клубились густо, поэтому в сумерках, когда магазин закрывался, она с облегчением стирала с лица любезную улыбку, но долго еще чувствовала онемевшие мышцы щек.

«Так Александровская или Свободы? — непременно спросит кто-то, — и где это?» — «Улица Ленина», — бросает сын, не оборачиваясь.

...К счастью, в Старом Городе открылся магазин готового платья Моисеевых, куда Ира и перешла, только не продавщицей, а на подгонку одежды по фигуре. И рекомендации оказались очень кстати, и вечно любезной улыбки не требовалось: во рту, как все портнихи, держала булавки, а покупатели смотрели не на нее, а на собственное отражение в зеркале.

Когда шла утром на работу, на набережной гудел базар. Огородницы в клетчатых платках или шалях раскладывали зелень на прилавках, под которыми горбились плотно набитые мешки. В рыбном ряду гремели цинковыми подносами и ведрами рыбаки в негнущихся плащах и время от времени брызгали на свой товар водой, приводя в чувство оглушенную рыбу; та начинала неистово бить хвостом, словно чувствуя, что река — вот она, совсем рядом, стоит лишь прыгнуть повыше... чтобы оказаться завернутой в бумагу вместе с безжизненными серебряными телами подруг. Под навесом торговки, в белых фартуках поверх черных бархатных кацавеек, выставили битую птицу и корзинки с яйцами.

Если наклонить голову и чуть сощуриться, можно увидеть, как солнце просвечивает розовым сквозь хрупкую скорлупу, и яйца становятся похожи на гигантский жемчуг. У всех торговок на шее висят одинаковые сумочки, похожие на кондукторские, со сборчатыми кожаными боками, тусклой металлической челюстью и кукишем замочка. Каждое утро, пробегая, Ирочка дивится на бесхитростную одинаковость туалетов, но ей нужно поворачивать вон за тем каменным домом с башенкой и пробежать последний квартал до перекрестка улиц со странными именами. На одной табличке написано: «Русская улица», на другой — «Улица Грешников». Каких грешников, всякий раз удивляется она, но высокие стеклянные двери магазина уже открыты, и она торопливо проходит в дальнее помещение, где ее ждет, выпятив по-солдатски грудь, манекен цвета сырой телятины.

В нескольких кварталах от «Моисеева» — изящное маленькое ателье мадам Берг, зажатое между витриной кондитера и угрюмым каменным парадным. Выбежит радостная Кристен; хоть она подстрижена по-другому, волосы точно так же рассыпаются и закрывают пол-лица. Ее мать тоже всегда рада Ирочке, не преминет расспросить о «фройляйн Кугель» и помечтать вслух о лучших временах, когда она сможет взять еще одну портниху, и уж тогда...

Почему лучшие времена так никогда и не наступают?..

Впрочем, как посмотреть.

Работая у Моисеевых, Ира иногда получала частные заказы от клиентов, например, свадебные. Нет, платье невесты — это особая статья: его заказывали, покупали или выписывали из-за границы; на Ирочке лежали заботы о платьях для второго дня свадьбы. Работа серьезная и, как все,

что касается свадеб, срочная: в одиночку управиться невозможно, да и зачем? По пути домой она выходила у Маленького базарчика и стучалась к Басе: «Свадьба!» Дебора поднимала доброе унылое лицо: «Твоя?» Поскольку ответ был отрицательным, оживиться не успевала.

Когда случались такие заказы, работать приходилось допоздна. Но это была юность, а значит, времени хватало на кавалеров, работу, на свои и чужие наряды, на кино и на долгие прогулки по Старому Городу, чтобы разгадывать, в честь каких грешников названа улица. Хватало времени и на подруг, всего-то числом две, одна из которых будет плакать в 39-м году, собираясь в великую Германию, а вторая еще раньше уедет в Палестину, причем обе — к себе на родину.

Да-да, прямо в Палестину, которая, оказывается, существовала не только в Священном Писании, но и где-то в пустыне на краю света. Похудевшая и радостная, Бася рассказывала об этой неведомой Палестине, словно о новом фильме. У нее появились новые друзья, где главным был Соломон. Библейское имя плохо сочеталось с веселым веснушчатым лицом и васильковыми глазами. При виде Баси Соломон улыбался так широко, что становился похож на Щелкунчика. Работал он в одной типографии с Колей, а после работы встречал Басю, и они спешили в «Дом рабочих».

Нет, не этого ждала Дебора! Уже несколько лет она недоумевает, когда же Баська и «этот зубатый», как она про себя называет Соломона, поженятся. Все подружки нащебетались, утомонились, живут своими домами, а ее Баська, легконогая красавица, все... летает. Мало того, что сама каждый вечер пропадает в «Доме рабочих», так и братьев сманила туда же.

Да что там такого, в этом «доме», что все дети, точно мухи на мед, летят?..

Со слов подружки Ирочка знала, что «Дом рабочих» — это молодежный клуб, где можно было учиться живописи, музыке, танцам — к чему душа лежит.

Бася училась... Палестине.

Не танцам, хотя природа одарила ее редкой пластичностью, и не музыке, несмотря на прекрасный слух, а — Палестине. Там наши братья, твердила с горделивой озабоченностью, наши братья страдают.

Между тем не «наши», а ее собственные братья за эти годы вымахали в румяных детин, чьи пышущие здоровьем лица никак не вязались со страданиями. Сам Яшка-Пуля на фоне сыновей выглядел шустрым старым мальчиком.

«Ты не понимаешь, — Бася складывала лодочкой ладони перед лицом и прикрывала глаза, — ты не понимаешь: наши братья борются и гибнут. Наше место там, Ирка. С ними». Призналась, что они с Соломоном поженятся, как только достигнут Святой земли. «А как же твои? Мама... и братья?» — последнее слово выговорилось с трудом. «Братья нас понимают, — Бася говорила очень серьезно и печально, — а мама с папкой... с ними братья останутся», — «братья» звучало без всякой патетики, и стало ясно, что незнакомых братьев из Палестины, пусть даже и страдающих, любить все-таки нелегко.

Бася рассказала, как учится новому языку, и с гордостью показала книжку. Ее нужно было листать с конца, а буквы были похожи то ли на свечи, горящие на ветру, то ли на гнутые гвозди, только не на буквы; но Басенька все равно оставалась понятной и любимой. Они опять работали вместе,

теперь уже на фабрике «Планета», которая славилась своими тончайшими шелковыми чулками. В этих чулках Бася и уехала на свою новую родину, которую любила, но втайне побаивалась, — это Ира чувствовала.

...Почему война начинается с того, что люди бросают свой дом и уезжают толпами: одни в Палестину, другие — в Германию, третьи, как они, — в Россию? И сама Россия становится похожа на густую похлебку, которую кто-то неустанно перемешивает, так что украинцы оказываются на Волге, а те, кто издавна жил на Волге, уже захвачены могучим черпаком, чтобы оказаться в Сибири... И почему, о чем бы она ни начинала думать, непременно возвращалась к войне, в который раз удивлялась бабушка; точно едешь по кругу. Или все мысли обязаны проходить транзитом через станцию под названием «Война»?

Хорошо, что не конечная.

4

О том, что ездила в больницу, бабушка никому не говорила. Да и кому было говорить, птицам?.. Каждый день резала аккуратными кубиками черствые ломти хлеба на потемневшей доске. Внуки посмеивались: да брось прямо так! Или поломай... «Это же голуби, Божьи птицы, а не свиньи!» — сердилась бабушка. Руки у нее были маленькие, с твердыми выпуклыми ногтями; даже сейчас их можно было назвать изящными, хотя подагра потрудила над суставами на совесть, добиваясь сходства с бамбуком, но полностью искорезить не осмелилась. Нарезанный хлеб ссыпался в по-

лиэтиленовый пакетик, который заботливо укладывался в «торбу» — мешок из плотного нейлона, выстланный изнутри все тем же полиэтиленом. Торбу можно было нести за обе ручки, а при необходимости повесить на локоть. Несмотря на многофункциональную полезность торбы — она совмещала в себе сумку, авоську, аптеку и, при необходимости, собеседника — торба оставалась торбой и обозначала жизненную веху под названием Старость.

Давно миновало время сумок и сумочек — кожаных, лаковых, замшевых; время ридикюлей не толще книжки, и впрямь нелепых на первый взгляд, но только на первый. Дамы носили их под мышкой, отчего сразу преображались: надменно приподнимались плечи, плечам вторили брови, шаги становились быстрее и короче, фигура непрístupной, а взгляд соответствовал фасону шляпки, и никак иначе, ведь ридикюль и шляпка были неразлучны, как Сцилла и Харибда, как Тристан и Изольда, как Макс и Мориц. И даже дома, положив сумочку, хозяйка бережно снимала шляпку и клала ее рядом с ридикюлем. Сейчас об этом помнит только старый будильник: он первым приветствовал неразлучную парочку на комод. Да, будильник выглядел тогда совсем иначе: сверкающие никелированные бока, белое личико циферблата, и даже без двадцати пять стрелки-усики придавали не уныние, а только задумчивость, не говоря уже о том, как звонко, точно языком прищелкивал, он тикал под блестящим своим круглым беретиком, — чем не шляпка?

Они с сестрой всегда выбирали шляпки в магазине Фридмана — там же, на улице Грешников; потом лакомились пирожными в уютном кафе «Маленький Париж», и Тоня искала поглядывала в огромное зеркало, словно новая шляпка

была уже на ней, а не в картонке с витым шнурком, как всегда упаковывали у Фридмана.

...Полногрудые голуби, издавая чревовещательные звуки, клевали хлеб. Иногда в их солидную толпу пикировал с ветки взъерошенным мячиком воробей, дерзко хватал самый лакомый кусочек и летел обратно, с трудом удерживая в клюве трофей. Голуби возмущенно хлопотали о том, какая молодежь пошла и что нахальство — второе счастье... Бабушка улыбалась: всем хватит; завтра, Бог даст, еще принесу.

Подхватывала торбу и возвращалась домой.

Главное — не думать, что с ней делают в больнице, а для этого нужно, чтобы все время были заняты руки и голова, — чем угодно, хоть шляпками. Вот недавно в шкафу попалась карточка, где они с Тоней из магазина выходят; тогда она сразу и вспомнила — как увидела — большие буквы над входом: «А. FRIEDMAN». Надо положить поближе и показать внучке, какие шляпки носили в наше время; пусть только поправится. Теперь память стала строптивой: придешь на кухню, а там стоишь и вспоминаешь, зачем шла. Восемьдесят пять...

Так вот она, между стопками белья! Бабушка вынула неровную пачку плотных фотографий. Одна выскользнула и глухо клюнула пол, словно кто-то стукнул в дверь согнутым пальцем. Потянулась за очками, но раздумала: к чему, если фотографию душой помнишь?

Герман был двоюродным братом покойного мужа, но любил, чтобы все, включая Колю, называли их кузенами. Их матери-сестры были в юности очень близки. Потом старшая

неожиданно вышла замуж за местного хуторянина и уехала, так что видеться они стали очень редко; повзрослевшие сыновья, наоборот, крепко сдружились. Герман был тремя годами старше Коли, но не только выглядел более юным, но и во всем подражал младшему: курил те же папиросы, покупал рубашки в том же магазине, что и Коля, не говоря об аксессуарах; когда младший впервые появился в галстук-бабочке, высмеял его безжалостно, чтобы выказать независимость суждений, каковая независимость продержалась аж до следующего дня и была оставлена на пороге английского магазина, как оставляют зонтики и забывают о них.

На фотографии — Ира знала ее наизусть — Герман стоит, опершись на спинку кресла; Коля сидит, положив ногу на ногу. Логика фотографа понятна: Коля был на полголовы выше, и, останься он стоять, контраст между кузенами был бы не в пользу Германа. Их лица очень похожи, как нередко случается в двоюродном родстве: ровный овал, спокойные карие глаза под густыми, щедрыми бровями, и четко очерченный рот, только у Германа линия нижней губы с легкой припухлостью, да нос, такой же, как у брата, в самый последний момент удивился чему-то — да так и остался чуть вздернутым. Легкая курносость ничуть не портила ее обладателя, а только убавляла серьезности. Еще и поэтому, а также из-за более высокого лба Коля выглядел старше. На обоих костюмы одинакового покроя, рубашки с высокими воротничками, вздернутыми запонками, до удивления похожие темные галстуки и ботинки-близнецы с высокой шнуровкой, тоже из английского магазина — Коля любил хорошую обувь. Волосы у Германа подстрижены очень коротко и придают ему совсем юный вид. Как он ругал парикмахера, послушно вы-

полнившего его же собственное желание, и с каким нетерпением дожидался, когда отрастут, наконец, волосы и можно будет зачесывать их назад, как всегда делал Коля!

Судьбы кузенов были отмечены печальной симметрией: десять лет назад умерла мать Германа, на несколько месяцев опередив Колиного отца. Только стрижкой да кольцом на правом мизинце Герман внешне отличается от брата на этой карточке. Кольцо-печатку подарил отец; наверное, именно так он представлял себе стереотип столичного молодого человека; а может, просто гордился руками сына: красивые были руки.

Перстень, как и многое другое, был постоянным предметом Колиного подтрунивания, хотя шутил он с неизменным добродушием, словно и впрямь был старше. Пожалуй, только этим подшучиванием он и разбавлял свое привычное молчание; Герман, напротив, был словоохотлив и умел говорить легко и увлекательно. При этом ему постоянно требовалось одобрение кузена, чего бы это ни касалось: замыслов, которые роились в его беспокойной голове, модного кашне, нового приятеля, обретенного только на прошлой неделе, но уже повышенного в звание друга, последней статьи в газете «Сегодня»... Когда он начал ухаживать за Ирочкой, то главным предметом его монологов был кузен, и при первой же возможности познакомил их, с трудом скрывая гордость и втайне приготовившись парировать любые насмешки.

И напрасно репетировал: никаких насмешек не последовало. Когда же Герман, утомленный неопределенностью, набрался духу и спросил напрямик: «Ну, как тебе моя барышня понравилась?», Коля ответил: «Очень понравилась», — и ни

слова больше, хоть разбейся; при этом старший готов был поклясться, что ехидства в этой лаконичности не было.

Уже забылось, кто назвал кузенов Аяксами, да и забылось потому, что для Ирочки это было просто смешным словом. Гимназия, хотя бы и не оконченная, оставила у Германа смутное воспоминание о том, что Аяксы боролись плечом к плечу, а главное, были похожи друг на друга. Последнее ему импонировало так сильно, что он начисто упустил из виду, с кем и за что, собственно, липовые близнецы вели борьбу. Умей Герман читать в душе двоюродного Аякса так же, как в своей собственной, непременно перелистал бы «Илиаду» или хотя бы школьную хрестоматию, откуда легко было узнать, что храбрые элины домогались прекрасной Елены.

Несмотря на то, что отныне Ирочку всюду сопровождали оба кузена, как и положено Аяксам, приоритет ухаживания принадлежал Герману. Он действительно увлекся не на шутку и довольно быстро понял, что слово «увлечение» оскорбительно для человека так глубоко влюбленного, как он. Для любовных переживаний ему стал необходим наперсник, причем на роль последнего никто, кроме кузена, разумеется, не годился.

Что касается самой чаровницы, то она благосклонно принимала знаки внимания от обоих и считала, по-видимому, такую ситуацию совершенно в порядке вещей. Одна знакомая барышня осведомилась не без яда в голосе, как можно, дескать, иметь одновременно двух кавалеров? Ирочка пожала плечами: «Лучше, чем ни одного», — и заторопилась на свидание с Аяксами, не подозревая, что приобрела врага: барышне торопиться было некуда.

В то время, то есть в начале 20-х годов, Герман пылко увлекся кинематографом и говорил только о нем. Слушать его монологи, которые скорее напоминали лекции, было очень увлекательно, но — Ирочка не заметила, как и, главное, когда это произошло — ей не хотелось слушать его в одиночестве; более того, оказалось необходимо именно Колино присутствие.

Заметил ли это первый Аякс или просто пал духом от своей невостребованной любви, сказать трудно, но занервничал. Следствием явилось то, что Герман пришел на свидание без брата и решился на серьезное объяснение, которое должно было «перевернуть всю его жизнь»; да-да, так оно и прозвучало, приятно испугав Ирочку. Если нужно пояснять, то, во-первых, каждой барышне лестно услышать предложение руки от кавалера, чье сердце ей давно уже принадлежало, а во-вторых, барышня эта вовсе не стремилась замуж. Несмотря на двадцать с чем-то лет, что означало затянувшееся девичество, несмотря на то, что ее ровесницы уже нянчили детей, да и бывшие ухажеры превратились в мужей этих самых ровесниц, — нет, не торопилась. Трудно объяснить, что не позволяло сказать «да», скромно опустив глаза, но всякий раз, расставшись с кавалером, она чувствовала себя счастливой, потому что была свободна, и не знала ни одного человека, ради которого захотелось бы отказаться от этого восхитительного ощущения.

Поэтому выслушала Германа не снисходительно, а сочувственно, полюбовалась на изящный перстень, где переплетались в страстном объятии инициалы «НЛ», но на палец себе надеть не позволила.

Нет, Герман; прости.

«Прости» не походило на «прощай»; по крайней мере, так думал Герман и — продолжал надеяться. Отныне в их встречах появился легкий оттенок траура: тема любви и признания была похоронена, а на мизинце осталось светлое пятнышко незагорелой кожи; она не спросила, где перстень. Присутствие кузена, даже и безмолвное, стало облегчением для обоих, а Ире дало возможность рассмотреть его пристальней и заметить элегантность без щегольства, скромность без приниженности, эрудицию без тщеславия. Молчаливость второго Аякса восполнялась его умением слушать, без чего могла обойтись прекрасная Елена, но что было ох как немаловажно для девушки, сравнивающей, пусть и невольно, двух поклонников. Герман всегда слушал нетерпеливо, метко подсекая первую же паузу, чтобы заговорить самому.

Мало-помалу Ирочка научилась находить различия в самом сходстве Аяксов. Они приносили цветы: Герман — пышный букет в хрусткой нарядной упаковке, Коля — одну розу, неизменно белую, нежно обернутую белой папиросной бумагой. Герман бредил кино — кузен предпочитал театр. Даже бледность, свойственная обоим, причины имела разные, хотя бессонная ночь, проведенная Германом за картами, ничем по цвету не отличалась от ночной Колиной смены в типографии.

Что и говорить, букет был королевским, но через пять минут начинал тяготить: нести его было неудобно, обертка раздражала хрустом, и было жаль томящиеся в ней цветы. Куда как проще держать в руке один цветок, который украшал, не крича о своем великолепии и не заслоня лица кавалеров. Кино бесконечно восхищало, но театр оказался

богаче, словно пространство сцены давало актерам больше свободы, а зрителей делало соучастниками действия.

Слушая рассказы Германа об ипподроме или очередном карточном выигрыше, Ира только снисходительно улыбалась; мысль, что взрослый мужчина живет на средства отца, вызывала недоумение. В этом была какая-то ущербность, и Германа становилось жаль.

Напрасно, пожалуй: многие из тех, кто не озабочен хлебом насущным, — люди искусства; к ним относил себя и Герман, посвятивший свой творческий дар кинематографу. Да-да, он не только самозабвенно любил кино, но и мечтал его делать. Его обуревали вдохновенные идеи то ехать на север снимать древние замки — и он вскользь упоминал об отцовском имении, которым втайне гордился и куда намеревался «заехать по пути»; то живо описывал, какой фильм задумал снять из трамвайного вагона, панораму вечернего города, и даже название придумал: «Вагон», то... Он бурлил и искрился замыслами, и не поверить в то, что они осуществлятся, было все равно что не поверить размечтавшемуся ребенку: в этом был весь Герман.

Теперь уже не вспомнить, кого из Аяксов осенило устроить Ирочкины именины в знаменитом кафе «У Франца», да это и не важно, как не важно и то, что праздник получился очень многолюдным. Как-то само собой в центре внимания, словно в луче кинокамеры, все время оказывались трое — именинница и оба кузена, причем ни для кого из массовки, то есть гостей, не было секретом, что Аяксы стали соперниками. Так часто бывает: окружающие знают больше, чем герои событий, касающихся их одних.

Однако позвольте: как — соперники? Почему соперники? Ведь Коля, младший брат, Аякс второго состава, говоря

языком театра, даже не объяснился! Полно; да влюблен ли он?

Влюблен. И объяснение состоялось, только не вполне традиционным образом, а как именно...

А вот как.

После того как Ирочка отвергла сердце Германа и руку с кольцом, между ними возникла какая-то неловкость. Избежать ее можно было либо перестав видеться, либо «заземлив» романтический накал влюбленного. Ира стала приглашать на свидания то Кристен, то Басю в надежде переключить нежные чувства Германа на кого-то из подруг, коему заблуждению, увы, часто бывают подвержены многие уверенные в себе барышни. Благодаря мудрому маневру прогулки в новом составе менее всего походили на свидания. Подруги появлялись и исчезали, вместе или по отдельности; Аяксы неизменно оставались. Излишне допытываться, знал ли младший о неудаче старшего: Герман не умел молчать; гораздо интересней реакция Коли. Какими словами он утешал брата, и могли ли найтись такие слова у молчаливого соперника? Может быть, нашлись, но ненадолго. Да и как мог себя чувствовать отвергнутый жених, особенно не нашедший в себе мужества разом покончить с букетами, рандеву, преданными взглядами, а главное — расстаться с надеждой?

Герман был задет, уязвлен, раздражен. Ему казалось, что он стал всеобщим предметом насмешек, поэтому чуть ли не единственной темой разговоров — вернее, монологов — стал кинематограф. Тогда же, на именинах, Герман торжественно представил Ирочке господина Аверьянова, известного киномагната и владельца нескольких киноте-

атров, вовремя покинувшего в 17-м году революционный Петербург. Луч воображаемой камеры задержался несколько мгновений на знаменитом человеке — ровно столько, сколько требуется, чтобы удивиться его присутствию на именинах скромной барышни с Московского форштадта, — и соскользнул, соскучившись, на облюбованный треугольник.

На виновнице торжества было черное платье аскетически простого и строгого покроя; только жемчуг на шее делал его нарядным. Никакого блеска, если не считать блестящего узла волос на шее. «Шик», — восхищенно произнес кто-то за спиной. Этот «шик» и бледные как никогда Аяксы, в одинаковых белых крахмальных сорочках и черных костюмах, оказались бы прекрасной добычей для кинокамеры настоящей, а не воображаемой, сумей всемогущий господин Аверьянов увидеть кадр, но этого не случилось, ибо кинематографический раджа наслаждался дивными пирожными со взбитыми сливками, какие пекли только «У Франца», а больше нигде; поэтому камера осталась воображаемой, что нисколько не умаляло ее черно-белого искусства, тем более что о других возможностях в то время никто и не помышлял — ни Герман, ни даже господин Аверьянов.

А на улице стояли апрельские сумерки, и так радостно и легко было ступать черными туфельками по темному тротуару, неся в руках ворох любимых тюльпанов — белых, розовых, сиреневых, багровых — с которыми воображаемая камера справиться не сумела — и исчезла, но ни именинница, ни Аяксы, старательно пытающиеся попасть в ногу справа и слева от нее и не сбиться, да куда там! — словом, никто не заметил исчезновения колдовского луча. Три фигуры то

вырисовывались и обретали форму, приближаясь к фонарю, то тускнели, удаляясь, нечеткими силуэтами, пока не вступали в круг следующего. Один молча курил. Ира тоже молчала и улыбалась, поглаживая тугие листья. Третий, воодушевленный беседой с могущественным кинематографистом, непрерывно говорил о том, как начнет, наконец, снимать фильм в почетном альянсе.

— В добрый час, — прервал молчание Коля и хотел что-то добавить, но Герман неожиданно выпалил:

— И женюсь на Ирочке!

Прядь волос выскользнула из-под сдвинутой шляпы, шелковое кашне вырвалось на свободу, а отброшенная резко папираса оставила на расстегнутом пальто млечный путь. Запрокинув голову так, что стал виден кадык, а шляпа не падала только от изумления, повторил — словно вызов бросил:

— Женюсь!

Да это и было вызовом.

Тюльпаны замерли, как и рука, которая гладила их. Коля как раз вынул портсигар и смотрел на него так, словно впервые видел. Почти тем же голосом, как и «в добрый час», осведомился:

— Вот как. Когда же?

— Никогда! — твердо и весело отозвалась Ирочка и переложил вздрогнувшие тюльпаны в другую руку. Она не подозревала, что именно так ответила ее мать принаряженным сватам двадцать пять лет тому назад, да и не могла заподозрить: разве удавалось кому-то увидеть юными собственными родителями, еще и не родителями вовсе? — Не выйду я за тебя, — добавила мягко, точно младшего брата журила. — Я вот, — полуоборот на маленьких твердых каблучках, — за Колю замуж пойду.

То ли еще приходилось наблюдать старому фонарю на Рагушной площади! В старые времена здесь, должно быть, ломали шпаги; теперь ломают спички в тщетной попытке закурить. Вернее, закуривает только один, а второй стоит на коленях и целует сумасбродной барышне руку, которую она только что неожиданно ему предложила. Тусклого света старого фонаря достало, однако, на то, чтобы сжечь дотла дерзкие надежды старшего Аякса и озарить счастьем младшего. Да что, мало он Аяксов перевидал на своем веку, или мало Елен, этот сутулый чугунный фонарь? Не эти первые и не они последние. Речной туман застилает ему подслеповатый глаз, но не мешает услышать свежий капустный хруст перебираемых тюльпанов, «подари мне один», яростное чирканье спичек и — «Честь имею кланяться!». Последнюю фразу услышал он один, хотя ему было до фонаря, как скажут лет через сорок.

... Там же, в Старом Городе, они сняли свою первую квартиру. На Реформатской улице, рядом с маленькой площадью, где булыжник уложен так плотно, что, казалось, неминуемо должен вспучиться, как фасоль в горшке, а все же упрямые острые травинки пробили путь между камнями не только себе, но и вычурным листкам одуванчика, а издали казалось, что под майским солнцем прошел маляр и отряхнул кисть, покрыв серые камни веселыми ярко-желтыми брызгами. Но это произошло не только не сразу, а и совсем не скоро: спустя несколько лет. Даже отсюда, из 1986-го, такая проволочка непонятна, необъяснима и, пожалуй, противоестественна, хотя любой журнал, рассусоливающий на тему любви, советует молодым людям — и особенно девушкам — «проверить свои чувства временем». Можно считать,

что эта пара задолго предвосхитила полезную рекомендацию: чувства проверялись почти шесть лет. Проверяла одна Ирочка; Коля был слишком счастлив, чтобы сомневаться. Она частенько подтрунивала:

— А если бы я... если бы я не сказала тогда... ты бы так и молчал?

— Да.

— Почему?

— Не смел.

Да-да, глагол «сметь» обладал в то время иным удельным весом, и запрет: «не смеешь» обладал большей силой и значимостью, чем обычное «нельзя».

— Так бы и молчал? — переспрашивала недоверчиво.

Он только пожимал плечами:

— Наверно.

Она рано вставала, чтобы проводить Колю на работу, но как радостно было проснуться, опередив будильник, ловко прихлопнуть его подушкой, а разбудить поцелуем! Когда они выходили из дому, площадь спала, потому что одуванчики ждали солнца, чтобы засмеяться ярко-желтыми звездочками. Казалось, так будет всегда, но ветер обещал осенью притащить листья и покрыть бульжник разноцветными заплатами, как сумасшедшая кухарка нашивает яркие лоскуты шелка на старый застиранный передник.

А сейчас долго-долго начиналось лето. Небольшие окна квартиры смотрели на улицу, дверь открывалась прямо на тротуар, и они, не разжимая рук, шли по неровным исптаным плиткам с торчащими между ними упрямыми травинками. Можно было не пройти, а протанцевать тустеп до самого угла под неодобрительным взглядом женщины в боль-

шом клетчатом платке на плечах и с корзинкой. Может, то был и не тустеп, или взгляд был не осуждающим, а завистливым — или, наоборот, понимающим — сейчас уже не вспомнить; только крупная желто-серо-коричневая клетка чужого платка до сих пор стоит перед глазами, как и туфли, большая и маленькая, замершие рядом в последнем «па» на неровном тротуаре, прямо под табличками, обозначающими их земное бытие: «Ул. Реформатская» и «Ул. Грешников».

— Коля, это наша улица, — Ирочка остановилась.

— Что, адрес забыла? Реформатская, 14, квартира 3, — улыбнулся он.

— Нет, нет; читай: «Ул. Грешников». Мы и есть грешники, вот что.

Коля бережно взял ее руки и поцеловал:

— Ты — грешница? Не верю.

— Нет, Коля, нет. Мы с тобой оба грешники, слышишь?

— Моя родная, — произнес ласково и настойчиво одновременно, словно не в первый раз делал это, да так оно и было, — давай поженимся!

— Нет, — тихо и твердо поправила Ирочка, — повенчаемся.

Как же трудно, трудно и страшно было выговорить признание, и он непроизвольно крепче сжал маленькие руки своими, словно боясь, что, выпусти он пальцы, она исчезнет из его жизни навсегда, растворится в утреннем свете затухающим стуком каблучков:

— Я коммунист.

Пальцы выскользнули — для того только, чтобы ласково коснуться его щеки и замереть:

— Богу все едино.

Венчались тоже утром, когда немногочисленный народ уже расходился по домам после службы и храм был почти пуст. Те, кто заметил у входа объявление о венчании, задержались посмотреть на молодых, но скоро выяснилось, что напрасно, и любопытство сменилось недоумением, а у кого-то и легкой досадой: не было ни белопенных кружев на невесте, ни фразной пары, рубашки с пластронами и галстука-бабочки на женихе; вообще никакой нарядности не было, как не было и гостей, не говоря уже о подвывающей мамаше, которая по свадебному сценарию должна оплакивать если не загубленную судьбу голубицы-дочери, то хотя бы хлесткое слово «теща», коим отныне станет называться. Не было суетливого букета взволнованных подружек и сконфуженно покашливающих отцов; не было шаферов, которые с ненужной озабоченностью поправляли бы в петлицах белые букетики. Были самые главные, Он и Она — счастливые, с ликующими лицами, да батюшка в полном облачении, радующийся их счастью, несмотря на строгое лицо. И шаферы, одетые совсем буднично, если не считать белых тюльпанов в петлице, конечно, стояли за спинами молодых. Один из них, очень похожий на жениха, старательно держал сверкающий венец, чуть приподнявшись на цыпочки, потому что был ниже ростом; от этого, должно быть, венец чуть покачивался. Второй был ничем не примечателен, кроме того, что носил важное имя Аристарх, жил некогда в соседней квартире с женихом и заглядывал к нему иногда за папиросами, а перед сном надевал на голову особую сеточку, чтобы волосы утром лежали гладко; но какое это имеет значение сейчас, когда ему нужно только ровно держать венец над головой невесты, что он и делает безукоризненно.

Стояли поодаль, среди считанных присутствующих, и родные молодых: отец невесты, известный не только на форштадте мебельщик Григорий Максимович Иванов с супругой Матреной, которую в данной торжественной okazji уместно именовать Матроной Ивановной, сестра и трое братьев; со стороны жениха — и в противоположной стороне от невестиной родни — присутствовала одна только мать Стефанида Леонтьевна, потому что больше присутствовать было некому: дочь с семьей переселилась в другой город, а муж и того дальше — на кладбище. Одета она была, со вдовьим аскетизмом, во все черное, словно затушевывая происходящее. По контрасту со сватьей Матрена казалась особенно нарядной в сером платье матового шелка под расстегнутым легким манто и с кружевной накидкой на голове вместо платка. При полном несходстве лиц, фигур и нарядов обе матери бурили венчающихся одинаково требовательными и изучающими взглядами: одна — невесту, другая — жениха, и обе одновременно вскинули глаза на батюшку, услышав:

«Венчается раб Божий Конон рабе Божией Ирине, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!»

Потом смотрели, как жених, пригубив вино, бережно передал чашу невесте, и становилось ясно: такие лица должны быть у небожителей, пьющих божественный нектар.

В продолжение всего обряда слух зрителей сосредоточивался на словах и негромком пенье батюшки, но мысли нет-нет да и улетали со свойственной им непоседливостью. Матрена решила про себя, что жених — темная лошадка, однако вида из себя благородного, что твой офицер, а дочка больно уж волю большую взяла — тут ее соболиные брови

гневно сомкнулись: ни помолвки, ни приданого — все не как у людей; и обед перестойтся. Прости, Господи, меня, недостойную, за грешные мысли.

Мастер Иванов, или попросту Максимыч, то улыбался чему-то, но никто этого не видел из-за его бороды, то хмуро насупливался, вспоминая дочкин решительный отказ от свадьбы, что отцу, конечно, обидно.

Стефанида Леонтьевна, будучи уверена, что ее лицо ничего, кроме уважительного внимания к службе, не выражает, именно в этом ошибалась. На правильном и крупном, почти мужском, лице читались вызов, уязвленность и разочарование, хотя черты сохраняли неподвижность. Взгляд иногда останавливался на Германе. Знала ли Стефанида о неудачном сватовстве племянника? — Да уж как было не знать. Известно, что ни в достоинствах, ни в недостатках Германа молчаливость не фигурировала. Двум парням головы морочила; с двоими гуляла, виданное ли дело; и с удовольствием наделяла мысленно слово «гуляла» смыслом, которого, она знала, в нем не было.

«Господи, Боже наш, славою и честью венчай я их», — пропел батюшка, и Стефанида торопливо перекрестилась. Спаси, Господи, и сохрани мою душу грешную. Известно: сын — отрезанный ломоть; вздохнула.

Три брата, старшему из которых стукнул двадцать один, а младшему четырнадцать, смотрели на венчание с восхищением; шестнадцатилетняя сестра Тоня — мечтательно и снисходительно: уж у нее-то все будет не так, все будет намного красивей... Что в свое время и подтвердилось.

После венчания поехали регистрироваться, чтобы отныне называться мужем и женою не только перед Богом,

но и перед людьми. Герман и Аристарх, всё так же с бутоньерками, из шаферов стали свидетелями, о чем и сделана запись в «Свидетельстве о браке», выписанном в 1926 году, в четырнадцатый день июня месяца.

Праздничный, несмотря на будний день, обед совсем не перестоялся и был великолепен. Стефанида Леонтьевна неохотно выпила рюмку, но от крика «горько!» воздержалась. Эффект был подпорчен только тем обстоятельством, что никто вызова не заметил. Во время трапезы обе матери — теперь свекровь и теща — зорко присматривались к молодым, что не стоило им никаких усилий, ибо те смотрели только друг на друга. Наблюдения были так же схожи, как и выводы, потому что безупречны, по определению, лишь собственные дети, лучше которых бывают только внуки. К невесткам, равно как и к зятям, понятие идеала не приложимо: их недостатки принято рассматривать через увеличительное стекло, а достоинства смахивают небрежно, как крошки со стола. Ни Матрена, ни Стефанида не были исключением — и гордились этим.

5

Но как же Герман? Первый кавалер, старший брат, Аякс номер один? О нем уже столько сказано, что было бы несправедливо не договорить. Между апрельским вечером, когда Герман безуспешно закуривал на площади папиросу, и июньским днем в храме, где он старательно держал брачный венец над головой кузена, прошло три года. Он избегал общества молодых супругов, но частенько виделся с Колей.

В квартирке на Реформатской, однако, всегда был желанным гостем. Снова начал носить на мизинце перстень с вензелем, посещал казино и бега. Стал брать уроки скрипки, которую забросил еще в гимназии; увлекся барышней из английского магазина, и одно время их часто видели вдвоем. Пламенная страсть к Великому Немому его не оставляла, а мечты и планы можно было обсудить только с Колей, потому что магазинная красotka хоть и слушала, но частенько открывала ридикюль и смотрелась в зеркальце, и только тогда ее лицо озарялось неподдельным интересом.

Но чем бы Герман ни был занят, раз в неделю, в один из вечеров, они с Колей непременно встречались и вместе уходили.

В ячейку.

Пчелиное слово вошло в жизнь Ирочки вместе с Колей, когда она решила их совместную судьбу. Оба слова: «коммунист» и «ячейка» были тайными, запрещенными; об этом ни с кем нельзя было говорить. Последнее не составляло труда: она никогда не была болтлива, но, узнав о причастности Германа, изумилась. Коля решительно покачал головой: «Никому не скажет: я за него поручился».

Словно это обстоятельство когда-то было помехой.

Что такое эта ячейка и что там происходило, Ира не знала. Представлялось нечто вроде огромного улья с сотами, внутри которого копошатся люди, делают что-то непонятное; что? Коля говорил: борются, чтобы бедным жилось легче. Пусть идут работать, вот и легче будет. Разве это легко, возражал он, разве хватает работы на всех? Сегодня у нас есть работа, а кто знает, что будет завтра? А почему, удивлялась она, надо бороться тайком — ведь это хорошо, если

бедных не будет? Бедным — хорошо, терпеливо отвечал он, но богатым-то плохо: кто ж на них работать станет? Почему «на них», не могла взять в толк Ирочка, ведь люди на себя работают! Коля с воодушевлением принимался разъяснять теорию прибавочной стоимости, и невеста сдалась — не оттого, что убедил, ибо ничего, кроме слова «стоимость», не поняла, а поверив любимому на слово. Основы марксистской теории, вместе с загадочной прибавочной стоимостью, Коля мог захлеб обсуждать с кузеном, хотя тот предпочитал говорить о кино.

И уже не только говорить. Красноречие принесло свои плоды: господин Аверьянов согласился стать партнером Германа, и постановка фильма успешно осуществилась. Нет, в нем не было древних замков, как не было и панорамы вечернего города из трамвайного окна; господин Аверьянов был трезвый человек. Фильм сняли по очень известному роману местного писателя «Господа хуторяне», и публика приняла его с таким же восторгом, как ранее сам роман. Да и как могло быть иначе? Как раз за год до этого события произошло другое: на выборах в парламент «Республиканский союз хуторян» получил очень весомое количество голосов; иными словами, господин Аверьянов поставил на правильную лошадь. Фильм удовлетворял всех зрителей, показывая незадачливых простофиль, расчетливых толстосумов, цепких сельских буржуа, наивных хуторян. Лирические картины родной природы вызывали у публики умиление; авантюры, в которые очертя голову пускаются герои, держали в напряжении, а любовные сцены заставляли всплакнуть, тем более что влюбленные были бессловесны, а их страсть

выражалась скупыми, как телеграммы, титрами. Фильмом гордились все: жители столицы, сами хуторяне, писатель, чье творение воплотилось в Великом Немом; гордилась вся маленькая республика — это был ее первый фильм! Когда о нем говорили и писали без устали во всех газетах, то первым — а значит, как будто бы и главным — стояло имя Германа, звучавшее для местного уха родным, и только после него называли господина Аверьянова. Да и кто он, собственно, такой, этот господин Аверьянов? — Чужак; к тому же русский, но не местный, а — оттуда, из России. С привычным уважением делали реверанс его миллионам; еще бы: акционерное общество, три кинотеатра здесь да несколько в соседней республике, но тут же вспоминали, что он *драпанул* некогда от большевиков. Стало быть, здесь он и не гость даже, а — беженец, *persona non grata*. Да и неизвестно, почему бежал, добавляли с загадочным, но явно негативным подтекстом; что ж, большевики не люди разве? Недаром наш президент подписал с ними торговый договор! Миллионы миллионами, господин Аверьянов, а у нас свои кинематографисты имеются! — и называли имя Германа, который стал всеобщим любимцем.

И — очень богатым человеком.

Настолько богатым, что никто не поверил бы в его принадлежность к коммунистической ячейке, — и в первую очередь сама ячейка. Да Герман и сам в последний год как-то отошел от еженедельных собраний, нелегальной литературы и марксистской теории, тем более что успешно разгадал тайну прибавочной стоимости.

Время, как известно, лучший врач; работа ничем не хуже. Герману не было трудно в присутствии жены кузена. Ира

встречала его неизменно приветливо, а Герман оставался Германом, но говорил теперь о звуковом кино: в Америке, в далеком Голливуде появились первые ласточки этого чуда.

Но счастливые супруги были поглощены своим собственным «звуковым кино» — маленькой дочкой, и слушали рассеянно.

Герман кинулся к господину Аверьянову и был дружески принят. Киномагнат выслушал партнера внимательнейшим образом и сказал решительное «нет».

Идея Германа заключалась в том, чтобы озвучить «Господ хуторян» и тем самым поднять акции кинематографического искусства республики. В соавторстве с Аверьяновым, разумеется.

Тот налил еще коньяка, но от партнерства отказался.

— Авантюра, — великодушно объяснил он свой отказ, — а я не авантюрист, я делец.

Провожая гостя к воротам особняка, предупредил благожелательно: «Смотри, прогоришь».

И — как в воду глядел.

В самом деле, получив решительный отказ, Герман пускается в задуманное предприятие в одиночку, что само по себе было авантурой. Прав, ох как прав был бывший партнер, разглядев в Германе авантюриста! Что ж, на то он и магнат. Настоящими миллионерами не рождаются — ими становятся.

Изучив технику озвучивания, Герман принимается за дело, хоть средства стремительно тают. Да, бешеный успех фильма принес ему немалое состояние, и этого состояния как раз хватает на задуманное. Отец, верный своему обычаю, высылает недостающую сумму — на рекламу.

Пустые залы и нулевой сбор, что по сути одно и то же.

Знал ли господин Аверьянов, что так случится? Что зрители, посмотрев немой фильм и перестрадав судьбами героев, пресытятся? И если знал, почему не сказал незадачливо-му своему партнеру, хоть и бывшему? — Так ведь он делец, а не благотворитель; а могло стать, что и не знал, но — делец, делец! — учуял запах авантюры, а авантюристы редко становятся миллионерами. Ну, да сейчас не до него.

Герман разорен.

В процессе озвучивания фильма он неожиданно пылко влюбляется в барышню за пишущей машинкой и женится, как шутили артисты, в интервале между тем, как она вынимает отпечатанную страницу и закладывает чистый лист.

Нищий, счастливый, женатый...

Крепко и глубоко, должно быть, сидело в Германе авантюрное начало. После крушения блестящего проекта он начисто теряет интерес к кино и впервые за долгое время видит мир, где светит солнце, а не слепящие прожекторы, и мир этот давно озвучен. Озвучен, пожалуй, громче, чем следовало бы, но это легко объяснимо: говорят только о наступающих выборах, о борьбе партий. Внимание всех обращено к городку на юге, ничем не примечательному, кроме режущего слух названия да близости к России, если бы не выборы в парламент, которые решено устроить именно там. Герман, обуреваемый новыми идеями, курит одну папиросу за другой и крутит перстень на мизинце. Лариса озадаченно поглядывает на мужа и одновременно поправляет пышную прическу из тугих завитков, похожую на цветок гиацинта. Она вышла замуж за Германа богатого и предприимчивого, и не одна кинематографическая барышня хотела бы

оказаться на ее месте, а сегодня нечем платить за квартиру, муж молчит, и второе обстоятельство тревожит Ларису едва ли не больше первого.

— Нечем так нечем, — резюмирует Герман, почти цитируя президента, — едем!

Гиацинтовая головка послушно повернулась к нему, как цветок поворачивается к солнцу. Если еще недавно Лариса лучше всех печатала, легким движением светлых завитков обозначая готовность слушать дальше, то за последнее время она так же послушно научилась жить под диктовку Германа.

Городок застали возбужденным, как невесту перед смотринами. Сняли дешевый номер в окраинной гостиничке, и, пока жена снисходительно рассматривает провинциальные витрины, прислушиваясь к непривычному местному говору, Герман колесит по центральным улицам.

Найдя искомое — просторный, но светлый и уютный зал, разделенный деревянными колоннами — снимает его, не торгуясь. Вместо ожидаемого задатка с убедительной искренностью сетует, что пострадался на мебель, и достает из портмоне свою визитную карточку. Польщенный рантье осведомляется: «Кино снимаете?» Нет, улыбается Герман; ресторан.

На том же извозчике едет к мебельщику и набирает изрядное количество столов со стульями — в долг, разумеется, объясняя, что все деньги отдал за аренду помещения.

Через неделю в городке открылся новый ресторан с уютным названием «Под кронами». Новый ресторатор хотел выбрать какое-то лиричное и достойное название, например, «Старый тополь» или «Под вязами», но будучи не вполне си-

лен в ботанике, что извинительно для человека творчества, остановился на более собирательном варианте, тем более что деревьев пруд пруди, как и депутатов крестьянского союза, которые не преминули бы заметить ляпсус.

Ресторан никогда не пустовал, несмотря на опасения арендатора и Ларисы. Каждый день народу в городке прибывало. Приезжали делегаты «Союза хуторян» (не из фильма, а настоящих), «Левых рабочих», «Сионистского центра», «Католической партии», «Русских старообрядцев», «Немецкого общества» и множества других. Борьба партий началась еще весной, и газеты гадали, каков будет состав нового парламента. Все это разнородное множество съехалось в провинциальный городок, чтобы избирать и быть избранными.

Расчет Германа был безошибочен: все партии и все делегаты равны, ибо хотят есть, а значит, должны быть накормлены. Ресторан «Под кронами» выгодно отличался от других: хозяин сумел создать легкую и светскую атмосферу. Во второй половине зала, отделенной колоннами, Герман устроил что-то вроде кабачка, где утолившие голод делегаты пили кофе и кюммель, исключительно способствовавшие как пищеварению, так и дискуссии. Завсегдатаи, которых становилось все больше, с нетерпением ждали, когда Герман выйдет со скрипкой и заиграет республиканский гимн «Боже, благослови отчизну»; слушали стоя.

Авантюрист — да; но не аферист: при первой же возможности, то есть очень скоро, щедро рассчитался с арендатором и с мебельщиком.

Однако всё подходит к концу, и предвыборная борьба разрешается, наконец, от долгожданного бремени. После

выборов городок напоминает фонтан, в котором иссякает вода: струи становятся вялыми, ленивыми, пока не испускают последний дух, захлебнувшись ржавчиной. «Под кронами» становится пусто: кого интересует шикарный ресторан в захолустье? По законам коммерции от него необходимо срочно избавиться. В сложившихся обстоятельствах это, мягко говоря, нелегко; поэтому, в соответствии с теми же законами, он продан — с убытками.

Есть от чего задуматься и рассеянно вертеть кольцо на мизинце!

Новый план Германа смущает гиацинтовую жену: ей хочется обратно в большой город, в столицу. Но сейчас уезжать никак не время, потому что авантюрная жилка подбила Германа купить мельницу у местного пьянчуги. Сама покупка носит престранный характер, ибо продавец, то есть владелец, юридически пока что таковым не является, но должен немедленно им стать после смерти отца, патриарха весьма преклонных лет и страстного поклонника Бахуса. Предприимчивый наследник убежден, что «старик одной ногой в могиле», причем эту уверенность разделяют все в округе.

Ситуация возникает сомнительная: Герман мается ложным и неопределенным положением будущего мельника, наследник кутит за его счет, поглядывая на часы батюшкиной судьбы, а старик остается верен себе: пьет без просыпу, непрерывно хворает и по-прежнему стоит одной ногой в могиле, однако если и занес вторую, то опускать ее туда отнюдь не торопится.

Герман выбит из колеи и пытается мирным путем либо узаконить свое право собственности на чертову мельницу, либо вернуть хотя бы часть вложенного капитала.

Старик небрит и взъерошен, как пыльный репейник; он аккуратно отрезает кончик сигары и качает серой колючей головой: «Нет, сударь, я не получал от вас никаких денег».

Молодой шалопай продолжает делать долги на имя Германа.

Отчаявшись, Герман предъявляет судебный иск, утверждая, что отец с сыном вместе пропивали его деньги, полученные авансом за мельницу.

Провинциалы с любопытством следят за процессом. Сын старого мельника суетится. Старый хрыч хранит олимпийское спокойствие.

На суд Герман приносит пухлый ворох оплаченных им счетов наследника; тот приносит с собой запах перегара, а старик ничего не приносит, но приводит свидетеля-официанта, который показывает, что клиент всегда самолично расплачивался за свой заказ — две бутылки пива. Официант умолчал — или, как говорят в мире кино, «оставил за кадром» — что, оплатив свои стартовые две бутылки пива, старый пройдоха кутил до утра в компании с сыном.

Иск проигран; Герман платит судебные издержки, что выглядит полным уже издевательством.

Лариса робко предлагает вернуться домой: «снимем квартиру попроще», но муж, который до этого мрачно вертел перстень на мизинце, вдруг замирает.

— Домой, — повторяет он, словно пробуя на вкус забытое слово, — домой, правильно!

В поезде Герман оживляется и словно оживает — в отличие от жены; светлые кудряшки поникают на глазах.

Едут они, вопреки надеждам Ларисы, на север, в старый город с древними замками, до сих пор ожидающий, когда

Герман приедет запечатлеть их на киноплёнку. Герман едет к отцу, домой, повторяя — в который раз! — историю блудного сына.

С тою лишь разницей, что не встречаются его тимпанами и флейтами, да и до заклания тучного тельца не доходит. Усадьба отца на первый взгляд кажется необитаемой; второй взгляд не подтверждает этого впечатления, но, увы, и не опровергает.

Отец парализован.

Это и есть судьба: мы тщательно расписываем партитуру собственной жизни, но где-то ошибаемся всего на полтакта — и это необратимо.

Пока он распутывал аферу двух жуликов, его отец слег, чтобы больше не встать. Слег, но не умер: дожидался своего непутевого сына. При больном безотлучно находился пожилой батрак, так долго работавший в имении, что ему и в голову не пришло оставить умирающего хозяина.

Удар случился с отцом в день судебного процесса.

Спустя неделю тридцатипятилетний Герман стал называться не «молодым хозяином», а просто хозяином, потому что прежнего не стало. Можно с уверенностью сказать, что отец умер счастливым, и не столько по его беспомощному мычанию, сколько по обожающему взгляду, который он не спускал с Германа и время от времени переводил на невестку, словно приглашая разделить его гордость и восхищение.

Не будь Герман в шоке, он бы заметил, а заметив, удивился бы необычайно, как незаметно и уверенно жена взяла в свои руки уход за больным, увидев старика впервые только сейчас, да еще в столь плачевных обстоятельствах.

Бумаги усопшего оказались в полном порядке. Усадьба приносила хороший доход, в чем Герман убедился только теперь, хотя пользовался им всю свою самостоятельную жизнь, но требовала постоянного внимания, то есть труда. Этим-то трудом наследник и занялся, хотя начинать должен был с нуля, — о деревенском хозяйстве он не знал ровно ничего, хоть и снял фильм о жизни хуторян.

К счастью, Лариса умела не только на пишущей машинке стучать да укладывать локоны. Нет, гиацинтовая красавица вовсе не была столичной штучкой, а выросла на хуторе и в большом городе очутилась намного позднее, чем Герман. Она помнила головой и руками деревенскую работу и, не боясь потерять их ухоженность, охотно включилась в хозяйство. Батрак остался в имении. Вскоре понадобилось нанять еще нескольких, а спустя полтора года хозяин проводит в курятник электричество; о таком уровне благосостояния старый хозяин и не мечтал.

Отец был бы доволен, думает Герман. Лихорадка первого времени, когда он не умел отличить рожь от овса и кобылы от мерина, сейчас кажется смешной, а собственное превращение в хуторянина выглядит очередной авантюрой.

И весьма удачной.

Сына назвали Карлом, в честь деда. У него такие же курьвые волосы, как у Ларисы, только темные — в отца. Мальчик пока не выше лопуха, но Герман читает газеты и серьезно обдумывает, в какую школу его определить.

Газеты вселяют тревогу: немцы заняли Польшу, и похоже, что на этом не остановятся; Англия и Франция вступают в войну. А война всегда бьет по карману, и те, у кого он не пустой, должны позаботиться, чтобы и впредь так оставалось.

Тем более когда есть кого обеспечивать, думает он, стягивая перед зеркалом воротничок на загорелой шее. Пора купить модный костюм.

В Городе он проводит несколько недель, но за этот скромный отрезок времени его банковский счет стремительно тает. Покупку модного костюма празднует в гостях у кузена и, отхлебывая кофе, с любопытством присматривается к детям: хмурой смуглой девочке лет десяти и улыбчивому блондину-сынишке: какой большой! Да, Герман, Левочке уже семь; вот и твой таким будет через три года. Время быстро летит.

Как быстро летит время, видно по детям. Этим лирическим рассуждениям он предается в поезде. Купленный костюм томится в чемодане, а Герман одет немногим лучше батрака, в застегнутую доверху куртку из грубой ткани, которую не снимает, хоть в поезде тепло.

Приехав домой, первым делом подкидывает в воздух Карлушку — кудряшки взлетают с визгом, — после чего переодевается, бережно разгружая карманы старой куртки.

Деньги?

Нет: бриллианты. Чистейшей воды — куда там слезе! — в замшевых, мышинового цвета мешочках, прямо от ювелира.

Рассвет следующего дня застает его в кленовой аллее, ведущей в сторону кладбища, где покоятся родители. Здесь, под кронами — никаких ассоциаций с рестораном — пусто и безмолвно. Герман отсчитывает четыре шага, по числу Карлушкиных лет, от любимого отцовского дерева и берет-ся за лопату. Жене он ничего не говорит, да и вообще становится все больше похож на кузена.

Следующий год подтверждает дальновидность этого поступка, заимствованного у героев Дюма. Национализация бан-

ков, как большевики называют откровенный грабеж, не лишает Германа душевного равновесия, чего нельзя сказать о жене. Ее успокаивает весомое слово «инвестиции», а на вопрос, куда вложен капитал, Герман отвечает: «В землю. Это надежно».

С правительством между тем происходят настолько диковинные метаморфозы, что Герман откладывает газету и берет в руки скрипку. Под музыку Вивальди легче обдумывать выбор школы для сына. Например, в Швейцарии. Поселиться втроем в скромном пансионе...

Новая авантюра вызывает решительный протест жены. Куда, в воюющую Европу, с ребенком?! Да и как туда попасть, в эту безмятежную от своей нейтральности Швейцарию, сквозь войну?

Герман деловито прикидывает и обнаруживает только один способ: примкнуть к репатрирующимся немцам. Отложив скрипку, пишет свое имя на немецкий лад. Впрочем, комиссию по делам репатриации волнуют не имена, а цифры: Третьему рейху нужны люди. Это успокаивает: никто не обратит внимания на русскую фамилию Ларисы. Это же и тревожит: вряд ли ответственные за репатриацию позволят будущим гражданам Германии расползтись, как тараканам, по дороге. И что значит: «нужны люди», если не для того, чтобы воевать? — Нет, слуга покорный.

Эмиграция?.. Скрипка замолкает. Куда, да и что делать с именем?

Сдать в аренду, предлагает Лариса.

Президент, выступающий по радио, объясняет, что советские войска вступают в республику с ведома и согласия правительства: «Я останусь на своем месте, вы оставайтесь на своем».

Герман думает о кленовой аллее и соглашается с президентом, который через два дня перестает быть таковым.

Экстренный приезд к кузену и ночной разговор только подтверждает его решение. Коля признается, что отошел от партийной деятельности, но готов подтвердить принадлежность брата к ячейке: «Ты помнишь, я за тебя поручился?» Герман качает головой: авантюрист — да, но не аферист; он не ставил на эту лошадь.

...Когда люди не могут найти решение, вмешивается судьба.

Или другие люди, что и совершается 14-го июня 1941 года. Герман с семьей уезжает, но отнюдь не в Швейцарию, а на Дальний Восток, и не в качестве немецкого репатрианта, а «кулаком» и «буржуазным элементом».

На новом месте он устраивается продавцом в продуктовом ларьке, который по площади сильно уступает его курятнику. От покупателей нет отбоя: сосланные, как он сам, заключенные, вольнонаемные. С помощью других ссыльных ему удастся «нарастить» ларек, превратив его в тесный, но теплый магазин. Из бракованных бревен делается пристройка, где покупатели могут посидеть за грубыми дощатыми столами и распить бутылку.

Завмаг на хорошем счету как у ссыльных, так и у начальства. Вечерами, когда покупателей меньше, играет на скрипке «Амурские волны», «Синенький скромный платочек...» или что-то совсем уж печальное и красивое... Играет и «Боже, благослови отчизну», как некогда в кабачке «Под кронами». Тех, кого привезли оттуда в товарных вагонах, узнать легко: они слушают стоя. А среди сидящих находит-

ся благонамеренный, который и сообщает по начальству, но узнать его трудно, так как сидящих много.

Как и стукачей.

И загреметь бы Герману на Колыму, если бы фортуна опять не простерла над ним свое крыло. Следователь, который вел допрос, оказывается его соотечественником: из тех, кого называли — одни с гордостью, другие с трепетом — «меткими красными стрелками». Революционный стрелок заметил странную закономерность: в один прекрасный момент стрелы начинали лететь по законам бумеранга. Заметив, ужаснулся; остался на своем посту, но не зверствовал. Строго предупредив Германа, отпустил обратно в магазин, ограничившись конфискацией скрипки.

В честь окончания войны скрипка возвращается к хозяину, и Герман исполняет все дозволенные законом и временем мелодии. Карлушка ходит в школу, в третий класс; жена, занятая домом и огородом, ухитряется помогать Герману в магазине. Пышные завитки ее волос посветлели, точно припудренные.

Как ни парадоксально, время в ссылке супруги единодушно считают благоденствием. И не только они, но и все, кто сумел выжить. Конечно, рано или поздно догоняла странная, необъяснимая тоска: то во сне увидишь старинную ратушу из города юности, то запах смолы от бревен напомнит родные рыжие сосны и матовую сизую траву дюн.

Пора домой?..

Из тысяч высланных тысячи проделали путь только в один конец.

Герман едет первым. Он возвращается домой, как тогда, после ресторана «Под кронами», после суда. Его никто не

встретит в усадьбе, даже преданный батрак. Тем более что над входом виднеется надпись «Начальная школа» на знакомом языке. Вокруг неизвестные безликие постройки и шаткие плетни. Не нужно ни заходить, ни даже смотреть туда; повернуться спиной и пойти прямо по кленовой аллее, что ведет к кладбищу.

Аллеи нет.

Герман находит несколько кленовых деревьев и много пней, по которым невозможно отыскать любимое дерево отца, чтобы отсчитать четыре шага. Здесь проходили танки; может, клены спилили для них?

Странно, но он спокоен. Кладбище — слава богу! — не пострадало, поэтому можно посидеть у могил. Он плохо помнит мать, но долго говорит с отцом. Молча, конечно: привычка.

Отец, я вернул тебе долг. Земля — надежные инвестиции. Ты много отдал этой земле, но и мой вклад тоже есть. Прости, отец; спи спокойно.

Приехав в столицу, шлет телеграмму семье. Из близких находит одну Иру. Гибель кузена потрясает его почти до обморока: значит, тогда ночью, перед войной, они виделись в последний раз. Коля — вторая его потеря, после отца.

...Подходят к концу 50-е годы. Разворачивается кампания по истории отечественной кинематографии, которой республика очень гордится. Всплывает из забвения — почти из небытия — фильм «Господа хуторяне». Бойкий журналист докопался, что уникальная лента была озвучена!

Герман становится героем дня.

Его находят в переполненной коммунальной квартире и с почетом переводят в прекрасный особняк Старого горо-

да, где живут самые заслуженные люди: писатели, деятели искусства, старые большевики.

Жена с трудом привыкает к новому быту: ей кажется, что в Приамурье было спокойней, что правда.

Для Германа все происходящее — очередная авантюра. Он дает интервью и рассказывает о совместной работе с Аверьяновым, но редактор хмурится и вычеркивает этот кусок, потому что киномагнат расстрелян в первые же недели советской власти, в 40-м году.

К торжественному открытию новой киностудии Герман готовит речь, в то время как жена утюжит костюм. Машина будет подана в 10.30, торжество начнется в 11.00; гвоздь программы — просмотр знаменитого фильма и чествование первого кинематографиста республики.

Что ж, он готов. Стоя перед зеркалом, привычным щегольским движением повязывает галстук. Улыбается чему-то и, повернувшись к жене, спрашивает: «Как странно, правда?»

А что странного?

— Что «странно»? — громко кричит Лариса, — что?..

Но Герман не слышит.

6

Он пережил брата на двадцать пять лет.

Как странно, что запомнился он именно молодым: ведь обыкновенно новый, «пожилой» облик вытесняет прежний. Или оттого, что видела его только один раз после войны? Сказали: сердце не выдержало. Навсегда остался таким, как на этой карточке, вернее, на карточках: в пору своего сопер-

ничества снялись и подарили с одной и той же надписью на обороте: «На память». Если не знать, что подписывали двое, можно принять за одну руку, только в одной надписи слишком залихватские петельки на «Н» и очень четкое, с уверенной точкой, «я». Не ошибешься: даже в почерке он подражал Коле.

В старых фотографиях есть какая-то наивная магия. Интерьер непременно включает кресло, куда фотограф усаживал клиента, за креслом — портьера; рядом — декоративный столик, покрытый, как алтарь, драпировкой одного происхождения с портьерой. Здесь очень мало пространства и нет окон, зато в потолок уходят лепные колонны.

Как в крохотной студии помещались эти колонны, уму непостижимо. Или столики, на которые клиент ставил локоть, вопреки правилам хорошего тона. Руку почему-то принято было держать так, чтобы указательный палец находился у щеки, словно фотографируемый собирает почечку в ухо. А жардиньерки, узенькие и тонконогие, каким чудом они удерживают не только собственное равновесие, но и пудовые развесистые букеты, ведь дунь — упадет?

Не падали.

Во всем полубутафорском интерьере наиболее серьезно и основательно выглядели стулья. Если клиент сидел, то будь он сутул, как Квазимодо, высокая спинка делала его стройным; стоящий мог положить на нее руку. Гладкие фигурные подлокотники превращали стул в кресло, и свободно свисающая кисть в ошейнике манжета выглядит очень живописно; в кресле удобно положить ногу на ногу, что тоже не допускается хорошим тоном, но придает раскованную беззаботность фигуре.

Сколько времени фотограф тратил на эту режиссуру? Одного усадить должным образом на стул, другого поставить рядом, самому отбежать и нырнуть на миг под черную накидку — плащ волшебника, занавес театра, пелерину поэта — увидеть в объектив, что — скверно, скверно... Мелкой перебежкой вернуться: сдвинуть стек, поправить бутоньерку, а потом неподвижным взглядом, отстраненно — будто сам превратился в объектив — увидеть будущую фотографию. «Ручку позвольте левее... Головку вперед немного... еще... вот так, благодарю; не двигайтесь!» — и так, на уменьшительных суффиксах, ловко отпрыгивает назад, к черной гармошке фотокамеры.

Интересно, что и лица, и позы выходили совершенно непринужденными, словно зашли два приятеля от нечего делать и снялись на карточку. На обороте видны бледные псевдоготические буквы клише: «Фотографическая студия АГ, Московская ул., 106». А поперек — размашисто и четко, от руки: «На память». Черные чернила приобретают со временем цвет выгоревшей травы...

Похороны Германа прошли совсем тихо. В пожилой женщине с лицом в неровных красных пятнах Ира не сразу узнала вдову: если пышные кудри и сохранились, то их скрывал черный платок. Правда, память вообще прихотлива: даже пожилой Герман — грузноватый, с тонкими волосами на висках и огрубевшими, хоть все еще красивыми руками, вспоминался с трудом, а Ларису она видела всего раза три в жизни.

Небо скупо сочилось мелким, как пыль, октябрьским дождем. Женщины обнялись. Лариса, захлебываясь слезами,

говорила про костюм, про то, как галстук сам завязывал, потом сказал: «Как странно...», а теперь, теперь-то что?!

Ира беспомощно молчала. В торце свеженасыпанного холмика лежал большой хвойный венок. На ленте было написано: «От Республиканской киностудии. Первому...» Лента загибалась, и слова прятались в хвое. Первому другу Коли, мысленно дописала Ира и не могла избавиться от навязчивого видения: Герман, нарядный, радостный и молодой, в отутюженном костюме, спешит на встречу с кузенком, и даже что-то вроде ревности зашевелилось в сердце: а ведь он знал Колю намного раньше — и, значит, дольше, чем я. И встретится скорее. Воротник и плечи Ларисино пальто были покрыты изморосью. Повернув голову, она выговорила сиплым, заплакавшимися голосом: «Поздоровайся с теткой». Что за тетка, удивилась Ира, и машинально протянула руку.

Волосы юноши были влажными от дождя, на щеке виднелся чуть заметный порез от бритвы. В левой руке он держал кепку, а правой легко обхватил Ирину ладонь, и она сначала почувствовала, а потом увидела перстень на мизинце.

Герман?!

«Карлушка, — объяснила Лариса, — это тетка Ира, дяди Коли покойного жена, — да он не помнит Колю-то, он маленький совсем был», — добавила то ли для Иры, то ли для сына.

Герман, вылитый Герман. Тот же взгляд, то же лицо.

С кладбища вышли втроем, но когда Лариса несмело предложила «зайти, помянуть», Ира покачала головой: дома внучка одна, не могу. Говорили, что надо обязательно повидаться, ведь не чужие...

Нет, не повидались. Как раз потому, что были чужими. Герман — свой — остался на кладбище, защищенный от мо-

росящего дождя заботливо отутюженным костюмом, сосновым гробом и толстым слоем земли. А Лариса... Что ж, она могла в любой момент прийти на могилу, в своем скорбном вдовстве, и поклониться праху.

Не каждой такое счастье выпадает.

В год смерти Германа Коле было бы 58 лет. Как странно: Ира жила столько лет, не зная Коли, и, если бы не кузен, они так бы и не встретились. Все могло сложиться иначе, и это она, а не Лариса, шла бы сейчас домой под октябрьским дождем, а Герман — нет, не Герман, конечно, а их сын — подерживал бы ее под руку. Как странно: себя обманываем, а судьбу — нет, судьбу не обманешь...

Однажды пыталась — не то чтобы обмануть, но пошутить, слухавить. В двадцать четыре года, когда на тебе новое весеннее пальто и туфельки, Коля только что купил у цветочницы нарциссы, и на их матовых лепестках дрожат капли воды, когда на эстраде парка играет музыка, и люди вокруг нарядные и радостные, это вполне извинительно.

Цыганка, шедшая навстречу, тоже выглядела нарядной и двигалась так, как только цыганки умеют, легко и стремительно, словно на ногах у нее балетные туфельки, а не разбитые опорки. Встала прямо перед Колей и властно вытянула ладонь: «Краса-а-авец, жених молодой, позолоти ручку: узнаешь, что было да что будет». Повелительный жест не вязался со льстивыми словами; а может быть, и то и другое было заучено когда-то и так осталось.

Издали цыганка выглядела совсем юной. Теперь, на расстоянии шага, отчетливо видна была седина в волосах, подевичьи — или по-цыгански — спускающихся на плечи и на

спину. Волосы перехватывал, наподобие венка, свернутый жгутом яркий платок с узлом у виска. Живые глаза с тяжелыми веками, широкая переносица, крупный, полнокровный рот без краски. Ей могло быть лет сорок — или больше; было видно, что возраст ее не обременял и не заботил. Беззвучно покачивались серебряные серьги, на шее висели разноцветные многоярусные бусы. Плечи покрывала шаль, но не пестрая, как носят цыганки, с аляповатыми мордастыми розами, а шерстяной клетчатый платок-плед, какие часто можно увидеть на местных женщинах. Правда, шаль была не наброшена, а обхватывала ее худощавую фигуру совсем на цыганский манер.

— Что было, я и сам знаю, — улыбнулся Коля и полез в жилетный карман за мелочью.

— А что будет, одному лишь Богу известно, — добавила Ирочка.

Та усмехнулась и чуть сдвинула широкие черные брови:

— Богу все известно, а только Бог тебе не скажет, — и прищелкнула языком, то ли сожалея о скрытности Всевышнего, то ли гордясь своим знанием. Кивнула Ире: — Я и тебе погадаю про жениха твоего, красавица-невеста, румяная, сердитая...

То ли от необъяснимой внутренней тревоги, то ли оттого, что цыганка опять перешла на издевательски льстивую скороговорку, Ирочка выпалила, вспыхнув всем лицом:

— А он и не жених мне вовсе. Это брат мой!

— Мне дела нет, кто он тебе, — прозвучал равнодушный ответ (не обернулась даже), — я вот ему погадаю.

Быстро сомкнула темную ладонь и опять раскрыла — пустую. Явно наслаждаясь произведенным эффектом, выбро-

сила вперед сильные руки с длинными пальцами, сплошь в серебряных кольцах:

— Дай ручку, золотой, яхонтовый, все скажу, как есть и как будет!

— Не надо, — Ира тихонько потянула его рукав, — не надо, пойдем, — и увидела, как тот спокойно протягивает цыганке руку:

— Гадай! — и заговорщицки улыбнулся спутнице.

Держа Колину ладонь, гадалка заговорила уверенно и неторопливо:

— Счастливый ты, красавица тебя любит, — помолчала, — молодой-золотой, наполовину живой, наполовину мертвый...

Ирочкина рука метнулась ко рту:

— Что, больной он разве? Что ты говоришь?!

Не поднимая тяжелых усталых век, та монотонным голосом продолжала:

— Скажу, скажу: всю жизнь твою молодую по твоей руке вижу. Нет, не больной: здоровый умрешь. Всегда молодым будешь — молодой умрешь.

И отпустила — как уронила — его руку, снова вытянув ладонь в перстнях:

— Позолоти ручку: правду сказала.

Неуверенно улыбаясь, Коля достал несколько серебряных монет. Цыганка ловко схватила деньги, дунула на них зачем-то, и монеты тут же исчезли в недрах шали. Вдруг обернулась, уже с колодой карт в руках.

— Тебе, гордая, красивая, я тоже погадаю, — карты зашелестели, как приглушенные аплодисменты, — а ты покрой серебро золотом, — гадалка раскрыла ладонь.

Ира отпрянула:

— Не верю я твоим картам и тебе не верю.

Торопливо расстегнула сумочку — пусть уходит скорее, — но та уже дунула на протянутую Колей ассигнацию.

— Боишься, — весело решила цыганка. — Дай руку, я тебе по руке погадаю, — и решительно протянула свою.

— Гадай!..

— Замуж выйдешь, счастье тебе будет большое, — заговорила, внимательно глядя на ладонь и не поднимая глаз, — будешь с мужем жить, как соль с хлебом, — она одобрительно прищелкнула языком и повторила, — как соль с хлебом. Двоих детей родишь, не нарадуешься; плакать будешь — слез не хватит. А в сорок лет вдовой станешь, — и отпустила, почти оттолкнув, руку девушки.

— Я тебе не верю, — Ира заставила себя усмехнуться, — как ты знать можешь?! Мой брат, — она кивнула на Колю, — молодой и здоровый, что ж ты его хоронишь так рано? А замуж... я и сама не знаю, когда я замуж выйду, — мне не к спеху!

Гадалка пожала плечами:

— Я судьбу вижу, а судьбу не обманешь. Еще тебе скажу: брата потеряешь. Прощайте!

Мелькнула рука в перстнях, качнулись серьги, и худая стройная фигура в клетчатом платке начала удаляться.

Она ошиблась, перепутала; врет она все, говорила Ирочка на ходу, торопясь поспеть за цыганкой, — Коля едва поспевал следом, — слышишь, так бывает, надо еще раз спросить... Они шли, быстро огибая неторопливо гуляющих людей, и те провожали их удивленными, недовольными или тревожными взглядами. За поворотом показался и исчез знакомый платок. Не думая о каблуках, о сбившейся

шляпке, Ира побежала. За молодыми кустами сирени снова мелькнул платок. Запыхавшись, повернули.

У скамейки стояла пожилая пара: усатый мужчина лет шестидесяти в застегнутом доверху легком пальто и женщина, по виду его ровесница, в накинутом на плечи клетчатом суконном платке. Она участливо посмотрела на Ирочку: «Ах, барышня! Ваши цветы...» Ирочка, все еще потерянно оглядываясь по сторонам, не сразу увидела обломанные головки нарциссов. Коля решительно увлек ее к цветочным рядам: купим новые.

Цветочниц стало меньше. Те, что расторгвались, выpleскивали в кусты воду из бидонов, запахивали поплотнее жакетки и расходились по домам, чтобы завтра прийти с утра и расставить ароматные охапки, сбрызнув их водой, потом отойти в сторону, придирчиво осмотреть свое прихотливое хозяйство, расправить зелень и только после этого сесть в центре экзотической клумбы в ожидании первого покупателя.

Они шли домой, на Реформатскую.

— Не думай об этом, — уговаривал Коля, — это шутка, недобрая шутка. Ты ведь сама слукавила, — зачем назвала меня братом? — вот она и решила тебя проучить.

— Да как же она знать могла, брат ты мне или нет? — воскликнула Ирочка.

Вместо ответа Коля подвел ее к витрине модного магазина.

— Разве мы похожи на брата и сестру?

Оба внимательно и серьезно рассматривали свое отражение, а из витрины на них с интересом смотрел манекен, хоть и одетый по новейшей европейской моде, но совсем не

кичившийся этим. Кто знает, не скрывалось ли за его любезной улыбкой желание выскочить из постылой витрины, пробив бесчувственным гипсовым кулаком стекло, расправить плечи на тротуаре, поправить галстук и отправиться следом за этой парой, разминая на ходу непослушные затекшие ноги! Купить у цветочницы на углу фиалку и вставить в петлицу, без сожаления выкинув оттуда бутафорскую дрянь. Или подмигнуть хорошенькой барышне, и, если та улыбнется в ответ или с мнимым презрением наморщит пудренный носик, подарить ей эту фиалку — и воздушный поцелуй, раз так все хорошо складывается. А потом догнать тех и идти следом: вдруг удастся разгадать их секрет? Если они заглянут в кафе, тоже войти и присесть за соседний столик. Прислушаться, о чем они говорят, — да ничего особенного, и говорят-то немного, но зато барышня больше не хмурится. Она еще не улыбается, но улыбка совсем близко, в уголках маленького рта, а мужчина бережно накрывает ее сжатые руки своей ладонью. Однако как ни силился манекен разгадать тайну этих двоих, ничего не получалось. Виной ли тому безмятежная гладкость лба из папье-маше, который и напрячь-то усилием мысли невозможно, или его кукольная бесполость, замаскированная модным мужским костюмом, а скорее всего то, что в пустоте гипсовой груди не стучал маленький будильник, то замирающий, то громко-громко колотящийся от любви. А может, пересилило глупое манекенское тщеславие, кто знает? Но стекло, слава Богу, осталось целым, никто не выпрыгивал на тротуар и не бежал нарядным Големом вслед влюбленным, а в витрине все так же стоял манекен с поднятой в прощальном жесте рукой.

...Со времен дельфийского оракула любое гадание — дело уклончивое и темное. Предсказатели избегают точных формулировок, предпочитая намеки и смутные угрозы, которые непременно осуществляются, коли будут нарушены какие-то ни с чем не сообразные условия. Приятным исключением выступает кудесник, любимец богов, по странной случайности, то есть именно волею судеб, повстречавшийся вещему Олегу. На прямой вопрос: «От чего мне умереть?» князь получил конкретный ответ: «Коня любишь и ездешь на нем — от него тебе и умереть!» После этого сюжет движется к неумолимому концу. Князь в муках испускает дух от... змеиного яда. Змея могла ужалить где угодно: в чистом поле, при переходе через трясины, в лесной чаще, — но это происходит на песчаном берегу Днепра, где лежало все, что осталось от коня: «Его кости голые и череп голый», как гласит летопись. Представляется сомнительным, что по истечении пяти лет можно найти могилу коня, хоть бы и княжеского; однако отчего же нет, если в окрестностях уже упомянутых Дельф обозначено место рождения того свирепого вепря, который оставил рубец на ноге Одиссея — для того, чтобы старая кормилица смогла узнать его после многолетнего странствия.

Что недосказал князю мудрый старец? Или — так будет точнее — что услышал в его словах Олег? Что любимый конь падет в бою, например, и уже увидел мысленным взором, как тот заваливается набок, так что поле битвы резко кренится в сторону, и кончик своего сапога, намертво схваченный стремени, как капканом, а над собой — желтый блин хазарской рожи, распяленной счастливой ненавистью. Или увидел любимого коня взбесившимся и вставшим на дыбы:

удила в пене, белки налиты кровью — и себя летящим в овраг с песчаной кручи, с ненужным мечом в руке? Так или иначе, но осторожный князь меняет коня, а через пять лет стоит над его костями и смеется над лживым предсказанием, безумным гадальщиком и над собственной доверчивостью; так, смеясь, наступая ногой на продолговатый череп. Попирает ногой прах верного друга. И тут же следует возмездие: *«И выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу. И с того разболеся и умре. И плакашася людие все плачем великим, и несоша и погребоша его на горе... есть же могила его и до сего дни... И бысть всех лет княжения его 33...»*

Но разве конь виноват в смерти Олега? Да не более чем тот ковыль, что вырос на кургане, где покоились его останки! Это как смерть в яйце, то яйцо в утке, утка в колоде, а колода по синему морю плавает, — только меньше звеньев в цепочке. И если бы киевский князь удержал тогда кудесника за ветхий плащ и потребовал — чего? Подробностей? Объяснений? Но знали ли их сам любимец богов?.. Что уж говорить о дельфийском оракуле с его темными вещаниями.

Та, в клетчатой шали, и вовсе что-то несуразное несла; а вот поди ж ты, все до слова запомнилось и уже одним этим раздражало.

И не только раздражало — пугало.

Невозможно было прогнать мысль, что цыганка знала, о чем говорит. Затолкать этот эпизод куда-нибудь в дальний угол сознания, где он бы тихо обесцветился и утратил остроту, постепенно стал нелепым воспоминанием, над которым можно было бы посмеяться вдвоем — и забыть совсем.

Не получалось.

Правда, Коля никогда к этому происшествию не возвращался и надеялся, должно быть, что и она забыла. И забыла бы с радостью, если бы не память о другой цыганке: о бабушке.

Коля ее бабушки не знал. Вернее, слышал какие-то семейные рассказы, больше смахивающие на предания, поэтому в гостях у будущей тещи слушал с вежливым интересом, но и с мысленной поправкой на фольклорную достоверность. Забавной деталью было то, что рассказывала как раз Матрена, хотя цыганка приходилась ей свекровью («Ты не думай, она крестилась, а то и звали-то ее по-басурмански»). Сам Григорий Максимович, сын легендарной цыганки, ни внешне, ни характером цыгана не напоминал, разве что черными блестящими глазами. В рассказы жены не вмешивался; молча подкручивал пышные усы, и будущему зятю казалось иногда, что этим жестом он прячет улыбку. Как-то, поймав Колин взгляд, подмигнул неожиданно и лукаво — и опять давай ус крутить. От этого почти пропала Колина обычная напряженность, которую можно было принять за высокомерие, если бы Ирочка не знала его.

Она к тому времени сняла квартиру отдельно от родителей, поближе к работе. Родители удивились, но возражать не стали, хорошо зная характер старшей дочери: смолчит, но сделает по-своему. Несмотря на это, Матрена не забывала напомнить всякий раз, когда дочка забегала в гости: комната твоя стоит, чего ж по чужим углам тереться, но без всякого обидного оттенка. Оба — и мать, и отец — были из донских казачьих семейств, где не принято было стеснять свободу дочерей и влиять на их выбор; быть может, оттого девушки-казачки и не использовали эту свободу во зло.

Ирочка тоже захотела понять, каково это — жить одной; оказалось удивительно хорошо!

Человек сугубо местный, Коля знал о казаках только то, что почерпнул из книг Толстого, и слушал с интересом; но каким боком цыганка?!

А Ира помнила бабушку Лену очень отчетливо. Еще бы: ведь когда они уезжали из Ростова — по бабкиному, кстати, настоянию — ей было семнадцать. И хоть впервые познакомилась с бабушкой только в тринадцать лет, сразу почувствовала ее дружелюбное расположение. Цыганка не кудахтала вокруг внуков и даже пухлую трехлетнюю Тоньку не тискала в неистовых объятиях. Правда, к внукам она была привычная: многие из ее двенадцати уже сами стали родителями, так что забот ей хватало, хотя по внешнему виду никто бы этого не сказал. Маленького роста, но не смешная благодаря изящному сложению — при двенадцати-то детях! — она выглядела, со своими черными волосами, очень молодо, то есть менее всего походила на бабуку.

Особенно по сравнению с другой бабушкой, Матрениной матерью, но та была как раз бабушкой. Всегда ходила в темном платье, а рука у нее была большая, ласковая и теплая. В памяти жила просторная комната с низкими окнами, за окнами виднелась песчаная улица. Лошади бесшумно двигались по песку, слышались чьи-то голоса. Бабушка брала ее за руку своей большой мягкой ладонью, и они шли гулять. «Смотри, тихонько, — говорит бабушка, — тут крылец высокий, свалишься», — и крепче сжимает руку. Маленькая Ира осторожно спускает ногу в высоком ботиночке — кожаные пуговицы бегут вверх, почти до коленки, где встречаются

ся с белыми кружевами панталончиков, торчащими из-под платица — еще ступенька, и вот они за руку с бабушкой идут по мягкому песку к реке, гуляют по берегу. Здесь песок другой: темный, влажный и твердый. Жарко; бабушка обмахивается платком. На противоположном берегу в камышах стоит лодка. Из ближнего домика выбегает мальчик. У самого берега нагибается, возится с чем-то в камышах, потом прыгает в лодку. Та начинает раскачиваться, по воде идут беспокойные волны, и девочка отворачивается, пряча лицо в мягком, нагретом солнцем бабушкином платье. «Что ты, что ты?» — пугается бабушка, но Ирочка боится поднять голову: вдруг мальчик упал в воду?..

Опять видит себя дома, но бабушка никуда не идет, а торопливо надевает на нее пальтишко. В дверях ждет папа, и они уходят. Папаша не говорит про «высокий крылец», а просто берет Ирочку в охапку и ставит на землю. «Мамынька больная, — объясняет, — пойдем-пойдем, чего под ногами мешаться». Неподалеку что-то строят: рабочие возят горки новеньких, как игрушки, ярко-желтых кирпичей. Спускаются на Московскую — это самая большая и широкая улица; мимо катят извозчичьи пролетки. Папаша останавливает одну, сажает Ирочку, ловко вскакивает сам и говорит: «Волга!»

Девочка ликует и подпрыгивает от нетерпения: бабушка рассказывала, какая огромная и красивая река Волга, намного больше нашей. Ах, как хорошо папа придумал! — и устраивается поудобней: ехать, небось, далеко.

Оказывается, «Волга» — это трактир, где отец покупает ей очень вкусный калач. Сам от калача отказывается, только наливает себе из графинчика, а потом они вместе пьют

чай. Так этот день и остался в памяти: радостное ожидание Волги, калач необыкновенной вкусноты, а дома, кроме мамыньки и бабушки, оказался мальчик. Совсем маленький, но настоящий, живой братик! Никто даже не знал, как его зовут, так неожиданно он появился.

А потом бабушка стала хворать, и гулять они больше не ходили. Она лежала на кровати и тоненьким голосом звала: «Матреша! А Матреша!..» Матреша — это мамынька. Дома никого не было; Ирочка подбегала: «Я тут, бабушка!» Но бабушка не слышала и продолжала звать так же тоненько: «Матреша! Дай руку́, Матреша», — и девочка брала ее за руку, легкую и плоскую, будто вовсе не бабушкина. «Матреша, — просила бабушка, — ты ребенка кормила?» Ира держала руку, а бабушка все говорила, что ребенку исть надо...

Ростовская бабка была совсем другая. Обладала умением делать все, даже самую постылую работу, быстро и без лишних слов. Ее лаконичности могли бы позавидовать жители Спарты... Как-то дед предупредил уходя: «Ленушка, тут если Аким без меня придет за багром, то скажи, что багорто в сарае; брать пускай берет, а потом занесет в сарай». Бабка месила тесто. Аккуратно обтряхнула муку с маленьких крепких рук, накрыла макитру полотенцем и откликнулась: «Уже», что в переводе с ее спартанского языка означало: заходил Аким, брал твой багор, а потом принес обратно и оставил в сарае; а то куда же, в дом, что ли, его тащить?.. Все это было сказано в одном слове «уже».

О том, что бабка — цыганка, Ира знала от мамыньки и от отца. Одна высказывалась по этому поводу свысока и немного обиженно; другой горделиво и с непременным подкручи-

ванием усов. Сама Ирочка долго не решалась спросить, как это — цыганка, хотя было очень интересно; а потом радовалась, что не спросила. Было приятно, когда бабка коротко хвалила ее или просто одобрительно кивала, а уж как не любила пустых разговоров!.. Да и ничего диковинного или сугубо цыганского в ней не было; разве можно на Дону кого-то удивить черными волосами или смуглостью? Правда, на фоне статных, высоких казачек бабка выделялась мелким, почти хрупким сложением да легкой, удивительно быстрой походкой, точно ветру всегда с нею было по пути. Речь? — Она говорила так мало, что не все успевали заметить акцент, тем более что и дед охотно вставлял в речь польские слова.

Только однажды Ира застала бабку праздною. Она раскладывала карты на пустом столе, внимательно всматриваясь, как они послушно вылетают из ее смуглых рук и ложатся плоскими гирляндами на гладкой столешнице. Замирала на минуту, потом быстро вытягивала руку и убирала часть карт, словно стирала их со стола; снова метала. Увидев вошедшую внучку, улыбнулась; сделала одно неуловимое движение — и смела все карты разом, спрятала.

У кухарки пансиона, где жила Ирочка, тоже были карты. Она раскладывала их на столе, поплеывая на пальцы, будто деньги пересчитывала, а напротив сидела дочка сторожа, солдатка, и смотрела испуганно и выжидательно то на карты, то на гадалку.

Услышав, бабка нахмурилась и отозвалась, по своему обычаю, кратко: «То бздуры», что по-русски означало, конечно, «вздор», но польское словечко было уместней. А спустя какое-то время Ирочка не удержалась и попроси-

ла: «Погадай мне?..» Цыганка отшатнулась, и в ее спокойном, уверенном лице появилось что-то беспомощное и непривычное: страх. Она решительно покачала головой: нет. Да могла бы и не говорить. То смятение передалось внучке сразу и на всю жизнь: страх перед картами, скрывающими какое-то знание, которое пугает причастных.

...Ничего этого Коля не знал, а она не умела — или не хотела? — рассказать. Не то что бы у них были секреты друг от друга, а просто каждый принес в их общую жизнь небольшую котомку, где хранились неведомые друг другу переживания, имена, события, значимость коих давно была утрачена, а само содержимое готово было и вовсе кануть в Лету, от чего котомка съежилась бы и стала совсем незаметной. Вместе с тем что-то, наверное, хранилось там и важное, что не позволяло забыть о себе.

...И та, с руками в серебре, знала, что Ира боится карт; по руке гадала.

Да только способ гадания не имеет значения: и темный дельфийский оракул, и древнерусский кудесник, и цыганка в клетчатой, явно с чужого плеча, шали — все они вещали правду.

В самом начале войны Коля перестал быть «наполовину живым, наполовину мертвым», ибо погиб в немецком концлагере, а она, в свои сорок лет, осталась вдовой.

«Брата потеряешь», — посулила цыганка на прощание. Андрюша не вернулся с войны.

Все трое братьев ушли воевать одновременно, уехали в одном из тех рыжих пропыленных эшелонов, которые уносили мужчин в прорву под названием «война». Потом, когда она уже шла к концу, вернулся старший — тот самый, что так изумил когда-то пятилетнюю Ирочку своим неожиданным появлением в доме и в ее жизни. В мае 45-го триумфально шагнул в дверь младший, танкист, но встретила его только мать, потому что Ира с детьми еще не вернулась из эвакуации.

Средний брат, Андрей, не пришел ни раньше, ни потом. Не пришел совсем — ни на костылях, ни с пустым рукавом гимнастерки, заправленным под ремень, ни даже обезноженным обрубком, каких немало вернулось тогда.

Не вернулся тот, кто был ей ближе всех.

Наверное, существуют семьи, где все относятся друг к другу одинаково, но вообразить себе такое было так же невозможно, как разломать хлеб на несколько *абсолютно равных* частей: чей-то ломоть непременно окажется больше, зато тот, что поменьше, будет с аппетитной корочкой, а кому-то достанется вожделенная горбушка...

На радость мамыньке целым и невредимым пришел с войны ее баловень — Симочка. Из дочерей Матрена всегда явно предпочитала Тоню, в то время как Ира была любимицей отца. Можно быть уверенным, что, если бы все пятеро родились одновременно, то и тогда отношение родителей к ним было бы разным. История Исава и Иакова всегда находится на расстоянии вытянутой руки, а еще прежде — история Каина и Авеля, и если Господь слеп в своем пред-

почтении, то какие основания требовать его от Ревекки, земной женщины? И не от избранности ли Авеля родился культ младшего в семье? Справедливости ради нужно заметить, что Бог поставил Ревекку перед труднейшим выбором одного из равных — близнеца из близнецов. Однако ни Ревекка, ни Матрена не терзались, кому из детей достанется больше любви: это — все тот же ломоть хлеба, и даже в голодное время мать накормит всех. Каин и Авель, Исав и Иаков, Лея и Рахиль... То, что мать и отец по-разному любят своих детей, не феномен, а самое естественное явление на свете: тяга к себе подобному, узнавание себя — в жестах, голосе, пристрастиях. Иллюзия, что время задумается на бегу и помедлит. Иногда мы узнаем в детях не себя, а друг друга: ты так же упрям, как твой отец, — и в голосе досада и гордость одновременно.

Старшая сестра, Ира была бесспорным авторитетом для всех братьев, а если кто-то и пререкался иногда, то разве что Симочка, и не оттого, что она была не права, а от собственной задиристости и своего особого положения младшего и любимца. Да и можно ли было относиться иначе к сестре, остававшейся дома с младшими на целый долгий вечер, когда одуревшая от детского плача, бесконечных стирок, запаха молока и неведомых детям бабьих недомоганий мамынька вдруг надевала платок понарядней и, требовательно оглядев себя в зеркале, уходила с отцом в трактир? Это обычно происходило, когда он сдавал крупный заказ, и бдительная Матрена старалась не пропустить такой день ни за какие коврижки: зазевайся она, и муж учинит кутеж такого размаха, что небу жарко станет. Ладно, рабочих угостит; а сколько прихлебателей да шаромыжников вокруг себе-

рет! Известно: лакомый мошны не завязывает. Другое дело, когда шли «отмечать» вдвоем, чинно-благородно. Рабочие поздравляли и торопились уйти, а Матрена, в радостно-приподнятом настроении, вряд ли замечала в муже некоторое замешательство, старательно маскируемое непонятно откуда взявшейся суетливостью.

Все, что делали мать с отцом, сомнению не подвергалось. Семилетней Ирочке в голову не пришло бы обидеться или отказаться присмотреть за братьями, которым в общей сложности было три года. Как и Матрене не приходило в голову бояться за троих несмышленишей, оставляемых без присмотра, при всем том, что не было телефона ни в домике на Калужской улице, ни в трактире, где бы он ни находился; Матрена и не знала о такой диковине. Да кто в то время — двадцатый век разменивал свой первый десяток — полагался на телефон?

Полагались главным образом на Божью волю.

Матрена, уповая на Божью волю, вполне надеялась на дочку.

А ведь было чего бояться! Разве мало домов горело на Московском форштадте, почти сплошь деревянном? Мало людей — как маленьких, так и больших — угорали насмерть? А сколько младенцев умерло от загадочных, неожиданных болезней, сколько унесено зловещим родимчиком в те часы, когда Матрена с Максимычем чинно сидели в трактире, на той половине, где бывает только «чистая» публика, а вокруг столика юлой вился половой, взвихривая белой салфеткой и поднося одно угощение за другим; сидели и не вскакивали в безумном порыве родительской тревоги, а наслаждались не столько пиршеством, сколько своеобразным «выездом

в свет» — ибо, если посмотреть на их жизнь пристально, никаких иных развлечений в ней не было.

Шепнул бы кто-нибудь мамыньке в такой вечер про «красного петуха», не сидела бы так безмятежно; да только никого бдительного не случилось рядом. Правда, и пожара не случилось, хотя вполне мог бы. Ирочке в ту пору было уже почти десять. Братья подросли, и не надо было их по-минутно тетешкать; Матрена, будучи на сносях с Тонькой и предчувствуя долгий перерыв с «выездом в свет», осторожно уселась на извозчика, поддерживаемая мужем. Хоть в чайной посидеть — не столько себя показать, сколько людей посмотреть.

А дочка затеяла стирку. Настоящую, большую, как мамынька делает. Братья были заняты: то по очереди раскачивались на деревянной лошадке, которую смастерил отец, а то играли отшлифованными чурочками.

...Плита давно остыла, но девочка быстро развела огонь. Взгромоздила сверху бак, в котором мать кипятила белье, плеснула туда воды, после чего, встав на скамеечку, начала укладывать все, что подлежало кипячению. Матрена потом удивлялась, насколько безошибочно это было сделано, да могло ли быть иначе? — Ира так вошла в роль мамыньки, что покрикивала на братьев: «Прочь с-под ног, Хосс-поди помилуй, что за дети!», или: «Мотяшка, вон от плиты, кому сказано!» — и хмурилась совсем так же, вот только брови — в отличие от братьев — ее не слушались, хоть она старательно супила их, тоже совсем как мать. Девочка с трудом ворочала деревянной палкой тяжелое, сразу ставшее серым от воды белье, озабоченно подкладывала дрова в плиту и ждала ответ-

ственного момента, когда крышка бака медленно приоткроется и на плиту с шипеньем поползет пена. На полу лежала кочерга, дров хватало... Она заранее радовалась и гордилась, предчувствуя, как удивится мамынька. Завтра они вывезят все чистое и белое на дворе, и рубашки с кружевными прошивами будут беспомощно размахивать рукавами, а ветер надувать наволочки... Тихонько приподняла крышку. Наружу рванулся злой горячий пар, но девочка успела отдернуть руку; крышка с дребезжаньем упала обратно. Да, кипятить трудно, вот и мамынька всегда сердитая.

Она уже устала, но посадила братьев пить чай, дав по куску сахара, и они долго счастливо хлюпали. Уложила обоих спать и вернулась к плите. Крышка на баке изредка тяжело пританцовывала, изнутри выползал тяжелый пар; окно запотело. Подложив в огонь несколько поленьев, Ира взялась помешивать варку. Тяжелые влажные ломти белья не поддавались; беспомощно потыкала в них палкой, вытерла влажный лоб и села на скамеечку. А ну как не управится к мамынькиному возвращению? Пришлось кинуть еще полешко.

Она задремала, прислонившись к кухонной стенке, да так крепко, что пробудилась только от громкого дребезга. Мать вытаскивала обгорелое, безнадежно испорченное белье с черно-бурыми запекшимися струпами, а местами прожженное насквозь. Воняло горелым.

Ничего более страшного до этого дня в Ирочкиной жизни не случилось. Мама не станет ее любить!

— Спорчено, — подтвердила Матрена, — все вышвырнуть. Такой срам и тряпичник не возьмет, — и грохнула с досадой крышку.

Обомлев, дочка бросилась к ней, обхватила тяжелый живот, заплакала громко и отчаянно о неудачной стирке, об утраченной мамынькиной любви и о том, как вырастет большая и сошьет ей много-много новых рубашек...

— На пчельник, — велела Матрена, что означало: спать, — ночь на дворе. — Повернувшись к мужу, который стаскивал у порога сапоги, кивнула на плиту: — Убери с глаз это паскудство.

Уснуть Ира не могла. Мать зашла проверить, хорошо ли укрыты младшие; подошла к ее кровати и перекрестила на ночь, легко касаясь пальцами; не уходила, а смотрела на нее удивленно, но не сердито.

Совсем не сердито.

— В другой раз воду лей, когда белье варишь, — неожиданно сказала она, — а теперь спи, прачка.

Детей не наказывали в общепринятом смысле слова, то есть не ставили в угол, не лишали развлечений, и без того считанных, — ничего этого не делалось. Поднятые брови матери или чуть сдвинутые — отца уже были наказанием, а если мамынькино лицо выражало недовольство или, упаси Боже, гнев, то и раскаяние было пропорциональным. Тогда, в детстве, Ира об этом не задумывалась. Повзрослев, навсегда сохранила любовь и благодарность к родителям за детство без унижений.

По-настоящему детское, то есть беззаботное детство кончилось, когда родился чернобровый мальчик, такой же пухлый и аппетитный, как калач, купленный папашей в трактире «Волга»; Ирочка все еще сжимает его в руке и смотрит во все глаза на брата. А скоро начинает помогать матери, да только много ли помощи от пятилетней?..

Но беззаботность кончилась: теперь она старшая дочка. Через год с небольшим на свет появился Андрюша, и забот прибавилось, но прибавилось и опыта у девочки. Надо было поминутно смотреть за Мотей, который не только норовил залезть в каждый угол, но и тащил в рот что попало: резались зубки. Несмотря на это, с прежним аппетитом сосал материнскую грудь, вместе с братом.

Бабушку схоронили. Не стало больше прогулок к реке, когда Ирочка держалась за теплую бабушкину руку. Да и некогда стало гулять: то в лавку надо сбегать, то переодеть Мотю, то укачать младенца.

Но детство оставалось детством.

Когда Андрюша улыбнулся в первый раз, сестра была рядом. И с тех пор улыбался всякий раз, когда она брала его на руки. «Ишь, приворожила», — одобрительно посмеивалась Матрена. А он продолжал ей улыбаться и потом, спустя десять и больше лет, иногда только глазами.

Всего год разделял братьев — и он же сблизил их до полной неразлучности. В четырех-пятилетнем возрасте их со стороны принимали за близнецов, только Андрюша был не такой щекастый, как Мотя, и более подвижный. Когда они засыпали рядом на большой кровати, их можно было отличить не иначе как по затылкам: старший был брюнетом, а на волнистых Андрюшиных волосах словно солнечный луч застыл.

...Интересно, что только у старших, Иры и Моти, волосы были черными. У среднего брата они так и остались рыжеватыми, Тоня была русоволосой, а младший и вовсе родился белокурым, чтобы, как многие ему подобные, стать с воз-

растом шатеном. Правда, еще самая последняя девочка, красавица Лизочка, родилась смуглой и черноволосой, да всего две недели прожила. Казалось, что с каждым следующим ребенком слабеет цыганская кровь отца.

Однако на характеры детей это никак не распространялось.

Самыми сдержанными были старшие. Тоня, обладая трезвым и практичным умом, всегда была вспыльчива, а Симочкин характер нельзя было назвать иначе как буйным.

Андрюша, находясь посередине между «кроткими» и «гордыми», как их определил отец, был самым закрытым и непонятным. В детстве не разлучался со старшим братом, а потом — никто не заметил даже, когда это случилось, — вдруг перерос его, вытянувшись по сравнению с коренастым и плотным Мотей. Что-то совершилось внутри него, отчего изменилось и стало взрослее лицо. Проявилось это, когда, в отличие от старшего, Андрюша сразу начал легко выговаривать букву «р». Тогда они словно поменялись ролями. Мотя легко и естественно признал превосходство брата. Это он первый назвал Андрюшу, в тщетной попытке выговорить злополучную букву, «Андья»; с тех пор Андрюша и для всех стал Андрей.

...В соседней комнате зазвонил телефон. Бабушка замерла, прислушиваясь к тревожному звуку, и заторопилась к двери; родные лица побледнели, обесцветились и слились с фотографиями самих себя.

«Не беспокойся, ты, главное, не беспокойся, — волновался в трубке Лелькин голос, — я скоро буду дома». — «Когда? — вырвалось у бабушки, хотя обещала себе, что спрашивать не

будет. — «Скоро уже, — отмахнулась внучка и продолжала нетерпеливо: — Как ты себя чувствуешь, Ласточка?»

Ласточка... Внучкина причуда.

Начала так называть ее, когда Ира в первый раз слегла с давлением. Потом давление то падало, то подскакивало опять, а она так и осталась для внучки Ласточкой.

Как я могу себя чувствовать, Лёльця, после твоей больницы?! Ног под собою не чувю, ничего не чувствую. Только приходи домой скорей.

Вместо этого рассказала, как всегда рассказывала, что вчера удалось купить пачку масла, а *кофей* пока что есть, — помнишь, сыночек мне привез? Так что все слава Богу. В передаче по телевизору опять про душманов этих говорили, что в Афганистане. Подумай, сколько зла в мире... «Бабуся, — торопливо прервала Лелька, — тут очередь, я из автомата говорю. Я еще позвоню, как только смогу. Ты только не вздумай ехать сюда, это ужасно далеко. И вообще, скоро увидимся! Целую...»

Бабушка подержала трубку, исходящую нетерпеливыми гудками, и осторожно положила на место.

Волноваться не волновалась, но таблетку «от сердца», ярко-желтую, как одуванчик, приняла. Сердце послушалось таблетки — или голоса в телефоне — и стало биться ровней.

День тянулся намного дольше, чем разговор, но именно телефонный звонок придал ему праздничность. Потом можно будет вскипятить чаю, а сейчас важно вспомнить и удержать в памяти все оттенки голоса, все сказанные слова, и даже не сами слова, а то, как они сказаны. С болью? Через силу? Конечно, в очереди всегда торопят: всем звонить

надо. Четыре дня только прошло, а ее уже в коридор пускают. Дай Бог...

Невозможно было осознать, что со дня поездки в больницу прошло так мало времени. Каким-то диковинным образом автобус, лифт и даже часы с прыгающими стрелками слились в одно, чему имя было *реанимация*. Бабушка понимала, что второго звонка не будет, но все равно прислушивалась, поворачивая голову к соседней комнате.

Правильнее было бы сказать: соседской, но комната для нее всегда была Андрюшиной. Когда Ирину спрашивали, кем ей приходится живущие там люди, она вначале терялась. Сказать: «родственники» было бы правдой, но так далеко ушедшей от правды... «Семья моего брата, — отвечала после паузы. — Не пришел с войны». — «Погиб?» — «Пропал без вести...»

Молилась за упокой раба Божия Андрея, а на душе покоя не было. Как не было правды в слове «родственники», и мало-помалу его вытеснило нейтральное «соседи». А «соседи» значит «чужие», что полностью отражало действительность, потому что они и были чужими.

Ибо самые чужие — это свои чужие.

Семья соседей вначале состояла из Андрюшиной вдовы Надежды и детишек, Людки и Геньки. Эта троица появилась в квартире совершенно неожиданно и так же неожиданно осталась жить: как предполагалось, до первой возможности найти жилье. Ни старики родители, ни Ирина отнюдь не были в восторге от родственного соседства. Надежду недолюбливали, да и она не страдала от неразделенной любви к мужниной родне. Но рядом стояли и держались за ее юбку

двое испуганных крепышей: Андрюшина кровь. Мыслимо ли выгнать на мороз?..

Мороз относился к началу 1947 года, что означало продукты по карточкам, и конца-краю этому не было видно. Дрова, мануфактура и обувь добывались всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ни Матрена, ни Максимыч не привыкли еще к тому, как новая власть превратила их просторную пятикомнатную квартиру в две *жилплощади*: у власти было свое представление об уюте. В результате теперь они вчетвером — старики и Ирина с дочкой — жили в двух комнатах. Нужно ли говорить, что мамынькины яростные выкрики: «Я не буду жить на *площади!*» ничему не помогали? — Спасибо, что не вредили. Максимыч выходил на лестничную площадку и закуривал папироску.

В этой морозной во всех отношениях атмосфере Матрена твердо вознамерилась «пустить Надьку переночевать, а там не наше дело», тем более что невесткин приезд из сытой деревни в голодный город выглядел не то загадкой, не то дуростью.

Дурой Надежда никогда не была. И повела себя так, чтобы никто не попытался внести ее в список дур: а вот некуда идти мне с детьми — и все тут.

Так и выпалила, не сводя взгляда с Ирины, быстро выяснив, на чье имя записана квартира. Знала: не прогонит.

Да и та знала.

Сидела за столом, плотно сцепив руки — даже косточки побелели — но видела перед собой не Надино тревожное лицо с беспокойными глазами и брусничным румянцем, а Андрюшу в военной форме, уже на перроне: «Я только на тебя надеюсь, сестра». — «Андря! Бог даст, после войны...»

Но брат, глядя на пыльные носки сапог, заговорил быстро и нетерпеливо: «Ты ведь знаешь, какая она... Я тебе детей моих поручаю: назад я не вернусь». Ира испуганно прижала руки ко рту. Засвистел поезд. Андрюша ничего не дал ей сказать, продолжал торопливо: «Я не вернусь, сестра. Калека я ей не нужен; а целый останусь... Все равно не вернусь!» Неожиданно, как всё, что он делал, взял ее руку и нежно поцеловал: «Помоги детям, сестра». Потом крепко обнял и, подгоняемый лихим свистком поезда, бросился к вагону.

Больше она Андрю не видела, только во сне, но сны были такие, что лучше бы их не было совсем; недаром ведь за упокой молилась.

Нет, Надежда не могла знать, о чем муж просил Ирину; знали только двое, и одного из них уже не было.

— Как только угол найду!.. — стрекотала благодарная зюльковка и растроганно обнимала Иру.

Теперь в откромсанной части квартиры, то есть в тех же двух комнатах, стали жить всемером. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — запело радио в Андрюшиной комнате, и трудно было не вспомнить детскую сказку «Теремок». Быль смело превзошла сказку, в которой, во-первых, жилплощадь не делилась, а во-вторых, заселялась по одному прописанному жильцу в единицу времени.

Самой наивной, как ни трудно в это поверить, оказалась мать. «Чего ж она “угол” не ищет? — гневно вопрошала она. — Так и будет жить на всем готовом?!» Матрену можно было понять: ей приходилось спать на кухне.

Надежда внедрилась основательно, и говорить «на всем готовом» было не совсем справедливо. Она расторопно убирала, азартно хваталась мыть полы; откуда-то привезла на те-

леге дров. Эта инициативность быстро показала обратную сторону, когда Надя яростно швыряла половую тряпку, если хромой свекор недостаточно тщательно, на ее взгляд, вытер ноги, или вызываясь хлопала дверьми, обнаружив у раковины брызги. Матрена несколько раз предупреждая сдвигала брови, но невестка будто и не замечала сигнала. Во время очередного ее «выбрыка» мамынька с незабытой патрицианской властью прогремела: «Не нравится — вон с моей квартиры! Отправляйся к батьке своему на хутор!» Надежда только рассмеялась, закинув голову: «Хозяйка нашлась! Да я тут прописана на законном основании!» Матрена остолбенела. Лицо, конечно, сохранила, то есть удалилась величественно в дочкину комнату, но сразу же отправилась к Тоне, чтобы вместе с ней и зятем найти управу на пригретую змею.

В юности Тоня и Надя дружили. Сохранилась фотокарточка группы жизнерадостных девах в форме женского батальона, и среди них два знакомых лица. Щегольская форма туго обтягивает молодые фигуры; сапоги нельзя назвать иначе как сапожками, такие они ладные и изящные. У всех старательно уложенный перманент, на котором чудом и заколками удерживаются кокетливые пилотки. Одним словом, полная боевая готовность.

На Тоню и была возложена задача урезонить нахалку, а также разузнать, сколько она «собирается жить в моем доме», как упрямо формулировала Матрена, хотя зять безнадёжно качал головой: «Прописка, мамаша...»

В процессе переговоров подруги молодости сидели обнявшись на Андрюшином диване. Надя время от времени подносила к глазам платок, а Тоня поглаживала ее по плечу. Мамынька, проходя, покосилась на плотную фигуру не-

вестки: «Ишь... ромовая баба». Наконец та прервала умиротворяющий Тонин шепот, поднялась во весь рост и сказала с досадой: «Жду, а как же! Так ведь на всех квартир не хватает, понимать надо!..», словно Тоня была виновата в нехватке квартир. Распрощались, однако, сердечно, и мамынька успокоилась: ждет. Что ж, и мы потеряем; да и не захочет долго в проходной комнате жить.

Здесь необходимо пояснение.

В прежней квартире двери всех комнат выходили в просторную прихожую. Теперь, в расколотом виде, квартира напоминала больного после лоботомии, исполненной плотничьим топором. Означенный топор бойко прорубил две новых двери, а прежние были замурованы, навсегда закрывая доступ к остальным комнатам, прихожей и... уборной, куда можно было теперь попасть, только выйдя на лестничную площадку и открыв дверь в соседнюю квартиру, которая образовалась в результате деления прежней.

Это называлось уплотнением, хотя Матрена использовала слова совсем другого лексического пласта, самым мягким из которых было «паскудство».

Как новые соседи ухитрились жить без кухни, отсутствие которой едва ли в полной мере компенсировал туалет, для стариков оставалось загадкой...

В эйфории от успешного внедрения Надежда не сразу осознала, что живет отныне не в той квартире и даже не в той комнате, где жила до войны. Комната, оставаясь просторной и светлой, стала проходной, что сводило ее достоинства на нет. Привыкнуть к новой топографии было несложно, но мешало чувство обманутости, и выражение, словно ее об-

вели вокруг пальца, не сходило с Надиного лица. Мириться с этим она не собиралась, твердо рассчитывая, как сказали бы статистики, на *естественное сокращение* населения квартиры. Да, Надя ждала, но не избытка квартир — откуда ж такому взяться? — а совсем другого: старики-то не вечны. Вон свекор в который раз в больницу ложится; Иркина дочка скоро, небось, замуж выскочит... Арифметика выходила приятная, а что подождать надо, так ничего, потерпим.

Да только ничего, ровным счетом ничегошеньки из этого статистического прогноза не вышло. Хоть старик худел и хирел, но помирать не спешил, что уж говорить о Матрене, и младше, и здоровей его. Тайка, золовкина дочка, десятилетку кончать не стала, а пошла работать, но не только не оправдала теткиных надежд на замужество и выписку из квартиры — от предвкушения Надино сердце сладко замирало, — а, наоборот, принесла в подоле, и куда? — в квартиру, которую Надя уже мысленно переустроила!..

Генька с Людкой подросли и ходили в школу. Ее собственные последние женские денечки стремительно утекали между пальцев, а проходная комната, вместо вымечтанной целой квартиры, держала крепко. В азарте своих планов Надя не заметила, как на комбинате, где она работала, очередь на квартиры разрослась пропорционально росту самого комбината: приезжали новые рабочие, селились в переполненные бараки, а у нее — прописка в городе, десять минут на трамвае до центра... Кинулась в исполком: семья погибшего фронтовика, мол, ютится в проходной комнате. Начальник квартирного отдела — прядь волос, как у Гитлера, спадает на лоб, двубортный пиджак заполнен животом, голос громкий и раздраженный — объяснил, что семьям

пропавших без вести никаких привилегий не полагается. Когда Надежда пожаловалась на проходную комнату, начальник нахмурился, а потом опять повеселел: «Так вы же на общую площадь прописаны, гражданочка! Вот пусть придет ответственный квартиросъемщик...» Узнав, кем Надежде приходится ответственный квартиросъемщик, толстый возликовал: «Так вы же родня! Одна семья!..» — и ничего больше слушать не захотел.

Родня... Чирей и на своем боку, а родней не назовешь. Да кому объяснишь, что на собственные грабли наступила?!

...Каждое утро на пол с глухим стуком падал валик: сыну стал короток диван. Он окончил шоферские курсы, женился и привел в дом, то есть в проходную комнату, жену. К тому времени старики давно упокоились на Ивановском кладбище, Тайка съехала, оставив Ирине дочку, и можно было бы, наконец, воплотить в жизнь самую заветную мечту Надежды: поменяться комнатами с золовкой. Нас-то больше.

Ира отказалась.

...Пусть когда-нибудь в другой раз вспомнится этот морок, знакомый всем, кто жил в общих квартирах; сегодня не надо, сегодня Лелька звонила.

А тогда... Генька скоро развелся, оставшись жить с матерью и сестрой, которая как раз вышла замуж, будто нарочно для того, чтобы не нарушались законы «теремка». В положенный срок у Людки родился сын; правда, к тому времени брат снова женился и на этот раз ушел жить к жене.

Малыш, Андрюшин внук и Ирин внучатый племянник, спал на дядином диване. Достигнув определенного возраста, перерос диван и точно так же стал лягать под утро валик-долгожитель.

Надя продолжала работать на том же текстильно-красильном комбинате и ждала своей очереди на квартиру, которую обрела за несколько дней до пенсии, умело и любовно обставила и наслаждалась уютом почти два года. Наслаждалась бы и дольше, если бы не рак печени; не зря на вредном производстве молоко выдавали. А детям без молока не вырасти. Надя переехала сначала на новую квартиру, а вскоре на кладбище, оставив Ирине троих обитателей «теремка», чтобы не нарушать традицию, которая сложилась зимой сорок седьмого года и живет уже сорок лет.

8

Странно было присутствовать на похоронах человека, который иступленно ждал твоей смерти — и не скрывал этого. Надин гроб провожают сын и дочь. Вспухшие от слез взрослые лица ничуть не напоминают зареванные рожицы двух ребятишек, вцепившихся в мамкину юбку, однако они так и держались за эту юбку всю жизнь. Несмотря на то, что оба давно вошли в года и сами обзавелись детьми, они провожали «мамку», а значит, оставались Генькой и Людкой.

Когда в давнее зимнее утро Надя крутила замерзшую бабочку звонка с пригласительной надписью «BITTE DREHEN», она не знала, что этим движением заводит на сорок лет вперед уродливую и мучительную для всех жизнь. Так заводят часы, не ведая, что принесет завтрашний день, но собираясь встать вовремя. Как не знала и Ирина, что привыкнет называть Андриюшину семью нейтральным словом «соседи». Однако в день похорон даже про себя не произнесла бы: «Соседка умерла»,

и не потому, что это означало кошунство перед лицом смерти. Они с Надей были больше чем соседки, и это определила не она и не Надя, а кто-то свыше, тем же зимним утром.

Ирина часто возвращалась мысленно на горячий перрон, где брат снова и снова повторял свое завещание: «Ты знаешь, какая она... Береги детей, сестра...»

Жизнь показала, что никаких оснований для тревоги не было: Надя вцепилась бы в глотку любому, кто мешал благополучию детей. Впервые столкнувшись с советской властью в эвакуации, поняла одно: выжить можно не благодаря этой власти, а только вопреки. Не жди, что дадут, — обманут; возьми сама. На работу в колхозный хлев Надя всегда приводила с собой детей: маленькие, одних не оставишь. Над нею посмеивались: уж эти приезжие! У них там, небось, мамки да няньки, — но посмеивались снисходительно, добродушно: приезжая работала, как стахановка. Генька и Людка были *при молоке*: детям без молока нельзя.

От коров Надежда спешила в хлебную лавку — магазин *сельпо*, как здесь называли. Помогала сгружать, резать, а вскоре и отпускать по карточкам хлеб, крупу, сахар. Не сильно печалилась, что дети дома одни: ей было чем их утешить вечером. Все лучшее — детям; остальное себе. Да как же иначе? Не положишь в рот кусок — ноги протянешь; что, советская власть поможет?! Она легко отбросила заповедь «не укради», как срывают старую ненужную вывеску; кому какое дело, упадет она в канаву или останется лежать на дороге, ржавея под дождем и сплющиваясь под ногами и колесами? Она пыталась по-своему помочь Ирине: не хлебом или сахаром, а — советом, как правильно жить, чтобы выжить; да только наука впрок не пошла.

После войны, уже обосновавшись в Городе, Надя стала работать на текстильно-красильном комбинате, оставляя детишек со свекровью. Часто возвращалась, плотно обернутая под платьем в отрез ткани, словно кокон. С довольным смешком освобождалась от «свивальника», а в воскресенье спешила на толкучку, чтобы обменять свой трофей на продукты. Детям нельзя без молока, что уж говорить о хлебе насущном: карточки пока никто не отменял. Надя не скрывала того, что делала. Не бахвалилась, но и не стыдилась; так она понимала условия игры с советской властью, которую тоже никто не отменял, да и не предвиделось. Матрена называла это короче — воровством, но невестка хладнокровно объяснила, что, во-первых, «не убудет», а во-вторых, «все так делают».

Убудет, подумала Ира. От тебя убудет, не от фабрики.

Она не обвиняла золовку. Скорее, временами мучилась, что не может *преступить*, как Надя, и поэтому ее дети узнали голод, а Людка с Генькой — нет. Ради детей Надежда готова была на все. Препятствия и барьеры находились только снаружи, где она отвоевывала место детям и себе; внутри их не существовало.

Чего же боялся брат? Дети здоровы, сыты, веселы; и во имя этого Надя ни перед чем не остановится.

Этого «ни перед чем» и боялся. От этого и хотел уберечь.

Понадобилось время и кусок общего жизненного пространства, прежде чем Ира поняла его страх, хоть не умела оформить словами: не всегда находятся верные слова, а те, что найдутся, чаще мешают, чем помогают. Поняла, но завет не выполнила: детей от матери не убережешь.

Какими словами можно было, например, описать лицо брата, которое погасло после женитьбы и никогда не стало прежним? Взгляд, полный тоски и боли? Жена оказалась нечаянной и нежеланной, и если бы не настойчивость матери, то и вообще не оказалась бы Андрюшиной женой. Стадию невесты Надя миновала: Андря никогда за ней не ухаживал, а то, что произошло между двоими, ни в какую графу, кроме как «несчастный случай», занести невозможно: то ли амур обознался, то ли цинично пошутил, но женский батальон уменьшился на одну единицу, ибо беременных бойцов в славной Национальной армии не держали.

Матрена повела себя так, словно беременным оказался сам Андрей. Слова «твой грех» стали и диагнозом, и приговором. Сын женился ради будущего ребенка и жил, омертвев душою, с немилой женой.

Можно жить совсем без любви, но нельзя с нелюбовью в сердце. Брат так не умел. На его слова: «Не вернусь, все равно не вернусь!» Ира ужаснулась, но поверила. Не вернется, даже если живой останется; из-за Нади не вернется. А когда заклинал: «Не оставь детей, сбереги...», уже знала: вернется. Не из слов его умоляющих, а по тревожным глазам видела, по тонкой, словно волосок, складке между бровей. Ради детей вернется домой и так, стиснув зубы, будет жить.

Раз не пришел — значит, нет в живых. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Андрея.

Мало, оказывается, быть «как одна плоть». Или только Андрюше было мало? Ведь Надежда была образцовая жена: ловкая, опрятная, жизнерадостная.

И — чужая. Не только мужу, но и всей семье, кроме Тони, да и с той глубины и доверительности в отношениях не было.

Почему после войны Надя пришла именно к ним, к своим чужим родственникам, и захотела жить с ними? Да захотела ли? Неизвестно; но решила. «Пусти нас! — требовательно умоляла Ирину, — пусти! Я тебе этого никогда не забуду!»

...Воспоминания подчиняются каким-то своенравным, прихотливым, изменчивым ритмам. Неторопливый менуэт с подробными поклонами и реверансами переходит в плавное кружение вальса; вальс неожиданно сменяется торопливым фокстротом, где факты и события перечисляются поспешной скороговоркой, но вот фокстрот уже позади: его обгоняет озорной шимми:

Ах, мадмуазель,
Станцуем шимми,
Чтобы не считали
Нас такими
Очень старомодными,
Смешными
Все подряд...

Кто задает темп, Время? Или наша память, его нерадивый секретарь? — Неизвестно; да и не до танцев было, потому что карточную систему, наконец, отменили, но голод никто не отменял. Слава Богу, была работа, то есть какая-никакая зарплата. Положа руку на сердце, никакая: купить на нее было нечего, и намного уместней было бы теперь бежать с работы в слезах, зажав в кулаке бумажки, хвастливо обозначавшие свою номинацию на всех языках многонациональной — и многострадальной — страны. Может, Ирина

и плакала, да только вряд ли, потому что плакать было некогда: дома ждала грудная внучка, и нужно было успеть на базар за молоком. Тайка не кормила: не было ни желания, ни молока, да и сама кормилась кое-как. А детям без молока нельзя.

Целые дни она проводила за швейной машиной на комбинате «Большевичка». Перед глазами простиралась бесконечная белизна простыней и покрывал, точно снежная дорога без конца и без края. Глаза пристально следили за строчкой и скоро сдались: потребовали очков. Никакого умственного напряжения работа не требовала, что позволяло думать о своем: как там новоиспеченные прадед и прабабка управляют с младенцем, придет ли ночевать дочка, и если придет, чего на этот раз ждать от Нади... Белым сугробом дыбилась ткань, но в последний момент послушно смирялась под лапкой машины. Ира привыкала к слову «бабушка», пробуя его на слух. В цеху стоял ровный гул, и она слышала себя как бы изнутри. Слово звучало неубедительно, даже очки не помогали, и она поняла, почему: произнести его должен тот, кто посвятил ее в это звание — внучка. Внучка стала третьим ребенком. Кем-то оброненная, а потом тиражируемая банальность о том, что, мол, первый ребенок — это последняя кукла, а первый внук — первый ребенок, к бабушке Ире не имела никакого отношения.

А потом была дорога домой, и не всегда хватало сил и остатков тепла в истощенном теле, чтобы дождаться трамвая. Тогда просто шла по снежному тротуару ровным шагом, только скоростью отличаясь от лапки еще не остывшей швейной машины.

Единственный выходной, воскресенье, отличался от будней тем, что шила не на «Большевичке», а дома все, что удавалось выкроить из довоенных еще запасов ситца, льна, мадаполама: детское и дамское белье, наволочки, ночные рубашки... На толкучке это буквально выхватывали из рук. Ничего удивительного, ведь в магазинах не было самого необходимого, кто ж будет думать о дамских лифчиках?.. Продав, спешила за молоком, без которого детям никак нельзя.

Надя тоже билась изо всех сил. Денег получала не намного больше, чем золовка, но периодически кто-то из родни привозил деревенские гостинцы: кусок тугого сала, похожего на мрамор, с такими же тонкими розовыми прожилками; черный подовый хлеб, не похожий ни на что, ибо вид и вкус хорошего хлеба мучил только в эвакуации, а потом был вытолкнут из памяти; деревенский по цвету напоминал довоенный шоколад. Запах чужого хлеба так терзал, что хоть на кухню не ходи. Привозили мед, сливочное масло...

Нужно отдать Наде должное: делилась. Не медом, конечно, и не сливочным маслом — это детям, но кусок драгоценного хлеба и сала, толщиной пальца в три, отрезала. И — нет, не хватало сил у Матрены отказаться; да у кого хватило бы?..

Ира не брала. Ела одну только кашу из овса, изо дня в день, иногда приправляя соевым маслом. Не из «геркулеса», а из того грубого овса, которым кормят лошадей, и верила, что этому овсу обязана и силой, и самой жизнью.

Отказ уязвлял Надежду. Как она сама говорила, «я хочу по-хорошему, и так и эдак». «Эдак» выразилось в том, что, размотав из-под платья очередной «кокон», она аккуратно сложила еще теплую ткань и протянула Ире: «Бери».

— Не надо, спасибо, — отодвинулась та.

— Да как не надо, как не надо? — засуетилась Надя, — ты бери, бери, ты кроить умеешь, вот скройшь-сошьешь да снесешь на базар — все копейка будет! — И совала, совала сложенную материю золовке в руки, а клюквенный румянец все сильнее заливал лицо. Наконец, швырнула отрез на диван и вышла; квакнула захлопнутая дверь. «Конечно, вы же святые! — ярился из кухни голос, — у вас все не как у людей! Вы и с...те шоколадом, и с...те одеколоном!..»

Впоследствии оригинальная формула повторялась не раз, уже безотносительно даров, которые не повторялись: Надя была понятлива. Псевдопочтительное «вы» относилось не только к Ирине. К «вам» Надежда причисляла всех, кто не хочет или не умеет «по-хорошему», «по-людски» и, главное, не пытается научиться; словом, всех чистоплюев. «В России с голоду пухли! — высокий голос сопровождался блямканьем кастрюль, домашних ударных инструментов. — Сама работала в “Заготзерне”, а дети лебеду жрали!» Бренчание упавшей сковородки, снова голос: «Для таких святых в тюрьме место приготовлено — родная дочка хлопочет!..»

Если закрыты обе двери, то почти ничего не слышно. Но все уже услышано, за что, собственно, Надежда и боролась. Господи, Господи...

...Воскресным декабрьским утром Ирина стояла на толкучке. Одна покупательница, придирчиво осмотрев новую наволочку, отошла, но тут же нашлась другая, которая и купила не торгуясь. Не торговалась и одетая в новенький ватник деревенская тетка — сунула Ирине деньги и быстро

спрятала купленный бюстгальтер. «Больше нету? — спросила деловито. — Мне для дочки бы...»

Ира кивнула и достала еще один деликатный аксессуар, а когда подняла глаза, увидела двух милиционеров; тетка в ватнике как сквозь землю провалилась. С удовольствием стекались любопытные; другие, наоборот, пятились или деловито расходились. «Пройдемте, гражданка», — раздались неизбежные слова, и они «прошли». На такую мелкую птицу никакого транспорта предусмотрено не было, и через полчаса замерзшие милиционеры и полумертвая от стыда и шока Ирина входили в дверь 9-го отделения милиции. Напротив милиции находилась церковь Михаила Архангела, а чуть наискосок — дом, и ей казалось, что все выходящие с воскресной службы смотрят на нее, а может, и мать из окна увидит.

На втором этаже милицейский начальник начал задавать вопросы: адрес, место работы и прочее, о чем ее уже хорошенько расспросили по пути. За его спиной, из-за полуоткрытой двери, слышался задорный стук пишущей машинки; кто-то засмеялся. Как люди могут в милиции смеяться?! Ответить сама себе на этот вопрос не успела: машинка смолкла, и в дверях показалась веселая Тайка.

Ну да; она ведь здесь работает.

— Познакомьтесь, Савель Игнатич: моя матушка, — весело сказала Тайка, но на Иру смотрела настороженно.

— А мы уже, понимаешь, познакомились, — сидящий повернулся к Тайке, отчего шевельнулись погоны, и в них тускло блеснул свет лампы, — сейчас протокол перепечатаешь. Закон для всех один, понимаешь; матушка, батюшка... А то что же это, понимаешь, происходит? Зарплату получа-

ют, жильем они, понимаешь, обеспечены, а от спекулянтов деваться некуда.

— Кошмар! — негодуяще ахнула дочка и повернулась к Ирине. — И это моя мать! В какое положение ты меня ставишь, ты подумала об этом? Да как я людям в глаза посмотрю?..

— Я не воровка, — задыхаясь, Ирина дернула воротник пальто: внезапно стало очень жарко, но крючок не отстегивался, — не преступница. Я своими руками пару тряпок сшила и снесла на базар...

— Статья сто седьмая Уголовного Кодекса, — вставил начальник, — спекуляция...

— ...на базар, — она рванула крючок, — чтобы твой ребенок голодным не остался, а ты... ты меня срамишь перед людьми?..

Тайка вытянула губы трубочкой, но мать опустилась на скамейку: ноги не держали, — и не видела, как начальник рвал протокол, не слышала, что он говорил Таечке, да какая разница? Крючок на воротнике, наконец, расстегнулся, и стало можно вдохнуть полной грудью прокуренный стылый воздух. Она не сразу поняла, что говорит милиционер — один из тех, кто привел ее сюда. А он повторял: «Сюда, сюда», — и показывал на дверь. «В тюрьму», поняла Ирина. Встала, не глядя на Тайку, и двинулась обреченно, пока не оказалась на улице. Из церкви выходили, крестясь, люди, словно ничего не произошло.

Гадкий день прошел, кончился, изжил себя, но из памяти не уходил. Да и кончился он не в милиции, как можно было бы ожидать; нет. То ли Тайка решила, что она чего-то не досказала, то ли не была уверена, что мать «поняла урок», но

именно так она выразилась, когда забежала несколько дней спустя. Ирину не застала, но пересказала воскресный сюжет Матрене и Наде. Тетка слушала жадно и с азартом. Бабка отреагировала со свойственной ей прямоотой: «Если б я была твоя матка, я б тебе в морду плюнула». Повернулась и ушла в комнату.

...Как Андрюша мог Надю выдерживать пять лет? Или мы в самом деле такие уроды? Вопрос, конечно, зряшный, и задан от отчаяния и беспомощности. Есть непреложные истины, есть абсолютное «нельзя». Принять в подарок украденное — то же самое, что украсть самому.

Да, но хлеб, сало — деревенские гостинцы — ни у кого не украдены. Отчего не взять, ведь дает от чистого сердца, от себя отрывает; почему «спасибо, нет»? Это трудно было объяснить даже самой себе: мешал запах хлеба, доводящий до обморока. Была уверена только в одном: это не дар, это — взятка. Надя ничего и никогда не делала просто так, повинуюсь движению души. Неизвестно, что у нее на уме. Может быть, сегодня ничего определенного и нет, а только... коготок увяз — всей птичке пропасть. Ничего нельзя было брать.

Нет, Надя не была ни стервой, ни воровкой, ни монстром. Во всяком случае, Ирина не применяла к ней ни одно из этих понятий и не потому, что не сумела бы облечь их в слова, нет. Человек намного сложнее, чем самый затейливый букет из слов. Ведь даже муж, знавший Надю лучше других, сказал только: «какая она...» Ира добавляла, в самые горькие минуты: несчастная. Даже когда золовка с наслаждением устраивала скромный кухонный ад с простым и надежным сценарием. Например, выливая чайник воды на только что

принесенные дрова или блокировала своим крепким телом доступ к единственной раковине и стояла насмерть, словно это не раковина, а Брестская крепость. Вытаскивала фитиль из керогаза или, наоборот, не прикасалась к фитилю, но разбавляла водой керосин. Попутно обливала водой коробок со спичками. При всей бесхитростности это был особенно тонкий ход, ибо вынуждал Ирину идти в комнату за новым коробком, что давало повод сообщить никому, но громко, что нет покоя в проходной комнате.

Эту мелкую, паскудную войну Надежда затеяла уже после смерти стариков. Тайка вскоре вышла замуж и дочку проводывала нечасто. Военные действия шли полным ходом. Ира придерживалась тактики обороны. У нее было только одно оружие, которым, правда, она владела в совершенстве: молчание. Что бы ни предпринимала золовка, она оставалась безмолвной. Стала готовить на примусе у себя в комнате. Там же держала запас воды. Когда примус сменила на керогаз, пришлось вернуться на кухню: у примуса хоть запаха не было. Отойти от керогаза, пока суп варится, не решалась: иди знай, что в кастрюле найдешь. Попросила брата врезать замок в ее дверь и запирала, уходя на работу. «От воров прячется», — исходила ядом Надя, хотя отлично знала привычку сына шарить в соседней комнате так же непринужденно, как в карманах материнского пальто. Когда Надежда уходила на работу или в гости к сестре, наступало блаженство. К сожалению, иногда они работали в одну смену.

...Хорошо, что никто не напишет о моей жизни, думала бабушка на пути с кладбища домой. Кому это интересно — мокрые спички? Человек ушел в землю, растратив силы

и душу на мелкие домашние пакости. Не дай Бог, чтоб такое в книжке напечатали. А ведь прожили рядом сорок лет.

Сорок лет, как одна копеечка...

...Уйти из дому можно было только на улицу, в парк или в моленную. Или на кладбище — поклониться и пожаловаться родителям. В кино, наконец; в гости к родным или друзьям. Однако страсть к кино осталась в юности, как и друзья; неизвестно, живы ли. Одна в Палестине, как Ира по привычке называла Израиль, другая в Германии. Брат жил совсем близко, Тоня подальше, но... как можно с таким грузом на душе показываться людям на глаза? Только настроение портить. Рассказать, как есть? Ответят то, что она сама давно знает: выть тебе волком за твою овечью простоту.

На этом поле боя выросла Лелька и пошла в школу. Произошло еще одно событие: появился маленький брат, Ленечка. Увидев младенца и не найдя в нем ничего примечательного, девочка с головой погрузилась в свою школьную жизнь. Очень важно было сделать уроки до наступления темноты. Надя бдительно следила за темнеющим небом и азартно выкручивала пробки, приговаривая: «Мимо рта не пронесешь, мимо кровати не ляжешь». Людка с Генькой уроками не злоупотребляли. Когда кто-то приходил, электричество загоралось вновь.

9

Осенью, когда девочка пошла во второй класс, Тайка стала забегать чаще: «Я на минутку». Брала в руки дочкины те-

традки и рассеянно листала. Помогала обертывать учебники и сама надписывала их четким, размашистым почерком, потом спохватывалась: «Мне кормить». Перед уходом всегда успевала перекинуться несколькими фразами с Надей: чутко спрашивала о чем-то, как и полагается вежливой племяннице, а та в ответ частила ядовито, не только не стараясь приглушить слова, но нарочно громко; о себе говорила исключительно «мы».

— Нам такого дарма не надо. Мы свою дверь на замок не запираем, у нас все на виду, заходи — бери. Мы людям доверяем и на других не грешим, зато и в церкву не бегаем, поклоны не бьем. Все грехи не замолишь, хоть каждый день Богу свечку ставь. А нам этого не надо, мы...

Тайка сочувственно слушала и кивала, замороженная теткинским обличительным красноречием, и то ли не видела, то ли делала вид, что не видит зажженную лампадку у Нади перед иконой.

Иногда в воскресенье бабушка и внучка шли «в гости к братику». Девочка смотрела, как малыш без усталости сучит ножками, словно едет на воображаемом велосипеде. У Леночки были черные плюшевые волосики, сплюснутый затылок с неровной лысинкой и обезоруживающая улыбка. «Волосы отрастут. У нас лысых не было», — заявлял отец и гордо брал мальчика на руки. Прощаясь, подмигивал: «Приходите почаще», — и жевал принесенный пирог, еще теплый. Ежами шевелились черные усы. Таечка с нежной улыбкой кормила младенца.

Святое семейство.

Визиты были в тягость как Ирине, так и внучке. В этом месте воспоминания спотыкаются, забывают про все тан-

цевальные ритмы и нехотя возвращаются на три года назад.

Да, три года назад. Володя только-только определился в статусе дочкиного жениха, и как раз тогда произошел тот мерзкий, уродливый случай... Почему — случай? Случай — это что-то неожиданное, а там... Одним словом, жених этот отхлестал будущую падчерицу ремнем, и не только в присутствии Тайки, но и с ее безусловного согласия. Что выяснилось несколькими днями позже, когда Матрена потребовала у любимой внучки объяснений, как только та перешагнула порог.

Объяснение прозвучало настолько ошеломляюще, что Ирина с матерью озадаченно молчали и смотрели на Тайку во все глаза. Фактически ребенок растет без надлежащего воспитания. Ребенок запущен донельзя (Матренины брови гневно взлетели); ребенок растет вне здорового детского коллектива. «Как же ты сама без этого вшивого коллектива выросла?» — гневно вставила Матрена, но Таечка смотрела куда-то между матерью и бабкой, ни с кем не встречаясь взглядом. Да-да, ребенок не может постоянно находиться в окружении взрослых. Тайка привычно похрустывала пальцами и часто повторяла слово «фактически». Ее, любящую мать, фактически лишили возможности влиять на собственного ребенка; она, родная мать, фактически бесправна. Теперь, когда она фактически начинает строить новую семью, именно она, мать, намерена решать судьбу ребенка. «Ремнем?!» — опять загремела Матрена. «Внушением, — с достоинством ответила внучка. — Я не виновата, что время упущено, и ребенка фактически надо перевоспитывать».

Выяснилось, что раньше ее не подпускали к родной дочери, но такая ситуация нетерпима, и отныне...

«Ты матке своей спасибо должна сказать, что ребенка твоего растит, а радио мы у Надьки можем послушать, — прервала бабка, — Бог знает что мелешь. А чтоб хахаль твой, пока я жива, сюда ни ногой. И к месту!» Повернулась к Ирине: «Что молчишь? Нечего сказать?»

Сказать было нечего.

«Пока я жива», увы, длилось недолго. За этот короткий промежуток времени — казалось, от стен еще отскакивает слово «фактически» — Тайка устроила дочку в здоровый детский коллектив и объявила, что забирает ребенка к себе, якобы по причине близкого расположения детского садика, но *фактически*, Ира была уверена, чтобы просто настоять на своем.

Больную Матрену перевезли к Тоне, где был не только комфорт, но и квалифицированный уход. Рак злобно пожирал тело, не осмеливаясь посягнуть на волю и ум. Труднее всех было сестре: она почти не отлучалась от матери. Ирина жила на два дома, по большей части у Тайки, опасаясь новых столкновений дочкиного жениха с Лелькой. Та, в свою очередь, не ложилась спать без бабушки: так много надо было рассказать.

Два года назад мать схоронили, а Таечка вышла замуж. Молодой муж переселился в крохотную Тайкину квартирку со всем своим «приданным»: валторной в твердом черном футляре и ободранном чемоданом с вещами. Самое время было бы пожелать совета да любви и вернуться к себе на Московскую, но молодая пара рьяно взялась за Лелькино воспитание.

Первый шаг сделал отчим — стал называть ее полным именем: Ольга.

— А как меня зовут? — спросил он у «Ольги».

— Володя, — ответила Лелька, удивляясь глупому вопросу.

— Меня называй «папа», — снисходительно объявил тот, — «Володя» — так только взрослые говорят.

— Я уже взрослая, я в следующем году в школу пойду, — не сдавалась девочка.

— Ну и воспитание... — это было сказано уже не ей, а Таечке.

Та сокрушенно качала головой и слабо улыбалась.

Слово «папа» так и не вошло в Лелькин лексикон. Она вообще старалась обращаться либо к бабушке, либо к матери.

Ирина чувствовала себя у дочки очень напряженно и неуместно. Зять любил острить, но остроты не вызывали у нее ожидаемой реакции, и он обижался. Подробно рассказывал об оркестре, в котором играл, о «наших ребятах», о том, как дирижер придирается не по делу и как он, Володя, ставит его на место. Иру, в свою очередь, раздражала грязь в квартире: промасленные пакеты, грязная посуда с засохшими кляксами горчицы, горелые спички на полу и на подоконнике единственного окна. Угнетала теснота, вечный полумрак и сырость двенадцатиметровой комнатенки, где они уютились вчетвером. Входя, она торопливо подметала, убирала, мыла... Грязное белье громоздилось прямо на полу, за кухонной дверью.

— Смотри, Тайка, сколько белого; давай стирку сделаем, как можно на полу держать, — предложила как-то.

— Делать мне больше нечего, — обиделась Таечка.

— Поможешь мне, — сдержалась мать. — Попроси Володю, пусть бак от меня привезет, а то кипятить не в чем.

— Володю? — вскинулась дочь, — что, Володя тебе ишак, что ли?!

...Нет, нет, хватит: надо снова менять темп. Пройти чуть пружинящим фокстротным шагом, минуя канувшие в прошлое мелкие бытовые стычки, дождаться весны и ликующего перезвона пасхальных колоколов. Тайка обронила, что они с Володей думают о ребенке. Непонятно, новость это была или мечта, но супруги явно потеряли интерес к перевоспитанию ребенка уже существующего. Стало можно вернуться домой и выполнить весь мудреный пасхальный ритуал, с шафранными куличами и ярко раскрашенными яйцами, только, увы, уже без Матрены. А потом наступило лето — последнее лето Лелькиного тягостного пребывания в детском саду, и томительное лето надо было прожить и пережить, потому что осенью начиналась Школа, и ничего, кроме праздника, это обозначать не могло.

И действительно, весь первый год прошел под знаком праздника, несмотря на коварно гаснущее в квартире электричество. Второй класс оказался дважды праздником, потому что Лелька готовилась к приему в пионеры, приуроченному к пятидесятилетию школы.

Весть о юбилее принесла не только внучка, но и открытка в почтовом ящике, приглашающая «всех выпускников школы принять участие в торжестве». Наверное, сама Ирина не вспомнила бы. Шутка сказать, пятьдесят лет! Зато помнила аппетитные стопки ярко-желтых кирпичей на пустыре и рабочих в длинных фартуках, которые нагружали кирпичами

тачки, а потом подвозили их каменщикам. Когда здание было построено, оно оказалось школой, а Ирочка — первоклассницей. Она проучилась там пять счастливых лет. Потом подросли братья и тоже начали ходить в школу, но тут началась война — та, первая... После войны в «нашу школу» пошли младшие, Тоня и Симочка. Дети выросли, завели свои семьи, а школа становилась все более «нашей»: дети Иры и Моти тоже здесь учились. И опять — война прервала: вторая... Мало кто помнил ярко-желтые кирпичи ее стен; они давно поменяли цвет. Казалось, школа построенная — нет, вылита — из бронзы, потемневшей от времени, дождей и гари двух войн.

Нечего было и думать о том, чтобы собрать всех, кто здесь учился, поэтому торжество проводили в клубе авиационного училища, что располагалось прямо напротив школы. Совсем недавно отшумели Октябрьские праздники, и казалось, что красное знамя легло отдохнуть на стол президиума, уставленный цветами такого же кумачового цвета. Цветы стояли в горшках, обтянутых гофрированной бумагой и украшенных такими же гофрированными бантами, а озабоченные учителя все сновали между клубом и школой и несли новые и новые горшки.

Бабушка волновалась, почти как семилетняя Ирочка, некогда — всего пятьдесят лет назад — вошедшая в залитый солнцем класс. Не было красного стола с неизбежным графином, за столом не сидели торжественные люди с красными повязками на рукавах, зато сегодня, пятьдесят лет спустя, не было солнца, а стоял прозрачный ноябрьский полдень с холодным крахмальным воздухом. Директор взял в руки звонок — бронзовый, величиной с чайник, колокольчик, тот са-

мый! — потряс и поставил обратно. Чистый и громкий звон рассыпался осколками по всему залу, застыл в складках кумачовой скатерти, спрятался под крышкой рояля, шмыгнул на подоконники и замер за тяжелыми портьерами.

Директор — серый костюм, русые волосы, строгий взгляд, неуместный для мягкого круглого лица с ямочкой на подбородке — громко выкликал имена, глядя в список. У стены стояли с цветами в руках девочки лет двенадцати, в белых блузках с красными галстуками и синих юбках; в стороне жались взволнованные второклассники. Между ними бесшумно сновала пионервожатая и что-то озабоченно шептала. Подсказывает, догадалась Ирина. Внучка разучивала «Я, юный пионер...», стоя дома перед зеркалом. На вожатой тоже была белая блузка и синяя плиссированная юбка, а пышные локоны до плеч и пионерский галстук на высокой груди притягивали много мужских взглядов. Послушался чей-то приглушенный басок: «Я бы каждый день в пионеры вступал...» и солидарные смешки. Директор поднес ко рту стакан.

О чем говорили, Ирина не запомнила. Когда начинали аплодировать, она тоже аплодировала; в какой-то момент из разных концов зала начали подходить к столу улыбающиеся люди. Она увидела Мотю, Тоню, которая на ходу поправила на Симочке пиджак... К столу шли племянники, а с ними Тайка, она смеялась и что-то говорила. Женщина с красной повязкой попросила освободить передние скамейки: «Здесь сядут наши уважаемые выпускники», но все перекрыл сильный высокий голос Тони: «А сестра? Где же сестра?..» Люди смеялись. Мотя осторожно перешагнул через несколько рядов скамеек, обнял Ирину за плечи и так, упирающуюся, подвел к первой скамейке.

«Когда школа впервые распахнула свои двери, — торжественно заговорила высокая учительница с косами короной, — Ирина Григорьевна оказалась в числе тех, кто пошел учиться в первый класс. Мы не знаем, как сложилась судьба ее одноклассников: нам никого не удалось разыскать». Переждав уважительный гул, продолжала еще торжественней: «Послушаем, что нам расскажет первая выпускница школы, ныне заслуженная швея-мотористка комбината “Большевичка”...»

Ирина растерялась, словно ее вызвали к доске, а урок не приготовлен. Да так и было: знай, что придется выступать, не пошла бы. За окном было видно серое небо и ветки деревьев.

— Подумать, так давно... — подумала вслух, и стало совсем тихо; она тоже замолчала. Учительницы переглянулись, и высокая сочувственно вставила: «Товарищи, Ирина Григорьевна пошла в школу еще при царском режиме», но Ира продолжала громко и взволнованно:

— Я о деревьях думаю, о липах, — и так же, как не обратила внимания на учительскую подсказку, не замечала сейчас иронических переглядываний и улыбок, — вот они стоят вокруг школы, — головы невольно повернулись к окнам, — а ведь когда нас привели, они совсем малютками были, не выше нас самих. Тонкие росточки; и не скажешь, что деревья; как веточки. Посадили вокруг школы, со всех сторон.

Помолчала, глядя в окно и не видя, как внимательно рассматривают ее лицо, ярко-белую прядь в черных волосах и старенькое шерстяное платье; повернулась лицом к залу:

— А теперь они выше школы! Если б, кто со мной учился, могли их увидеть... Хорошо, если живы; а ведь много кто на войне сгинул. Может, под другими деревьями лежат...

Первым встал и захлопал младший брат. На его пиджаке тенькали медали. Аплодировал весь зал. Тоня вытирала глаза. Ирина хотела досказать: мы уйдем, а деревья останутся, но директор тоже поднялся и хлопал стоя. К ней подбежала девочка в красном галстуке, вручила розу «от имени пятого “А” класса» и спросила уважительно: «Вы деревья своими руками сажали?» — «Нет, детка, зачем? Рабочие посадили».

Роза была темно-красного цвета и пахла уличным холодом.

Волнение не проходило и было таким сильным, что Ира плохо слышала других выступавших. Мучаясь недосказанным, чуть не пропустила торжественный прием в пионеры, который прошел на редкость быстро, почти торопливо. Пионервожатая завязала галстуки несколькими ловкими движениями. Со стороны могло показаться, что кто-то прошел вдоль ряда и быстро мазнул по школьной форме пунцовой кистью. За рояль села пышноволосяя седая дама, которая до войны преподавала немецкий язык. По знаку пионервожатой она ударила по клавишам, и ребятишки запели.

...На обратном пути Лелька ни за что не хотела застегивать пальтишко, чтобы было видно галстук. «А почему ты не рассказала, что у тебя одни пятерки были? Ты сегодня очень красивая, я люблю, когда ты губы красишь. Тетя Тоня плакала и еще две тетеньки. Романов не мог сказать торжественное обещание, потому что он заикается. А почему ты грустная такая?»

Ответить было нечего, да и не было необходимости: счастливая внучка и дома не спускала глаз с красного галстука.

Через несколько дней пришла дочка с коробкой пирожных: два пышных купола безе и эклеры, ровно политые кондитерским сургучом. Пили чай. Лелька искусно выгребла из эклера крем и теперь ела «обложку». Таечка деликатно откусывала безе, и на яркой помаде оседали белые крупинки.

— Ты ведь любишь безе, мама? — Тайка удивленно смотрела, как мать режет «бородинский» хлеб.

— Среда, — объяснила Ирина, — постный день у меня. — Объяснение против воли звучало виновато. — Ты домой забери, куда нам столько. Или Надю угости.

Дочка задержалась в Андрюшиной комнате. Пока Ирина мыла посуду, оттуда слышался ее веселый голос и Надин поощрительный смех. Разговор шел о школьном празднике. «...У всех жены-мужья, семеро по лавкам, девчонок не узнать: поперек себя шире. Скука смертная: директор долдонит, завуч, какой-то старпер из РОНО или я не знаю там откуда. Дальше — хоть стой, хоть падай: моя матушка речугу толкала. Я думала, я сквозь землю провалюсь, чесслово!» Дружно засмеялись, и Тайка сквозь смех продолжала: «...о пользе зеленых насаждений!.. В общем, черт-те что и сбоку бантик. А потом неофициальная часть пошла, столы накрыли, учителя наши сели... Ну, я такую хохму отмочила! Ребята, говорю, могли ли мы, говорю, представить, что с нашими учителями, говорю, за одним столом будем водку пить? Тут все так и заржали!..» — и обе грохнули смехом.

Стараясь не звенеть чашками, Ира прошла к себе мимо плотной портьеры, за которой горела лампа. «Нет-нет-нет,

тетя Надя, это вам; у матушки пост», — и снова зазвенел Тайкин смех, но мать уже закрыла дверь.

Лелька спала. Рядом лежали раскрытые «Азербайджанские сказки», а сверху — красный пластмассовый мишка. «...Ты был опорой моего сердца!» — прочла Ирина, закрывая книгу.

Почему «опорой»? — Отрадой.

Как только она не называла дочку! И вслух, и про себя. Что с ней стало? Что в ней сидит такое, от чего другим становится неловко и стыдно? Не всем: Наде вот нравится, ее не коробит. И когда это началось? Не поймать, не вспомнить. Когда впервые задумалась, стало и стыдно, и страшно одновременно, и с тех пор мысли никуда не уходят, а движутся по одному и тому же скорбному кругу: не потому, что больше думать не о чем, а в поисках решения. Думать «по кругу» бессмысленно, а не думать нельзя. Как там сказано? «Ты был опорой моего сердца...» Или отрадой?

...Как они с Колей гордились дочкой! И не только они: Таечка была первой внучкой в семье, первой Тониной крестницей и всеобщей любимицей. Для Иры — не просто любимицей, а божеством, красота, ум, грациозность и прочие достоинства которого не оспариваются, ибо принадлежат божеству. Божество с детства отличалось дерзким красноречием, бурной вспыльчивостью и умением дуться на всех, даже на годовалого брата. Матрена хоть и гордилась внучкой-красавицей, а все же хмурила бровь: «Гордыня. Не к добру».

Мать знала, о чем говорила: когда Ирина уходила на работу, маленькая Тайка оставалась с бабкой, и та ни в чем ей потачки не давала. Девочка сердилась и огорчалась, когда Ирина, поглядывая на будильник, торопливо надевала шляпку:

— Не уходи! Зачем ты каждый день на работу уходишь?

— Деньги зарабатывать, Таинька.

— А папа?

— И папа тоже. Вот воскресенье будет...

— А давай найдем тетеньку!

— Какую тетеньку, моя радость?

— Такую. Пусть она работает и деньги зарабатывает, а ты дома будь. И папа.

— От-т башковитая какая! — смеялась вошедшая Матрена. — Тетеньку нанять, чтоб зарабатывала! А тетеньке той чем за труды платить будешь?

— Так денежками! — досадовала Тайка на недогадливость взрослых. — Тетенька будет на работу ходить, зарабатывать денежки, а мы будем ей платить!..

В школе дочка блистала. Особенно легко ей давались языки. Коля спросил, отчего она не делает дома уроки. — «Я и так знаю».

С учительницей, обрусевшей немкой, — той, что играла на рояле несколько дней назад, — Ирина столкнулась в магазине игрушек. Спросила о Тайке, не только нимало не тревожась, но заранее гордясь тем, что готова была услышать.

И напрасно.

Немка выразилась странно: «Жалко. Такая способная!» Сожалела не столько потому, что «девочка ведет себя дерзко и вызывающе», а из-за ее лени. Для немцев, Ира знала, нет большего порока.

Почему для немцев, при чем тут немцы, одернула себя; а для нее? Для Коли?

В школу пошли вдвоем: так было легче.

Учителя были единодушны, как сговорились: надменная, эгоистична, дерзка. Коля хмурился и мягко выговаривал Тайке, но дочка обиженно вытягивала губы трубочкой и демонстративно отгораживалась книжкой. Отец успокаивался: книги она читала хорошие, к отметкам тоже трудно было придрататься...

Упрек в лености Ирина не забыла. Вменила дочке в обязанность мыть пол, пока она на работе. Мебели немного, а проехаться мокрой тряпкой по блестящему полу — работа небольшая. Та отнекивалась и капризничала, что из нее «прислугу сделали», но мыла.

Как-то Ирина взглянула на плинтус и удивилась:

— Тайка, ты сегодня пол протерла?

— Конечно, — спокойно ответила та.

— А чего ж плинтус в пыли?

— Это папа, — обиделась Тайка и подняла на мать глаза. —

Ты думаешь, это я мою пол? Это папа.

«Мне ее жалко стало, — объяснил Коля, — она ведь маленькая еще, ну что такое десять лет? Пусть лучше почитает. Не сердись, родная...»

...Да разве Коля виноват, что она такая? Что он мог изменить — деликатный, молчаливый и, если не был занят своей ячейкой, погруженный в книги?

«Виноват-виноват», — стучали колеса поезда. «Виноват-виноват, — убеждали колеса, — вот отправил тебя с детьми Бог знает куда, а сам не поехал. Виноват-виноват».

«Не ви-но-ват», — оправдывали мужа колеса. Поезд замедлял ход и останавливался. Не ви-но-ват. Не ви-но-ваттт...

А кто виноват, спрашивала Ирина, кто? Разве легко ребенку без отца? В двенадцать лет осиротела!.. Верно, дого-

няла следующая мысль, а сын осиротел в восемь. Мальчишке что, легче? Однако вырос, выучился; позавчера из своего Севастополя письмо прислал: малыш здоров, жена работает; фотокарточку прислал, все вместе снялись... А Надькины дети? — Отца совсем не помнят.

Нельзя взваливать вину на мертвого. И на живого нельзя. И ни на кого.

Кроме себя самой.

Нельзя так обожать ребенка. Нельзя обожествлять кровь и плоть: грех. А грех не остается безнаказанным.

Ах, Коля, Коля!.. Иногда она почти радовалась, что он не видит, какой стала дочь.

Но ведь любили обоих, обожали обоих!

Почему?!

Почему в одной семье, от одних отца с матерью, вырастают разные дети? Любовь? Количество любви? Тот самый ломоть хлеба, которым мать никого не обделит?

Дочери досталось на четыре года больше любви, чем сыну. Но тогда ей самой досталось на тринадцать лет больше материнской любви, чем младшему брату! В чем истина, и временем ли измеряется любовь?

И — нет, неправда, что Коля всегда был занят книжками. Просто они для него и были самой настоящей жизнью. Ничего лучше, чем книги, люди не придумали, говорил он. Главное, чтобы дети читали; кто читает, тот не может вырасти плохим.

Дети читали.

Коля много читал им вслух; Ира тоже любила слушать. В эвакуации книги стали хлебом насущным, ибо отвлекали от хлеба и от мыслей о хлебе. Читали по очереди вслух.

Дети любили книги, но выросли разными.

Перед глазами мелькнула немка за роялем, но рояль почему-то оказался посреди магазина с игрушками. «Такая способная», — покачала немка головой и заиграла, а дети начали громко петь очень красивую песню о деревьях...

10

Чем неприветливей погода, тем уютней вечерами в комнате. «У нас почти как на картине!» — говорила внучка. Картиной она именовала скромную репродукцию в коричневых тонах, которую принес когда-то Коля и повесил над столом. Спросил: «Уютная, правда? — И добавил, помолчав: — У нас тоже когда-нибудь так будет». Небольшая, в книжную страницу величиной, картинка изображала часть комнаты с лампой на столе и две женские фигуры, отсеченные от остального мира спинкой дивана, на котором сидели. Теплый желтый свет падал на книгу в руках у одной из них. У обеих были высоко заколотые волосы, как причесывались в начале века, и блузки — или платья — со стоячими воротничками. Сестры? Мать с дочерью? Как странно, что она так и не спросила Колю об этом, замороженная бесхитростным обаянием спокойного уюта, и теперь не могла удовлетворить внучкино любопытство. Картинка прижилась — как приросла, хотя сменила уже третью стенку.

Коля ошибся: так никогда не было. Не сидела она с книжкой на диване ни с сестрой, ни с дочкой.

«И лампа, как у нас», — упрямо твердила Лелька; бабушка не разубеждала. Дышит теплом желтый кафель печки.

На трюмо, в любимой Ириной вазе, застыла пунцовая роза, которую ей вручила нарядная девочка «от имени пятого “А” класса». Внучка — коленки на стуле, локти на столе — в который раз читает «Азербайджанские сказки» под лампой, и лампа сегодня не гаснет...

— Лелька, тапочки не забыла? Завтра физкультура!

Девочка кивает, не отрываясь от толстой коричневой книжки. Бабушка заводит будильник, привычно крутя железный бантик к себе, против часовой стрелки. В соседней комнате зазвучали чужие голоса: гости, наверное. Неожиданно раздался громкий стук в дверь.

Отставив будильник, Ирина встала, но дверь уже распахнулась, и вошла Тайка, а следом за ней почему-то два милиционера. Показалось, что их не двое, а больше, потому что сзади маячили Надя и племянники. Сам собой слетел с губ вопрос: «Что случилось?», который задали бы сто человек из ста в подобной ситуации.

Вместо ответа один из милиционеров кивнул на иконы:

— Религиозную пропаганду ведете? — Не дожидаясь ответа, продолжал: — А спрашиваете, что случилось. — И повернулся к Таечке: — Забирайте ребенка.

— Собирайся, Ляля, — сказала Тайка, не глядя на мать, — где твои вещи?

Лелька спрыгнула со стула и бросилась к бабушке. Второй милиционер пытался перехватить ее, но не успел.

— Куда? — Ирина смотрела то на Тайку, то на старшего милиционера. — Куда вы забираете ребенка на ночь глядя? Ей спать пора, завтра в школу.

— За ребенка отвечаю я, — объявила Таечка, — и за школу тоже. Пусть тебя это не волнует.

— Что, — бабушка повернулась к милиционеру, — разве такой закон есть, чтоб ребенка из дому уводить Бог знает куда?..

— Опять «Бог», моя мать ни шагу не может ступить без Бога, — пожаловалась Таечка, и милиционер согласно кивнул.

— Закон есть, гражданка, — веско заговорил он, обращаясь к Ирине, — что дети должны жить с родителями. Вы можете пройти с нами вместе в детскую комнату милиции, где мы оформим процедуру.

Слово «процедура» ни одному ребенку не сулило ничего хорошего, а в комплекте с милицией тем более. Лелька рвалась и лягалась, но стражам порядка удалось поставить ее на ноги и удерживать в этом положении, пока Тайка застегивала на дочке пальтишко. Громкие крики и плач девочки внезапно смолкали, когда голова утыкалась в грубые синие шинели.

— Что вы делаете?! Разве это преступник, это ребенок! С кем вы, с детьми воюете?.. — Ирина рванулась к внучке и обняла ее, отталкивая колючие шинели, заговорила быстро и ласково: — Не спорь, ясочка моя, не плачь; все равно уведут. Я с тобой пойду, не может такого быть, чтобы... Ты не бойся, тебе ничего не сделают, не плачь только, ты...

— Да что вы тут, в самом деле, агитацию разводите? — возмутился милиционер и резко дернул девочку за руку, — в детской комнате объясняться будете. Мы свой долг исполняем.

— Долг?! Это долг ваш, ребенка силой?..

Но те не слушали и тащили в четыре руки упирающееся пальтишко, и помпон на шапке метался цветным шариком

между синих шинелей. Сдернув с вешалки платок, бабушка кинулась следом — по лестнице, в темень улицы, сквозь промозглый ноябрьский ветер. На ходу она говорила что-то, но уже только девочке, хотя едва ли та слышала: бабушкин голос срывался, а ветер жадно подхватывал и уносил нежные слова.

До детской комнаты милиции был всего один квартал. Гуляя, они с внучкой часто проходили мимо одноэтажного белого дома с большим окном, где стояли выгоревшие, запыленные игрушки. «Давай зайдем?» — Лельку распирало любопытство. «Зачем?» — «А написано: ДЕТСКАЯ КОМНАТА». — «Это для других детей». — «Каких?» — «Беспризорных, наверно, — предположила бабушка, — и игрушки для них». А про себя подумала: сюда добровольно не ходят, нет.

Вот и пришла — добровольно. Прибежала.

За столом сидела женщина в синем кителе и что-то сосредоточенно писала в большой толстой книге. Закончив, промокнула написанное утюжком пресс-папье и сочувственно повернулась к Таечке:

— Я вижу, у вас все уладилось?

— Я не знаю, как к вам обращаться... Вы тут начальница, наверно, — начала Ирина, — так вы ответьте, почему ко мне в дом врываются милиционеры и силой уводят ребенка?!

Женщина снисходительно кивнула:

— Сначала вы ответьте: вы в Бога верите?

— Верю!

— Тогда мне все понятно.

Ирина ждала, когда же начальница объяснит хоть что-то, но та заговорила о тлетворном влиянии, а потом почему-то о баптистах; Таечка энергично кивала и соглашалась. Что

им эти баптисты дались, удивилась Ирина, но тут же забыла и не заметила даже — и никто не заметил — как говорить стала одна Тайка, а женщина за столом кивала и вставляла отдельные слова.

...Сосредоточиться бы на разговоре, запомнить его, чтобы потом восстановить по сказанным словам: вдруг удастся понять, — но слова были такие дикие, чужие и страшные, страшные вдвойне, потому что их произносила Тайка, ее плоть и кровь. Память из-за этого сопротивлялась, отнекивалась, услужливо запоминая, вместо разговора, лицо женщины за столом. Оно и впрямь было примечательным: круглый выпуклый лоб и подбородок заметно выступали вперед, тогда как глаза сидели очень глубоко, а нос был маленьким и плоским, от чего все лицо казалось, наоборот, каким-то вогнутым, втянутым в глубь черепа. Женщина не выглядела ни уродливой, ни старой. Возраст ее застрял где-то между Ириным и Тайкиным, рот был накрашен, бледные волосы завиты в парикмахерской, но из-за этой странной вогнутости лица смотреть на нее было как-то неловко.

Милиционеры тоже слушали, с привычным вниманием казенных людей, как две женщины перебрасываются одними и теми же словами, чаще всего повторяя особенно понравившееся: *религиозное мракобесие*.

...в атмосфере ладана...

...религиозный экстаз...

...общественность...

...попустительство...

...сектантка...

...тлетворное влияние...

И совсем уже неизбежное: «опиум для народа».

Это моя плоть и кровь. Отрада моего сердца.

Наконец, слаженный дуэт о религиозном мракобесии иссяк, и начальница с торжеством посмотрела на бабушку:

— У вас есть еще вопросы?

— Да, — Ирина подалась вперед, к столу, — есть. Вот вы — женщина; у вас дети есть?

— Нет, — неприязненно удивилась та, — и я не понимаю, какое отношение?..

— А вот какое отношение, — страстно продолжала бабушка, — я скажу вам, какое отношение. Дай вам Бог, чтобы у вас была дочка! И пусть ваша дочка сделает вам то, что моя дочка сделала мне. Тогда вы поймете, что вы сами сегодня сделали этому ребенку!..

Она нагнулась к Лельке, не обращая внимания на возмущенную фигуру, поднявшуюся из-за стола, тщательно вытерла своим платком красное зареванное лицо и крепко обняла внучку. Ни на кого больше не посмотрев и не оборачиваясь, быстро вышла и так же быстро, пока держали ноги, пошла домой.

Дома стояло другое время.

Горела лампа над Лелькиной раскрытой книгой. Горела лампа на картинке, где тоже была раскрыта книга. Пламени две розы «от имени пятого “А” класса»: вторая, глядящая из зеркала, казалась темней. «Таки так», — соглашался будильник. За стеклом иконы толпились святые в светлых одеждах, чуть склонив головы с нимбами. Ростовские. Тот, что в темном плаще и со свитком в руках — Сергей Радонежский. Они смотрели на Ирину темными печальными глазами, зная, что ничего нельзя объяснить. Знали, что Лельку

никогда не заставляли молиться или соблюдать посты, ибо нельзя силой приохотить к слову Божьему. Знали, что бессмысленно доказывать это бабе из детской комнаты, потому что нельзя достучаться до глухих. Знали, что Тайка сегодня лжесвидетельствовала, а проще — врала, бессовестно врала и прилюдно оболгала ее, словно никогда не были сказаны слова: «Чти отца своего и мать свою».

«Таки так, — сказал будильник, — таки так».

Бабушка сняла, наконец, платок. Долго непонимающе смотрела на собственное пальто, пока не сообразила, что выбегала без него, в одном платье. Потому и плечо ломит, вон ветер какой. Внизу под вешалкой повис спущенным шариком голубой полотняный мешок.

Тапочки для физкультуры.

Другие, матерчатые, в которых внучка ходила дома, валялись у стола. На одном отпечатался крупный темный след сапога.

Ростовские святые взирали скорбно из своего религиозного мракобесия: знали.

И про тапочки, и про мракобесие.

Не знали только, какво это — потерять дочь.

«Таки так, — задумался будильник, но не остановился, а продолжал повторять: — таки так, таки так».

Сначала она нашла Тайку — давно, девять с лишним лет назад; сегодня потеряла.

Сейчас казалось, что найти было легче, хотя...

Память тут как тут.

Девять лет назад, как девять страниц... Октябрь только начинался. Сегодня Тайку с новорожденной девочкой долж-

ны выписать из больницы. Ирина придирчиво выскребла комнату, пересчитала — в который раз — наглаженные пеленки, а дочка все не появлялась. Сбегала в аптеку: тальк, вазелин... Не выдержала — решила поехать в больницу сама: встретить, но в дверях была остановлена голосом Матрены. Мать хмуро, но спокойно объяснила, что Тайка приходила со своим ублюдком, и она ее выгнала.

Сколько раз Ира пробежала челноком по знакомым улицам и улочкам!.. Знала: далеко не ушла, не могла уйти: больная после родов, с младенцем на руках. Вынырнула из проходного двора около парикмахерской и растерянно остановилась. Кивнула проходившей цыганке. Они не были знакомы, никогда и не разговаривали, однако с молодости жили рядом и привыкли раскланиваться. Заправила под платок выбившиеся волосы и повернула было назад, но цыганка заступила дорогу:

— Пропажа у тебя. Знаю. Ищешь?

От бессильного гнева сдавило горло. Да что же это! Родная мать выгнала, чужой человек издевается... Попыталась обойти нахалку, но та снова заговорила, спокойно и медленно, а не так, как другие цыганки галдели у вокзала:

— ...случайно встретила. Я узнала ее — что ж, я твою дочку не знаю? И дочку знаю в лицо, и сына. Она с дитем шла, да только не домой, а из дому. Куда, думаю? — А она к реке повернула. Я за ней по другой стороне пошла. Идет медленно так, но не оборачивается. То под ноги смотрит, то на дите, но не улыбнется. Хорошо, что я догнала...

— Где они? — выдохнула Ирина.

— Целые, целые. Да не трясь ты!.. Говорю же, я ее догнала и к себе отвела. Пойдем.

Идти было недалеко. Серый трехэтажный дом стоял рядом с баней и, сколько Ира себя помнила, назывался «цыганским», потому что никто, кроме цыган, там сроду не селился. Хозяйка бесшумно и быстро шла рядом с Ириной, досказывая нехитрый сюжет. На лестнице обернулась и закончила неожиданными словами:

— У ней света в глазах не было, — отомкнув дверь, пропустила спутницу вперед.

Кроме огромной низкой кровати, в комнате ничего не было. На самой кровати тоже не было ничего, даже матраца; Тайка сидела на голых досках, вытянув губы трубочкой и уставившись на пестрый сверток со свисающей бахромой. Она не удивилась при виде матери и не двинулась с места.

— Домой, — коротко велела та и содрогнулась при мысли о том, во что завернут младенец. Должно быть, это отразилось и на лице, потому что цыганка усмехнулась:

— Не бойся. Вшей у нас нет, даром что цыгане, — и опять усмехнулась презрительно. — Я платок свой дала: на ней все мокрое было. Принесешь потом.

...Принесла, выстиранный и наглаженный, а к платку добавила еще кое-чего. Добавила бы и больше, да не с чего было. Цыганка свела брови: «Забирай назад. Вам сейчас самим нужней». Ира волновалась, совала в руки; заплакала. «Ты слезы-то побереги, — усмехнулась та, — пригодятся. А что я живую душу спасла, того не откупишь».

Ты две души спасла, да мою в придачу. Но вслух сказать не осмелилась, да много ли выговоришь сквозь слезы?

Все же заставила спасительницу взять кусок мыла, когда прощались.

И слезыгодились; цыганка как в воду смотрела.

Теперь Ирина знала, что зовут ее Марией, но иначе как «Лелькиной цыганкой» про себя не называла. Та, в свою очередь, всегда спрашивала про «маленькую крестницу», когда встречались.

Ира не переставала удивляться, как зорко цыганка увидела в дочке то, чего она сама не замечала: «У ней света в глазах не было».

Сегодня, девять лет спустя, у нее тоже не было света в глазах. Блеск — был, а света не было.

...Хорошо бы натереть чем-нибудь на ночь застуженное плечо: болело так сильно, что немела левая рука, — но не было сил ни что-то искать, ни даже думать об этом. Кровать будто отодвинули куда-то далеко, но бабушка все же дошла до нее и легла, чтобы не сказать — повалилась.

11

И было утро, и был новый день.

Будильник возвестил начало этого дня сипловатым, но добросовестным бренчанием, после чего утратил к нему всякий интерес.

Что понятно: утро было серое, холодное, неприветливое, и трудно было представить, что из такого утра можно соткать хороший день. Ноябрь, однако же, ноябрем, но утро начиналось совсем неправильно, разве что диванный валик в соседней комнате упал с глухим стуком, как падал каждое утро; ну и что?

Будильник прозвонил, да кто ж его слышал? Во всяком случае, не бабушка, потому что она вообще ничего не слышала.

Удивилась Надя: золовка не только не собиралась на работу, но даже кофейник не ставила и, похоже, вообще не вставала. Вчерашний вечер оказался необычайно богат впечатлениями, и хотя Надежда изнывала от недостатка информации, слова «религиозная пропаганда» и «детская комната» давали обильную пищу для размышлений по пути на работу.

Когда она вернулась, соседняя комната все так же не подавала признаков жизни. Поколебавшись, Надя тихонько постучала. Ушла. К Тайке побежала, не иначе. Одновременно с этой мыслью уже закралось слово «иначе» и неосознанная надежда на это «иначе», что означало бы конец проходной комнате, воплощение мечты... Часто-часто застучал пульс, и не мысль, а видение нового дивана для Геньки вырисовалось, благо, место будет... Отступила на шаг, испугавшись, и даже взгляд отвела от двери, попятилась; глаза растерянно заметались по стенке и привычно остановились на образе в углу. Лампадка не горела. В ранних ноябрьских сумерках тускло поблескивал серебряный оклад иконы.

Николай Чудотворец, избавитель от многих бед.

Она осторожно потянула ручку двери, и дверь оказалась не заперта.

Ирина лежала на спине, прижав руку к груди, и глаз не открывала.

Никакой дилеммы и никакого соблазна у Нади не осталось, и думала она уже на бегу, а бежать, она понимала, надо очень быстро.

...Вместе со «скорой помощью» торопливо вошел уличный холод, вспыхнул свет, и кто-то отодвинул «Азербайджанские сказки», чтобы поставить эмалированный поднос,

куда громко падали сломанные ампулы. Генька был срочно отправлен к Тоне, да так, чтоб одна нога здесь, другая там, что тот добросовестно исполнил. Тоня приехала с мужем, захватив посланника, и такси затормозило прямо за машиной с красным крестом. Если бы Генька знал, что мать сегодня почти вымечтала ему новый диван, может, он меньше блаженствовал бы от поездки в легковой машине, хотя едва ли: любой мальчишка предпочтет дивану автомобиль; а остальные Надины чаяния ему и знать не надо.

Врач «скорой» колебался: везти больную рискованно, и приезд родственника-медика оказался как нельзя кстати.

...Кто мог знать, что детская комната способна наградить такой взрослой болезнью, как инфаркт миокарда?

Много позже, после больницы, после утомительного безделья дома — слава Богу, хоть книг хватало — Ирина вернулась на работу. Не на «Большевичку»: слишком далеко ездить, — а поближе к дому, в небольшую мастерскую, где шили плащи.

Скопилось несколько писем от сына, из Севастополя. Пока написала ответ, изорвала несколько листов, потому что правду рассказать было невозможно, а тогда как?.. Да очень просто: обойтись вообще без «как», ограничившись тем, «что». Таечка, мол, забрала Лельку жить к себе, я поменяла работу: теперь шью плащи; как вы, родные, как малыш? Ничего, что коротко. Левочка заподозрил неладное, написал бестолковое письмо крестным, словно Тоне с Федей мало своих хлопот. Обоих родителей, сначала Максима, потом Матрену лучшим врачам показывал, по больницам бегал; не то что зять — не всякий сын бы это делал.

А с нею сколько возился, Господи!.. Если б не Федя, давно уже на кладбище лежала бы.

Если бы не Надя, поправила себя, ибо как раз Надя первой поднесла ей стакан к губам. Могла этого не делать и совсем не подходить: ей же и легче было бы.

Золовка вернула долг: отплатила добром за добро. Может, жизнь этим и держится? Я выполнила долг перед братом — она вернула долг мне?

Между ними ничего не изменилось, нет: отношения не потеплели, и пробки выкручивались по-прежнему, в зависимости от Надиного настроения. Но Ирину это перестало раздражать. Лелька теперь делала уроки не здесь, а тогда какая разница, горит лампа или нет? Думать можно и в потемках. Когда свет уличного фонаря падал на стену, где висела картина, она вспоминала, что там горит лампа и открыта книга. Фонарь высвечивал тусклый прямоугольник, в котором сам же и отражался.

Нет, ничего не изменилось, но что-то произошло, о чем знали только Надя и Ирина. Да еще, пожалуй, Николай Чудотворец. Одно дело — кокетничать перед Тайкой: «мы поклоны не бьем», а другое — зажечь лампадку перед образом. Можно назвать это как угодно, хоть привычкой. Не исключено, что она надеялась на исполнительность Чудотворца, умеющего спасти не только *от потопления*, но и *от уз и темницы*, и *от плена*, и *от посещения мечом*, а в таком случае лампадка — цена пустяковая; коли муж домой вернется — хоть день и ночь гори. Он, Николай Чудотворец, спас ее от черной мысли, а значит, от несправедного деяния, пусть даже несправедность состояла бы в отсутствии всякого деяния.

Мокрые спички — одно дело, а бездейственность... это мокрое дело.

И лампадка бы не помогла.

Ирина не любила вспоминать болезнь. Жизнь изменилась, но изменилась не из-за инфаркта, каким бы обширным он ни был. Приходилось всегда носить с собой стеклянную трубочку нитроглицерина, заткнутую ватой, словно простуженное ухо, а сверху еще пробкой. В нитроглицерин она не верила, как не верила в валидол, а валерьянку и в доме не держала: от одного только запаха, пронзительного и тревожного, делалась больной.

Не лекарства ей были нужны, а внучка; тогда и не лежала бы так долго.

Все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Среди родственников началось какое-то нерешительное шевеление. Активнее всех, по обыкновению, волновались сестра с мужем. Что-то в разговоре с подружкой юности неосторожно протараторила Надежда, все еще во власти катарсиса; в том числе упомянула о Тайкиных визитах, охотно сместив акценты; потом прикусила язык. Слова, спору нет, — серебро, однако молчание — золото. Племянники тоже внесли свою лепту, особенно Генька, имевший некоторые основания держаться от милиции подальше, а тут двоюродная сестра милицию в дом приводит. Радость от того, что не за ним, после всех страхов-то... Иными словами, катарсис номер два в семье из трех человек. Людка пробубнила, что Таечка «смешно рассказывала» о школьном празднике.

Таким образом, все сводилось к Тайке.

Феденька как врач знал, насколько важен для выздоровления эмоциональный фактор.

Тоня взялась «помирить этих дурых».

Приступила к своей добровольной миссии уверенно, словно ведомая афоризмом: нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Угрожающих слов, конечно, не знала: всю жизнь держалась в стороне от большевиков; однако интуитивно начала с крестницы — была уверена, что осада потребует серьезная. Отправилась днем, когда Лелька, по ее расчетам, была в школе.

Тайка только что покормила малыша и теперь сцеживала остатки молока прямо в раковину. Когда ей в лицо брызгала тоненькая струйка, брезгливо щурилась и отворачивалась. На плите высилась шаткая башня немытой посуды.

— Танта! — радостно закричала Тайка (она всегда обращалась к ней на местный манер), — вот хорошо, что зашли! У матушки на меня, чувствую, камень за пазухой, а я просто зашиваюсь, — она ловко сунула грудь в лифчик и застегнула кофту.

«Не знает? — изумилась Тоня, — быть не может. Главное — спокойно, без горячки; не может быть, чтоб не знала».

— Знаешь ли ты, — начала сдержанно и медленно, но тут же покатила, словно по накатанной горке, — что ты довела маму до инфаркта? — Тоня сделала эффектную паузу. — Что она чудом осталась в живых?..

— Кошмар! — Таечка приложила руки к вискам, — кошмар. И ведь я говорила!..

Тоня уже приготовилась к новой тираде, но Тайка ее опередила:

— Я как чувствовала, танта, ей-Богу, — в Тайкиных устах «ей-Богу» было просто речевым оборотом и к Богу отношения не имело, — вот как чувствовала: не надо было ей туда ходить.

— Куда?!

— В школу, — со скорбным спокойствием пояснила Таечка, — куда же еще. Я понимаю: пятьдесят лет, большое событие, то-сё, но кому это было надо? Матушка так переволновалась, пока ей слово дали, — она укоризненно покачала головой, — так переволновалась, что я не удивляюсь...

— Что ты мелешь? — забыв про спящего младенца, с негодованием взвилась Тоня, — при чем тут школа?! Это что, школа привела милиционеров? Это школа потащила твою мать в милицию? Скажи!..

— Скажу, — скорбь из Тайкиного голоса исчезла, осталось одно спокойствие, — скажу. Нет, школа этого не сделала, к моему огромному сожалению. Поэтому я сама вынуждена была обратиться в органы, поставить на ноги общественность...

— ...и свалить с ног мать, которая растила и воспитывала твоего ребенка девять лет! — гневно закончила Тоня.

— Растила — спасибо, — иронически улыбнулась крестница, — дети не фикусы, их поливать не надо: сами растут. А матушкино воспитание, танта, я каждый день расхлебываю, так что извини-подвинься.

Раковина с потеками, кучки мокрых пеленок прямо на полу, темное пятно сырости на стенке, похожее на двугорбого верблюда — все это отступило перед Тайкиным «извини-подвинься» — невероятными словами в устах племянницы и крестницы, невозможными до такой степени, что захотелось буквально отодвинуться от всего этого, и Тоня неволь-

но подобралась, вжимаясь в стул. Нужно было бы встать и уйти, но держала миссия.

— ...не позволю, — уверенно закончила Таечка, — а захочет нас повидать — милости просим, дверь открыта!

Зная сестру всю жизнь, Тоня легко могла вообразить ее в этой замызганной тесноте: сразу кинется скрести, мыть, оттирать, как сделала бы она сама, живи ее дочка, не дай Бог, в таком свинарнике. Повернула голову, услышав тиканье будильника на этажерке, деловито сверилась с наручными часиками: мне пора. Лёлиньке привет; заходите. Подвинула к Тайке аппетитно пахнущие свертки и решительно встала.

Вечером Федя внимательно выслушал сумбурный отчет о миссии жены, кивая именно в тех местах, где ожидался кивок, и медленно покачивая головой там, где только такое неодобрительное покачивание было уместно. Он как раз снимал наручные часы, когда грянуло «извини-подвинься», а здесь можно было только недоверчиво поднять глаза. Оба давно научились реагировать на внешние события одинаково, а потому пришли к единому выводу: супруги живут, слава Богу, в полном согласии, если даже лексикон у них общий; можно лишь пожалеть о его уровне.

Они единодушно промолчали о том, как может вписаться в дружную семью Лелька; представить это было нелегко. Никому из них не случилось оказаться тем ноябрьским вечером в квартире, куда Тайка втащила икающую от слез дочку. Девочка не заметила, когда и куда исчезли оба милиционера, провожавшие их на троллейбус, и решила, что синие шинели просто растворились в густой холодной темноте. «Чего ревешь? В тюрьму тебя, что ли, привели?» — прикрикнул вместо приветствия отчим.

В тюрьму.

Однако крестных там не было. Но бабушки, увы! — там не было тоже, и не только в тот вечер: она больше не заходила в дочкину квартиру.

Никогда.

Да не посчитается это опережением событий, если сказать, что Тонина миссия оказалась выполнена только наполовину.

А значит, провалилась.

Вторая крепость, которая, на ее взгляд, не требовала усиленной осады и была к тому же изнутри взорвана инфарктом, оказалась неприступной! Сестра пресекала любую попытку заговорить о дочери, пресекала одной только фразой: «Дай покой».

— Прокляла ты ее, что ли? — испуганно и яростно воскликнула Тоня, выведенная из себя. — Это твоя плоть и кровь!..

Ничего, кроме «дай покой», на этот вопрос и упрек Ира не ответила. Ничего не спрашивала о Тайке и не отвечала на вопросы, которые задавали ей.

Она умела молчать.

Прокляла?! Нет — отшатнулась.

Но внучка, третий ребенок... Как же?..

Никто не знает, какая рана в душе болела сильнее: от дочери, которую отторгла сама, или от внучки, отнятой дочерью. А разве не все сказано диагнозом? Ведь инфаркт назывался прежде *разрывом сердца*.

Живое сердце было разорвано на две части, и обе кровоточили.

Говорят, время лечит. Нет, это мы «лечим» время. Так происходит не только с человеком, но и с человечеством, иначе у людей не возникало бы потребности снова и снова переписывать историю, науку о прошедшем времени. Время миновало, оставив за собой содеянное и, разумеется, ничего не исправив и никого не вылечив, и помчалось дальше, предоставив людям бродить по развалинам, вести раскопки и воссоздавать минувшее с разной степенью достоверности: то близко к тексту, то правдоподобно — и потому особенно убедительно, — а то искаженно, словно в кривом зеркале.

Так и память отдельного человека редактирует прошедшее, исправляет самоё себя, одно вычеркивая, другое стирая, третье вынося за скобки, чтобы облегчить, смягчить боль, которая будит по ночам. Но не всякую боль можно заживить: рана, нанесенная собственным ребенком, не зарубцовывается никогда.

Ирина настолько устранилась из жизни Тайки, что перестала ходить по той улице, где она жила, а всегда выбирала другой путь.

Единственным посредником между матерью и дочерью была Тоня, но слово «посредник», пожалуй, не вполне правомочно, ведь посредничество предполагает наличие двух сторон, контакт между которыми посредник и обеспечивает, в то время как Ирина ни на какой контакт не шла.

В Тайке несколько поубавилось заносчивости. Она держалась, к удовлетворению крестной, уже не так уверенно. Торопясь ковать железо, пока горячо, Тоня пригласила обеих (независимо друг от друга, разумеется) «на чашку чая» — и потерпела крах. То ли Ира услышала из прихожей дочкин

голос, то ли разглядела на вешалке знакомое пальто, но факт то, что своего снимать не стала, и даже Федя не смог ни задержать ее, ни вернуть.

Конечно, Тоня не была бы Тоней, если бы ограничилась одной такого рода попыткой посредничества. Нет, конечно; да и «сколько можно играть в дочки-матери?», возмущалась она сестрой, твердо надеясь, что та не выдержит.

Тогда вмешался Федор Федорович — не только как муж своей жены, но и как врач, — и объяснил Тоне, что скорее не выдержит Ирино сердце. «А второй инфаркт она не перенесет», — сказал твердо и даже добавил Ирино «дай покой».

Таечка впала в оторопь.

Потом растерянно сообщила крестным, что будет по воскресеньям отпускать дочку «к матушке в гости; мы так решили».

Тоню и Федю покорило слово «в гости», едва ли применимое к дому, где ребенок прожил всю жизнь, но оба вздохнули с облегчением. Рано, впрочем: Тайка не была бы Тайкой, если бы капитулировала так просто. «По воскресеньям» не означало «в каждое воскресенье» и даже не «через воскресенье», а зависело от целого ряда условий: если будет убрана квартира, если девочка будет хорошо себя вести, если Ленечка, у которого резались зубки, не закапризничает, если... Визиты к бабушке управлялись разными «если», но крестные об этом не знали.

Бабушка знала: школа-то рядом.

По пути на работу она заходила в знакомую полутьму каменного свода и ждала знакомого звука бронзового колокольчика. Внучка прибежала и сразу утыкалась лицом в ее пальто. Если больше уроков не было, они шли вместе по ули-

це, озабоченные только одним: идти как можно медленней. Обе мечтали о воскресенье, стараясь не думать, что оно может не состояться. Как на прошлой неделе, когда отчим обнаружил не вытертую на этажерке пыль.

Трудно сказать, что эти встречи делали больше: радовали или рвали душу, но хорошо, что они происходили.

Строго говоря, их не должно и не могло быть. Школа получила нарекание от детской комнаты милиции за недопустимую терпимость к религиозной пропаганде среди учащихся, точнее, среди одной учащейся. Женщина со странно вогнутым лицом, в темно-синем кителе с погонами, провела беседу с завучем. Завуч сокрушенно кивала, полностью соглашаясь с нею, но далеко не сразу сообразила, что религиозную пропаганду вела первая выпускница школы, говорившая такие странные и трогательные слова на школьном торжестве.

Ирина не знала о директиве «Контакты с бабушкой не допускать». Старая немка, которую она встретила в школьном коридоре, торопливо увлекла ее в пустой класс и перевела казенные слова на человеческий язык, хоть они не стали от этого человеческими.

Дальше гардероба бабушка не ходила и бывать в школе каждый день опасалась.

Не за себя — за внучку.

Шло время, равнодушно отсчитывая недели от воскресенья до воскресенья, шло — и ничего не лечило. Ирина мысленно зачеркивала «пустые» воскресенья, которые без внучки тянулись особенно долго.

Время шло; дамы на картине все так же увлеченно читали свою книжку и не могли дочитать. Или это была уже

другая книжка, и бабушка с внучкой не заметили, как она появилась?

Время шло; пора было собирать документы для пенсии.

12

На самом деле этим следовало заняться давно, еще год назад, да случилось так, как обычно случается, когда не хочется что-то делать. Мысль о необходимости этого «чего-то» мешает, как, скажем, трещина на потолке, влекущая за собой неизбежность ремонта, а что такое ремонт, объяснять не надо. Слово «бабушка» наполняло сердце гордостью, в то время как «пенсионерка» пугало и повергало в уныние: представлялись мутные очки, тощий седой узелок волос, задрипанное пальтецо и боязливые мелкие шажки. Старушонка, одним словом.

Ну так и Бог с ней, с пенсией. Как и с трещиной на потолке.

Конец неопределенности положил казенный человек, начальник отдела кадров. Был он, как принято, не то майором, не то подполковником в отставке, а внешне удивительно напоминал лешего, так и не прижившегося в городе: тощий, с шишковатым носом, из которого торчали волосы, похожие на мох, и длинными узловатыми пальцами, желтыми от табака. Только на правом мизинце ноготь был необыкновенно длинным и ухоженным, хоть и загибался наподобие пергаментного свитка. Кадровик говорил дребезжащим голосом и был однофамильцем композитора Лядова. Последнее обстоятельство любопытно тем, что

звали его Борис Борисычем, и документы он подписывал строго по правилам: ставил сначала инициалы, а затем фамилию... Объяснил Ирине, что в нашей стране пенсионный возраст для женщин — пятьдесят пять лет, после чего достал из-за волосатого уха карандаш и отметил выдающимся своим ногтем что-то на листе бумаги: «Это если вы работаете... что, с восемнадцати лет? А-атличненько... Стало быть, общий рабочий стаж у вас сорок лет! Вы а-атличненько заслужили законный отдых, пусть молодые столько поработают...» И отправил «улаживать формальности» в исполкоме.

Бумага, которую начальник вручил бабушке, содержала ее анкетные данные, а более ничего, кроме поперечных линеек на голубом фоне. На обороте, впрочем, было отпечатано на машинке: «Мастерская № 2 по пошиву плащей», а строчкой выше — «Комбинат “Большевичка”», и проставлены годы.

Остался пустяк: уложить сорок лет труда в голубой бланк.

Тоня дала разумный, как всегда, совет: начни с конца, легче будет.

Если бы можно было сесть, открыть чернильницу... Нет, сначала написать карандашом, на другом листке, но просто — взять и написать так, чтобы карандаш не зависал беспомощно, остановленный непрошеным воспоминанием. Зачем оно здесь, незваное?.. Помню, и так помню; прочь!

Не получалось.

В напечатанном слове «Большевичка» перекладина у заглавной буквы вышла бледной, словно присыпанная снегом. Тем снегом, который был неотделим от треска будильника

спозаранку, от холодной улицы — не столько из-за зимы, сколько от привычного голода, выношенного пальто и самодельных тряпичных бурок на ногах, еще спасибо, если калоши были. Серый утренний снег был изредка разбавлен желтыми пятнами фонарей, а трамвай когда приходил, а когда и нет, поэтому на работу часто приходилось ходить пешком.

Шла прямо по рельсам. Минуя Московский форштадт, рельсы обходили дугой Старый Город и прорезали Петербургское предместье (район по-нынешнему), а потом убежали в бывшее чистое поле, где когда-то пасли коров, отчего этот район так и назывался: Большой Выгон. Название осталось, в отличие от коров, но землю застроили фабричными корпусами. Огромные окна «Большевички» ярко светились в темноте зимнего утра. Из окна цеха был виден белый снег и черные тонкие рельсы, а на швейной машине высилась гора белоснежной ткани.

С конца так с конца; сестра права.

Перед «Большевичкой» была война, но об этом не нужно, нужно о работе. Прямо от «Большевички» вытянулось снежно-белое полотно: дорога назад, в Поволжскую степь, в «Заготзерно».

Должность? Сторож. Или писать: «сторожиха»? Вспомнила свой мешковатый ватник, сапоги и толстый платок, в котором трудно было повернуть голову. Ни баба ни мужик... Карточные нормы, мизерные по военному времени, никого прокормить не могли. Нужно было ходить с карточками за продуктами в сельпо, за три километра, а потом, с драгоценным трофеем, назад, через снежную степь, и запах хлеба был невыносим. Он мучил, дразнил, искушал, нашептывая

самые убедительные доводы: кусочек, один кусочек отлomi, иначе не дойдешь, а дети хлеба ждут...

Один маленький кусочек, только одну крошку; это ведь на всех буханка, а тебе надо добраться до дому.

Не она — рука послушалась соблазна и сама потянулась к буханке, замерзшие пальцы отломил краешек теплой корки.

Главное — не жевать: сосать. Сосать можно долго, а жевать там и нечего, только ломтик корки.

А дети как обрадуются! Шутка сказать: целая буханка, 800 граммов.

Снег хрустел под ногами. Пальцы отломил еще одну крошку, маленькую совсем. И еще. Идти оставалась всего ничего, уже скоро; и рука вновь потянулась за пазуху, где лежала буханка.

Она ускорила шаги — идти стало намного легче и теплее, — а свободную руку засунула в карман. Идти оставалось всего ничего.

И хлеба столько же.

Нет, меньше: ничего.

От буханки не осталось ничего.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее...

Не рука соблазнила — хлеб.

Не отсекала, но вцепилась зубами в запястье изо всех сил, так, что потекли слезы: от боли, от стыда и от беспомощности...

В другой раз, тоже зимой, возвращалась из магазина уже в сумерки. Мела поземка. Надо было торопиться: степь есть степь, дорога узкая; если заметет, то ворон костей не сыщет. Ирина часто оглядывалась, не едет ли кто с телегой. Нет; только пес какой-то трусил сзади.

А и пусть; с собакой веселее. Приостановившись, она обернулась и неумело свистнула, подзывая пса. Тот не подбежал, а, наоборот, попятился.

Ветер усиливался. Он взвихривал и крутил мелкий снег. Надо было прикрывать глаза, но как раз этого нельзя было делать, чтобы не сбиться с дороги, пока ее совсем не замело. Ира обернулась почти безотчетно и увидела уже трех собак. Она остановилась, и все три тоже встали. Потом медленно двинулись вперед.

Волки.

Настоящие степные волки, никакие не собаки.

Голодные. Как я.

Надеяться можно было только на молитву — и на инстинкт. Повернуться и бежать немислимо: бросятся на спину. Так загрызают лошадей.

Она поправила за пазухой буханку, завязала потуже платок. Оглянулась еще раз и пошла вперед по свежим штрихам снега. Знала: *эти* тоже идут.

Или бегут.

Не выдержала: повернула голову, насколько позволял платок. В нагрудном кармане шуршал сверток с махоркой.

А спички! Спички в кармане!..

Ира вытащила коробок (не уронить бы, Господи Иисусе), чиркнула сразу несколько спичек и успела прикрыть огонек от ветра; чиркнула еще раз.

Волки остановились, а она быстро пошла вперед, заставляя себя не бежать.

Так и прошла остаток пути. Пережидала порыв ветра, оборачивалась, зажигала спичку, другую... И снова шла.

...Что еще? Указать годы, когда работала.

С сорок первого по сорок шестой.

Цифрами, конечно, как же еще писать. Документ ведь.

Война кончилась, а Ирина все работала в «Заготзерне», и только через год они смогли уехать. Им еще повезло, а другие остались ждать эшелона по имени Судьба, чтобы вернуться домой. Как в сорок первом земля гудела от переполненных поездов, везущих солдат на войну, так и теперь они шли переполненными: фронтовики возвращались. А что медленно, так ведь сколько рельсов и мостов взорвано за время войны, да и эшелонов стало намного меньше.

Как и солдат.

Дорога домой почти не запомнилась. Оказывается, очень трудно отрываться от людей, с которыми свела общая судьба. Чужие места и чужие люди за пять с лишним лет перестали быть чужими, и прощаясь плакали, обещали писать, хотя куда писать-то? Все рвались домой, а дом у кого где... Куда писать-то?

В Михайловку.

Не написать было нельзя. Не потому, что ждали ее письма, а просто связь с Поволжьем была такой тесной, что сама не смогла не написать. Словно еще раз прошла по Михайловке от своего дома, минуя сельсовет и «Заготзерно», до самого большого оврага, где кончается деревня. Отправила на имя Баси — так приятно было называть ее по имени — хоть Бася Савельевна ничем не напоминала подругу юности.

«Здравствуйте, дорогие!»

Ну, вот я и дома. Живу я с мамой, но буду вам писать все по порядку. Сначала долго сидели на станции в С, выехали только в следующее воскресенье, а в Город приехали в чет-*

верг, да; ехали сравнительно скоро. В Москве была пересадка.

Так, дорогая Басинька... Моего мужа убили еще в 41-м году, и если бы я не уехала, то он, наверное, был бы жив. Но что же теперь делать? Знать, судьба такая. Но знаете ли, где только я прохожу, то не могу идти спокойно — ведь всюду он ходил, везде его ноги касались земли... Была я и на кладбищах. Видела памятники, уже новые, поставленные погибшим, а моего мужа среди них нет. Он в 40 километрах от Города. И вот, я еще не могу туда пойти, но все же пойду, я не успокоюсь, пока я не буду на той земле... Я очень плохо себя чувствую, но не лежу, нет, а все хожу и хожу...

Пока я дома, еще не работаю, ведь я только с дороги. Тут большая перемена во всем: в одежде, постели, еде, в квартире... В туфлях я еще хожу плохо. Вот сейчас мамы дома нет, так я взяла и скинула их.

Да, дорогие, надо привыкать жить по-старому и одной. Прощай, Михайловка, навсегда. Прощай, кошмарная жизнь, что она из нас всех там сделала... Дети будут ходить в школу: Тая в гимназию, в 8-й класс, а Лева в 6-й, он уже готовится.

Ждите еще писем, сразу нельзя писать много, а то будете половину читать, а вторую бросите. До свидания, пишите!

Привет всем доброжелателям моим: Блюме Борисовне, Гуте, Немке, Фелику, Аде и Эле, Терентию Петровичу, Поле — соседке моей, Михайлихе, Саре и Зайднеру — ну, одним словом, всем!

До свидания.

Ира

Бася, что Маня, уехала уже или нет?

Целую, Ира».

Зачем-то сохранился черновик. Так раньше писали письма, так писала и она. Пришел ли ответ, и дошло ли до адресата — или до адресатов — это письмо, не известно.

И только сейчас, перечитывая, вспомнила, как непривычно выглядело почти все, что встретило их дома. Белая постель, вышитые наволочки: коснешься щекой, закроешь глаза, вдохнешь запах — словно войны не было; наглаженный пододеяльник... А что стало с ватником? — Да, наверное, то же, что с сапогами, после которых ногам в туфлях долго еще было неловко: выброшены были мамынькой с недогованием, забыты, канули в небытие.

В отличие от войны.

Еда тоже началась другая: скудная, но из давно забытой посуды; а у Матрены, случалось, и чай бывал. Не морковный и не травяной — настоящий. До слез радовал даже не чай, а тот особый негромкий звук, который делает чашка, поставленная на блюдце. Картошка с забытым вкусом: не мороженая. Первое время казалось — изобилие. А голод ведь не в памяти — в теле!

...Ни на одной из трех грядок, которые хозяйка великодушно отвела Ирине, ничего не выросло. Кое-как перебились зимой сорок первого, а сорок второй и вспоминать не хочется, но кто ж спрашивает...

Этот страшный, волчий год никогда не забывался.

Самая лютая зима, когда по утрам волосы примерзали к стенке. Дети уходили в школу, не успев согреться, а в школе стоял такой холод, что они сидели, замотанные в платки и шарфы, в пальтишках и шапках.

Любимое лакомство той зимы — лепешки из картофельных очисток. Мороженую картошку, на которой оставались

вмятины от пальцев, варили с крупой, если она случалась, и выходило очень вкусное, а главное, горячее варево.

И даже той зимой стучали в окошко, хоть и нечасто. То несли починить что-то из одежды, то перешить. Швейная машина, когда-то одолженная соседкой Полей, осталась, по ее же настоянию, у Ирины. Весной шитья стало побольше, а летом надо было учиться деревенской работе, и слова, которые встречались только в книгах: жатва, обмолот, веяние — обрели смысл.

Как и малярия, книжное слово.

Малярия оказалась оранжевого цвета. Перед глазами плыли слепящие желтые круги, сливаясь и темнея по краям; все это обрушивалось на голову, и голова вспыхивала горячей оранжевой болью. Оранжевое солнце грузно опускалось за горизонт и висело мучительно долго. Надо было вставать и идти на ток — зерно веяли ночами, — Ирина поднималась и шла, но всюду ее встречал беспощадный оранжевый круг. Потом все захлестывало чернотой, а когда чернота пропадала, то оказывалось, что она никуда не ходила — или не дошла, потому что ноги не держали, а зубы стучали от лихорадочного озноба, стучали так сильно, что Ира боялась: сломаются. Оранжевое марево съеживалось, превращалось в один горячий шарик, который катался перед глазами, а чьи-то руки настойчиво приподнимали ей голову: «Выпей, выпей», и голос тоже был настойчив.

Немка.

Женщина легко подтянула безвольное, горячее Ирино тело и прислонила к стене. Потом опять поднесла ко рту кружку с теплым питьем. От его пронзительной горечи сводило все нутро, но не было сил оттолкнуть кружку. Немка

повторяла: «Надо. У нас все кору пьют, когда трясет». Ира закрывала глаза и натягивала на себя одеяло и ватник: внезапно становилось холодно, как тогда, в снежной степи. Холод сменялся оранжевым жаром. Левочка говорил: «Пей, мама, пей», а Тайка накрывала ее ненавистным раскаленным одеялом и плакала: «Ты не умирай, не умирай!..»

«Бася Савельевна даст хинин, — говорила Немка, — а пока пей!» Бася в Палестине, кричала Ира, но никто не слышал, и она сама не слышала; как же Бася может?..

Немка отправляла детей за корой, а потом сама заваривала горький настой. От кружки и от ее рук шел терпкий травяной запах. Ирина невольно искала в Немке сходство с Кристен, но не находила, да и неудивительно: высокая и широкоплечая Эрика Оттовна, как по-настоящему звали Немку, ничем не напоминала хрупкую, изящную Кристен. У нее были плоские широкие ладони, в которых кружка выглядела маленькой, прямые стриженные волосы, очень светлые даже для блондинки, и квадратное лицо с неровными зубами. Когда Ирина просыпалась, она видела глаза Немки, светлые, как вода, когда не хватает синьки для полоскания.

Иногда удавалось согреться от холода, сотрясающего в августовский зной ее больное тело, и хотелось говорить, говорить обо всем, что не успела или забыла сказать. Чаще всего разговаривала с Колей. Спрашивала, получил ли он письмо — то, главное, и если получил, то почему не пишет? Коля отвечал, но тихо; а нужно было так много ему рассказать! Хотелось воды, и Коля подносил ей щербатую кружку с горькой темной жижей, а потом сестра говорила своим высоким голосом, что губы надо мазать гусиным салом, тогда

трещин не будет. Да откуда ж гусиное сало, сердилась Ирина, у меня дети голодные! С Тоней всегда было трудно; разве она понимает, вот я пшенку сварю, да не кашу, а жижицу такую, только слово одно, что пшенка; да картошки туда... Так тяжело говорить, когда сохнет рот, а если ты на фронте, Коля, ты напиши, а то я не знаю, живой ты или нет...

«Пей, пей», — перебивал Коля, и щербатая кружка снова оказывалась у рта, а глаза у Коли были то ли серые, то ли бледно-голубые.

Эрика Оттовна преподавала в школе немецкий язык. Особое положение учительницы не позволяло звать ее, как других, по имени или одному только отчеству, но не мешало за глаза называть Немкой. Как-то само собой получилось, что с уходом мужа на фронт на нее легли его обязанности директора школы. Это она уговорила полуслеплого Зайднера вести уроки вместо ушедшего на фронт преподавателя. Зайднер покряхтел о «чистой математике», но согласился. Блюму Борисовну и уговаривать не пришлось: та пошла бы хоть уборщицей — деревенская работа ей была не по силам. Когда Ирина встала после малярии, Немка определила ее на школьную кухню — варить похлебку из колосков.

Колоски...

Обыкновенные колоски, которые остаются лежать на земле после жатвы, как на простыне парикмахера остаются волосы после стрижки.

Председатель Терентий Петрович сам руководил школьниками и сам вел учет собранным колоскам.

«Все для фронта, все для победы!»

Председатель озабоченно моргал, что-то отмечая у себя в тетрадке. Над его столом висел «Закон о колосках», но не для напоминания. За десять лет председатель выучил его наизусть, тем более что арифметика была простая: пять колосков, унесенных с колхозного поля, карались расстрелом или лишением свободы на десять лет с конфискацией всего имущества. Потому сам и следил за сбором колосков, сам пересчитывал детские фигуры, то и дело наклонявшиеся за драгоценной добычей — ни дать ни взять клюющие журавлята — и сам же принимал собранный «урожай».

Все для фронта, все для победы.

Терентий Петрович не мог уберечь их воюющих отцов — он руководил колхозом, а не войной, — но он пытался сохранить детей, а разве не это самое важное для фронта и для победы?

Нет, председатель не выписывал детям трудовни, он не имел права это делать; зато он мог их накормить.

Накормить досыта.

Почти досыта.

Из собранных колосков мололи муку и варили похлебку, прямо в школе, и председатель Овчинников сам снимал пробу, хороша ли.

Смачно, говорил он Ирине, дуя на ложку, а только чего-то не хватает. Какая ж тыстряпуха, если сама не распробовала?

Чего могло там «не хватать», если, кроме муки да кормовой свеклы, в этом вареве не было ничего?..

Зато дети были сыты.

Почти.

Тогда, пятнадцать лет назад, она не задумывалась, по какому острию ходил председатель Овчинников, а попро-

сту — Терёха Моргатый, и многие ли знали о его хитрости, которую правильной было бы назвать Соломоновой мудростью: в голодное военное время обойти волчий закон мирного времени.

Колоски — это тоже «Заготзерно».

...Сын раздражается всякий раз, когда она спрашивает: ты помнишь колоски, Левочка? Бурчит сердито, не отвечает. Закуривает. Не хочет вспоминать, потому что это — война и голод. А помнишь председателя, он еще так моргал все время? Ты должен его помнить, как же!.. А Немку, не успокаивается бабушка, что у вас в школе учила? Она ко мне все ходила, когда я с малярией лежала, траву варила; а хинина в Михайловке не было...

...Опамятовавшись от оранжевого пожара, Ира продолжала говорить с мужем и умолкала на полуслове, видя рядом женское лицо. «У меня все Коля мой перед глазами, — она поперхнулась, — рассказываю, как мы тут голодаем». Лицо Немки сделалось неподвижным. Вскоре она поднялась и вышла.

Кто ей была эта Немка? Никто; чужой человек. Да только если б не она, не пришлось бы сейчас о пенсии думать. Тот горький отвар и поставил на ноги.

Да похлебка из колосков.

Нет, есть Ирина не ела: как можно, от детей? Зато председатель несколько раз давал брюкву и картошку, присовокупляя непонятные слова: «В счет трудодней». На ее робкий вопрос: «Это сколько же?..» — никто не мог дать внятного ответа.

Решила спросить у Немки — как раз вместе возвращались из сельпо. Но не спросила, а неожиданно для себя при-

зналась, как пугала ее зимой эта дорога и пустая замерзшая степь вокруг; и про волков рассказала.

— Что ж, — улыбнулась Немка, — молитва помогла или спички?

— Молитва всегда помогает, — ответила Ирина, — как не молиться, за хлеб насущный?

— А говорила: «голод», «голодаем», — отозвалась та после долгого молчания, — разве это голод, когда ты хлеб в руках несешь?

— А что же, как не голод? — Ира заплакала и рассказала, как съела зимой весь хлеб одна. — Дома дети, голодные! Ждали меня, ждали... А у меня в банке пшенички — чуть, полгорстки, да две картошки. Сварила...

Шли молча.

— Крупу надо без соли варить, совсем, — строго сказала Немка.

— Как же? Тогда вкуса никакого...

— Зато пшено разваривается, и у тебя намного больше получится, чем с солью. А соль потом добавь, когда готово.

Когда подходили к Михайловке, Немка придержала ее за рукав:

— Пойдем, я тебе покажу, — и не оглянувшись повернула влево, к балке, как здесь называли старый овраг.

Стояли у края, глядя на густой, жесткий даже на глаз, кустарник, расплзшийся по дну оврага. Немка курила самокрутку, глядя вниз. Потом заговорила, и прервать ее было немыслимо.

Ты говоришь: голод. А ведь мы хлеб несем. Вот он, в руках. Целая буханка! Да крупа! И в каждом огороде картошка. Вон собака чья-то брешет — живая, никто ее не съел. Птицы не

боятся летать. Бабы коров доят. Слышишь, коров! А ты: голод. Какой же это голод, ты под ноги посмотри: лебеда вон в цвет пошла, щавелю сколько... Голод?! Вон там голод, на дне балки. Хочешь голод увидеть — спустись. Не смотри, что кусты, эти кусты на голоде выросли, на костях. Некому было хоронить, да и сил не было. Так люди сами ползли поближе к балке, когда уж доходили... Там раньше трава росла; съели траву. И щавель тут весь был выщипан, где мы стоим. Вороны не летали; ворона тоже должна что-то съесть, чтоб летать, а что ей съесть, птице, когда люди червяков из земли выковыряли?! Хлеба хватало; только не нам, не людям. Забирали хлеб, и не в «Заготзерно» везли, а — оттуда. Да отовсюду, только бы забрать! Неделями возили — вот сколько хлеба уродилось! И запасы тоже отняли — подчистую, до зернышка. Солдат прислали. Красноармейцев, да. Вывозить хлеб не успевали: вагонов не хватало; он кучами свален, а рядом солдат с винтовкой. Солдаты не голодали — им паек привозили. Так один поделится своим солдатским хлебом... хлебом, который мы вырастили, мы все, кто тут жил: немцы, русские, украинцы. Тайком поделится, чтоб товарищ не видел. А другой... Другие, точно волки, на людей кидались. У солдат командиры есть, он не сам додумался, чтобы людей не подпускать к хлебу. Они, солдаты, и хоронили потом. А командиры? Командирам кто приказал?..

...Ничего, кроме кустов этих, там не росло больше. А что мертвым надо? Им и кустов не надо. Кусты — это для живых, чтобы костей не видно было, а то никаких слез не хватает. Да сколько земли осыпалось, за десять-то лет, уж засыпало их глубоко-глубоко, и хлеба им давно не надо.

А ты говоришь: голод. Голод там, на дне.

Женщина повернулась к Ирине: «*Besessen*, — они все были *besessen*: и голодные, и сытые. Наши-то от голода, а те? От злости, но тоже *besessen*. Иначе как такое могло?..» Она не плакала, только лицо стало напряженным, и рот сомкнулся в жесткую, горькую линию. Лицо стало расплываться, раздваиваться, так что Ира видела сразу двоих: Немку и Кристен, и одна из них отводила волосы со лба и зябко вздрагивала плечами: «*Besessen*». Она незаметно вытерла глаза, и Кристен исчезла, растворилась в сумерках и том давнем времени, которое молодцевато несло в пропасть под звуки песни «Если завтра война...».

Война была — сегодня.

А то, что похоронил в себе овраг, случилось еще раньше, в мирное время, и в той стране, где

С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить...

А как же овраг? Люди, евские — Господи, помилуй! — собак и червяков?.. Председатель, у которого вся семья умерла голодом? То немного, что Ирина узнала, было похоже на порванную почтовую открытку, кем-то забытую в поезде: то, что можно прочесть, леденило кровь, но одни клочки унес ветер, другие упали и затоптаны чужими подошвами, зато неожиданно уцелел кусочек со стандартным «*Кому*», причем адресат носил немецкое имя и фамилию.

Все пять лет, когда-то бесконечные и объемные, а теперь уложившиеся в строчку «Заготзерно», Ира пыталась осознать, что происходило в Михайловке до войны. Может

быть, умей она тогда, у балки, поддержать разговор с Немкой или хотя бы заплакать, непонятные обрывки сложились бы в цельный текст, но — нет, не умела. Знала: ничего говорить нельзя, любое слово прозвучит фальшиво. Немка и так была молчуньей, а в тот вечер сказала много.

Несказанное восполнила все та же соседка. Не в пример Немке, она была очень говорлива и из тех, кого в Ириной семье называли «досужими». Поля была досужей не оттого, что имела много свободного времени, а просто ничем не ограничивала свою любознательность к жизни ближнего. Да только любая словоохотливость иссякнет без вовремя подкинутого топлива; вот и Поля обижалась на равнодушные соседки. Надо было поддерживать эти монологи — иначе трудно было назвать их с Полей разговоры, — но говорила она порой такое, что даже сегодня Ирина не знала, сколько там правды и есть ли она вообще — так страшно и причудливо все перемешивалось. Слова сыпались мелкой крупой, и, как крупу, их нужно было тщательно перебрать, чтобы в кастрюлю — не дай Бог! — не попали шелуха, мышинный помет и мелкие камешки.

Именно от Поли она узнала, что у Немки в один день умерли сын и мать.

Что в старую балку никто из деревенских не ходит.

Что, похоронив маленькую дочку, Терентий зажмурился, а потом начал моргать, точно соринка попала или вот-вот заплачет; и посейчас моргает, его и на фронт не взяли.

Что Михайловка была когда-то большая богатая деревня, сплошь немецкая, а если кто из русских селился, вот как Немкин отец, то из приезжих; а таких была горсточка.

Что хлеб тут издавна родился отменный, при царе еще; и после, когда колхозы устроили. О том старики помнили, а сейчас стариков нет: всех голод унес. Десять лет тому прошел голодный мор, да не только здесь, а по всему Поволжью.

И на простой вырвавшийся вопрос: «Как же голод, если хлеб родился?...» Поля развела короткими ручками: «Так отняли...» И тут же быстро спохватилась и стала говорить о засухе, вредителях и «немчуре», и выходило, будто бы немцы-вредители эту засуху и устроили.

Подтвердила Немкин рассказ о красноармейцах, не подпуславших голодных людей к зерну: «Который подобрее, а который лютей был».

Но даже говорливая Поля не очень охотно вспоминала то лихолетье.

Ах, как нужен, как необходим был Коля! Он один сумел бы разобраться и объяснить ей, как в Советской стране люди от голода объедали кору с деревьев. В Советской стране, о которой он рассказывал с таким благоговением, и они вместе пели:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Это была чистая правда: они не знали и не видели никакой другой страны — даже той, о которой пели. Судьба раскинула карты так, что заочно любимую страну Ирочка увидела одна, без мужа.

Об этом и Немка сказала, отчаявшись объяснить, что такое трудодни: «Ты ведь за границей жила, а тут иначе. Что ж, привыкнешь...»

Ни она, ни Поля не понимали, что для Иры за границей было Поволжье.

Сбылось Немкино предсказание: привыкла. Потому и расставаться с Михайловкой было больно.

13

Колю увидеть не пришлось. И уже не придется. Это выяснилось после возвращения из эвакуации, но Ире было ясно давно, с какого-то осеннего дня первого военного года, когда вдруг перестал звучать его голос, всегда такой отчетливый, хоть и негромкий. Знала: больше не увидятся, и это облегчило скорбную задачу Феденьки. Не кто иной как он узнал о Колиной судьбе в том самом месте, где она была решена: в немецком концлагере, в нескольких десятках километрах от Города.

Решена? Или «приведена в исполнение», как пишут о приговорах? — Ведь задолго до войны обе судьбы, ее и Колину, прочитала вслух цыганка в клетчатой шали, хоть написана она была не буквами, а... Бог знает, как эти цыганки читают по руке, где ничего, кроме с детства выученных послушных морщинок, не написано.

Умрешь молодым, сообщила ладонь. А ты вдовой останешься, вдовой в сорок лет.

И стало так.

Ничего, ничего не пришлось сделать. Ни обнять мужа, ни попросить прощения, что не обняла при расставании, что сердилась — разве знала, что эта разлука — навечно?.. Не смогла рассказать, как это — жить в Советской стране,

и про Поволжье спросить не сумела. Осталось то, чем Ирина жила все военные годы: безмолвные разговоры.

И Советская страна осталась, будто с собой привезла; только без войны.

Еще не видя разбомбленного города, не зная, как искажилось его лицо, только-только сойдя с поезда, опустилась на колени и целовала землю. Грязную, затопанную, мерзкую — и любимую землю родного Города. Толпа валила мимо, обтекая плачущую женщину и стоящих детей, и никто ничему не удивлялся: вокзал.

Не нужно задерживаться на этом перроне, он остался позади, это уже прожито. Верно сестра подсказала: с конца так с конца. Значит, строчкой выше нужно вписать чулочную фабрику в том, довоенном Городе и не отвлекаться на воспоминания. Однако память держит прочно, словно пола одежды, второпях зажатая дверь: и не уйти, и дверь не захлопнуть. Лучше осторожно высвободить захваченную ткань и еще раз прожить лето 46-го года — возвращение домой.

Дома ждала мать. Ахнула при виде внуков, родных и любимых, но выросших и оттого немножко чужих; а Ирка-то!..

Дома ждала боль — «Свидетельство о смерти» — на плотном бланке загса. Не вещей сон, не предчувствие, не смолкнувший голос — это оставляло еще тоненькую щель для надежды: а вдруг?.. Бумага была заполнена каллиграфическим почерком и свидетельствовала дату: 9 октября 1941 года. Все слова были выписаны четко, с нажимом и завитушками, и экономно уложены в строчки, чтобы уместиться в соответствующих графах, будто, прежде чем убить че-

ловека, необходимо было выяснить, когда и где он родился, какую веру исповедовал и был ли женат... Все графы были заполнены добросовестно и подробно, кроме одной.

В графе «причина смерти» было вписано стыдливое сокращение: «Ех.»

Exekution — казнь.

Казнь — причина Колиной смерти?

Казенный писец упоенно выводил буквы с росчерками, не пропустил ни одного знака препинания, но здесь отчего-то стушевался. И где он взял такое слово, этот щеголь пера — ведь составлял документ на родном местном языке? — Однако же слово взял из немецкого и, сконфузившись, сократил до двух букв.

И будут двое одна плоть.

Они с Колей были одной плотью, и его казнь стала для нее пожизненной пыткой.

В пустой ящик шкафа она положила «Свидетельство о браке» и профсоюзный билет мужа, а обручальное кольцо хотела надеть, но оно слишком свободно скользило на исхудавшем пальце; так и потерять недолго. «Свидетельство о смерти» Федя принес в толстом коричневом конверте, куда сестра почему-то сунула ее собственное письмо с Поволжья. Ира начала читать — сначала внимательно, потом глаза заскользили по строчкам, но оторваться не могла.

«29/1-45 года

Здравствуйте, дорогие!

Я получила сразу ваши три письма, а через день — четыреста рублей, что вы послали, но, дорогие, не надо, не посылайте: ведь уже четвертый год, как я ничего не покупаю,

кроме хлеба-пайка, а столько я все-таки заработаю. Я вспоминаю свою жизнь, и мне кажется, что это был сон: можно было работать, зарабатывать и покупать даже то, что вовсе и через год не понадобится. Вот, я забыла даже вас поблагодарить. Большое спасибо, только пусть мама себя не стесняет: надо ведь и за квартиру платить, и поесть, а все, наверно, очень дорого, и никто не зарабатывает — некому. Тебе, Тоня, тоже спасибо, ведь Федя работает один, да в каждом письме ты пишешь: то один гостит, то другой... Так что не разоряйте себя, а нам хватает.

<...> Слава богу, поправляюсь понемногу. Проклятая малярия была летом, а теперь и зимой бьет, так что после <...> потеряла сознание...

Дорогая Тоня, пиши, какие фабрики работают и какая у вас торговля, вольная или нет. <...> стала очень много видеть — не во сне, а наяву. Вижу маму, но какую-то незнакомую, и папу вместе за столом. Папа в сером камзоле, и на голове высокая шапка. Я только протянула руку и сказала: «Папа», как они поплыли до стены, секунду подрожали в воздухе и пропали.

И еще я думаю <...> не выдержу, а вижу землю и кровь, Тоня, кровь вижу: и Андрюшу, и Колю, и папу, но Сеню и Мотю — нет, даже не снятся. Не хотят меня тревожить. А Колю я вижу в ужасном виде: глаза у него выжжены, уши и язык отрезаны <...> почему я еще не ослепла.

Ты пиши мне, сестра, не жди ответа на каждое письмо. Тебе есть что писать: кто жив, кого схоронили, кто пропал; а у меня? Что я могу <...> чтобы я когда-нибудь могла вспоминать этот долгий и тяжелый сон <...>

До свидания! Целую всех бесчисленно,
Ира».

Странно читать собственное письмо: чувствуешь себя отправителем и адресатом одновременно. Сестра ошиблась, так не возвращать же; да и на что ей старое письмо?

Привычка не выбрасывать бумаг, даже заведомо ненужных, заставила сохранить и эту.

Дома ждали и радости.

Радость узнавания привычных вещей: белая скатерть в крупную голубую клетку, сахарница, знакомая с детства, с упертыми в бока ручками, точно сейчас пустится в пляс, да что сахарница! А лестница, каменная лестница? А скрип двери, который невозможно спутать ни с каким другим скрипом никакой другой двери? И — папина латунная табличка: «Г. М. Ивановъ», начищенная до солнечного блеска в ожидании хозяина.

Дом, где Ирина с семьей жила до войны, тоже был национализирован, и теперь там расположился кинотеатр. Отпирать своим ключом квартиру, которая уже не твоя, было не менее странно, чем читать собственное письмо сестре; только больней. Пришедший с ней Мотя заметил, как дрожит рука: «Дай, я».

Внутри кто-то побывал. Книжная полка, которая осталась в памяти как рот с выбитыми зубами, напомнила о себе темнеющим прямоугольником на полу. Не было и... да проще сказать, что было, тем более что осталась кровать с оголенным матрасом и будильник. Он безмолвно стоял на подоконнике, лишившись привычного компаньона — комода. Ирина обвела глазами опустевшую квартиру. Взяла в руки будильник и привычным жестом, словно не было этих шести лет, начала медленно заводить: *gegensinnig, gegensinnig*,

gegensinnig. Против часовой стрелки. Немецкое слово точно передавало звук завода: действие озвучилось. Будильник задумчиво цокнул несколько раз, а потом застучал, одобрительно прислушиваясь: так-так. Так-так. Так-так...

В последний раз его заводил Коля.

— Как — негде? А твоя комната? — подняла бровь Матрена. — Хватит тебе и тряпок, и черепков; живите у меня. Да и мебель ваша стоит! — Мать лишилась доброй половины квартиры и всего достатка, но оставалась такой же властной и царственной, как прежде.

Мебельный гарнитур, купленный незадолго до войны, поставили «до лучших времен» в родительской квартире. Будильник промолчал всю войну и теперь отщелкивал секунды, обосновавшись на трюмо, а в зеркале были видны его круглый никелированный бок и очень худая скуластая женщина с плотно сжатыми губами и яркой полосой седины в коротких волосах. Она бездумно всматривается в зеркало, в гордый изгиб бархатного кресла, стол с изящно выточенными ножками, стулья, грациозно застывшие у стены, как балерины в ожидании своего выхода.

И это — лучшие времена?..

Однако время не выбирают. Надо было жить. Что означало — работать. Вернее, искать работу, а до сентября определить детей в школу, а не в гимназию, как она писала в Михайловку; какая уж гимназия в советское время.

С детьми все решилось — хорошо, но непривычно. Тайка осенью должна пойти в восьмой класс, а сын в шестой, только в другую школу. Тоня с Федей настояли, чтобы Левочка переехал к ним: как можно, дескать, жить втроем в одной

комнате, ведь мальчик вырастет, а Тайка уже совсем девушка? Ира понимала: сестра права, но сердцем не принимала эту правоту. Теперь их только трое, они — семья, и расставаться им не нужно, нельзя! Однако Тонина правота была очевидна, а дети голодны... Словом, Левочка перебрался к крестным, и нужно было только благодарить их за это. Что касается души, то когда она спокойна? Материнство — это постоянный страх, страх и радость в сердце.

Тоня часто заходила, всегда с гостинцами; совала матери деньги. Ирина содрогалась от стыда: ничего, ведь ровным счетом ничего не было!.. Чтобы получать продуктовые карточки, надо было срочно оформить прописку. Между тем единственный документ, которым она располагала, был сильно досоветский паспорт образца 1927 года, украшенный гербом демократической республики и записью о прописке в деревне Михайловка. С этим экзотическим документом она и появилась в домоуправлении, где была встречена холодно: требовали «нормальный советский паспорт». Этот нормальный ей выписали в милиции на диво легко, и второй раз она выходила из домоуправления уже «ответственным квартиросъемщиком», благо все казенные присутствия располагались в пределах нескольких кварталов друг от друга.

В эти же несколько дней по почте пришло письмо на ее имя, письмо совершенно официального вида, но написанное очень обходительно. В нем содержалось приглашение прийти в горком партии для беседы с секретарем, адрес горкома и время, а внизу — бурно вскипающая подпись.

Мамынька с Тоней разве что на зуб не пробовали непонятное письмо. Федя вызвался проводить, и если бы не он,

ждать бы секретарю вызываемую гражданку до второго пришествия из-за переименованных улиц. По пути Ира видела таблички с новыми названиями, замечала, как изменился город, и поволноваться о предстоящей беседе не удалось.

Здание райкома располагалось неподалеку от музея, да и внутри походило на музей мрамором вестибюля, высокими окнами и двустворчатыми дверьми, которые то тут, то там распахивались беззвучно, как во сне. Ей не пришлось бродить, озираясь в поисках нужной комнаты, — дежурный пробежал глазами письмо и проводил на второй этаж.

В кабинете было накурено и пахло точно так же, как в домоуправлении, хоть и райком партии. Один мужчина сидел за письменным столом, другой стоял у окна. Пожав Ирине руку, представились в том же порядке: «первый» и «второй». Она удивилась, что секретари у партии под номерами, как трамваи, — а сколько их всего? — но Первый назвал Колю имя, а Второй едва успел придвинуть ей стул прямо под ослабевшие колени. Нет, Ира не заплакала. Просто слушала строгие государственные слова, которые по очереди произносили Первый и Второй, и слова эти бесконечно трогали, потому что говорились о Коле. Оба секретаря говорили по-русски медленно и старательно, с протяжным местным акцентом, отчего слова приобретали дополнительное ударение, и это тоже звучало трогательно.

Товарищи по партии...

Долг коммуниста...

Погиб на посту...

В наших сердцах...

Геройской смертью...

Поистине, тьма низких истин всегда проигрывает по сравнению с обманом, ибо не возвышает нас, а как это необходимо! Ирина знала, как не могли не знать говорящие, что Коля погиб не «на посту» — никому не нужный пост он оставил, — а в концлагере; что от работы в ячейке он отдалился задолго до войны: нельзя же убеждения и мечты считать работой! — но жадно слушала не столько чужие казенные слова, сколько родной теплый голос, вдруг пробившийся к ней в этих стенах:

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает...

«Он погиб смертью героя, и мы все...» — вклинился чужой голос в пушкинские строки.

Правильно!.. «Герой», вот как стих называется.

Не был ее Коленька героем.

Скромный наборщик, больше всего любящий свою семью и книги, не вел он в атаку взвод, не закрывал своим телом палящее орудие, что не спасло его от смерти мученика; но можно ли мученика приравнять к герою? Герой встречает смерть в лицо и успевает произнести обличительные слова — или рядом всегда найдутся *около-герои*, готовые засвидетельствовать, что именно такие слова были сказаны. Мученик ждет смерти, а она может быть унижительной хотя бы одним тем, что заставляет ждать себя, неизбежную и страшную, и самим ожиданием, и знанием — или, наоборот, неведением, что еще страшнее: какой она будет,

эта единственная его смерть. Смерть, о которой так легко было шутить с цыганкой в серебряных перстнях, когда вся жизнь была как тот весенний парк, заполненный нарядными людьми и кустами сирени, еще не распутившейся, но набухшей гроздьями бутонов, где таились залежи счастья из пяти лепестков. Смерть была так же условна, как это сиреневое счастье.

А настоящую смерть Коля встретил один...

Ира слушала и ждала, что еще скажут о Коле, но такие же слова рокотали по радио и печатались в газетах: две свежих, со знакомым запахом типографской краски, лежали на столе, а рядом — папиросная коробка с бело-голубыми горами, и на фоне гор дыбился черный силуэт всадника. Конь пятился, а всадник нетерпеливо наклонился вперед. По черной полоске внизу тянулись угловатые буквы «КАЗБЕК». Странно: почему Казбек, а не Казбич, — ведь в книге был Казбич? Чтобы не видеть тревожной картинки (что там впереди, пропасть?), Ира перевела взгляд. На краю стола была прибитая аккуратная жестяная табличка с номером, точь-в-точь почтовая марка на конверте; у стены стоял книжный шкаф с длинным рядом одинаковых томов. В простенке между высокими окнами висели портреты Ленина и Сталина, а ближе к шкафу, соблюдая корректную дистанцию, и местный вождь, но с такими же, как у Сталина, усами. Два главных портрета висели лицом друг к другу, причем Ильич по сравнению с преемником казался настоящим франтом, со своим неизменным галстуком в горошек, традиционным костюмом и совсем уже буржуазной жилеткой — обед из трех блюд. Сталин, которого и представить было немислимо без наглухо застегнутого френча, выглядел аскетом и смотрел

не в глаза Ленину, а куда-то поверх головы, где только он один видел светлое будущее и все остальное, что скрыто от глаз простых смертных, но попутно скользил благосклонным взглядом по лысине предшественника и собранию своих сочинений, а Казбич-Казбек с рафинадными горами его не интересовал. И то: мало он гор на Кавказе видел, что ли? Масляная краска на портретах и корешки книг чуть лоснились.

Совсем чужие люди продолжали говорить чужие торжественные слова, но в этом кабинете, где все было пронумеровано: и люди, и мебель — где висели портреты вождей, один из которых тоже был первым, только сегодня уже непонятно, какой именно, — здесь были уместны только такие слова. Они были как будто бы посвящены Коле, но могли быть сказаны о любом другом погибшем, потому что самого Коли в этих словах не было.

Хотелось как можно скорее добраться до того городка, где он в последний раз видел небо, осенние ветки деревьев, и это желание резануло по сердцу особенно остро.

— ...Особенно остро, — продолжал говорить Второй, — в Городе стоит жилищный вопрос. В связи с этим, — он взглянул на Первого, потом на портреты, но те были поглощены собственным немым диалогом, и он снова повернулся к собеседнице, — в связи с этим мы хотим знать, как у вас обстоит дело с жильем?

Он закурил, оставив коробку «Казбека» открытой, отчего всадник, встав на дыбы, завис над невидимой бездной. Ири-не тоже захотелось курить, но не для того же ее сюда позвали. Она рассказала про кинотеатр, поглотивший ее довоенную квартиру, и горло перехватил спазм, потому что снова увиде-

ла темный прямоугольник на месте книжной полки, полуразломанную стенку, из которой штукатурка висела клочьями, как стеганая подкладка из распоротого пальто, и выговорила пересохшим ртом: «А теперь я у матери живу».

Секретари заговорили снова, теперь уже наперебой, так что стало понятно: беседа подошла к концу. Первым протянул руку Первый, за ним Второй, и она опять ощутила теплую признательность к этим чужим людям. Торопливо пошла по пурпурной ковровой дорожке, стесняясь своих изношенных туфель, и освобожденно вздохнула на твердом мраморном полу вестибюля; быстро вышла на улицу.

Мать и сестра так истомились от ожидания и тревоги, что Ирина отбросила первый, совершенно инстинктивный импульс, ничего не говорить. Сказала коротко: про Колю; выражали соболезнование.

— И все?!

Пожала плечами, сбрасывая туфли с отвыкших ног. Спрашивали, как живу. Про квартиру. Какие условия.

— Ну?!

— Так что: «ну». Обыкновенно живу. Так и сказала: живу у матери.

— Квартиру, что ли, предлагали? — недоверчиво предположила Тоня.

— Предлагать не предлагали, — Ирина ругала себя, что начала рассказывать: сестра не отстанет, — трудно в Городе с квартирами. Да и что мне, жить негде? Не на улице...

— Отказалась, — убедилась Тоня. — Господи, Ирка, в кого ты простофиля такая?! Кто ж сейчас от квартиры...

И началось. Сестру и раньше нелегко было унять, а в тот день... Матрена подняла бровь, но во взгляде читалось ско-

рее одобрение: она устала от одиночества, а теперь было с кем поговорить, не в пустой дом заходила. Вместе с тем Тонина правота была очевидна и для нее: квартира — она «исть не просит», не говоря об очевидной истине: дают — бери; так ведь Ирка всегда была простофилей.

А Тоня продолжала с негодованием:

— Квартира сейчас — это... — и задыхнулась в поисках сравнения. В голове навязчиво крутился и отвлекал англичанин со своим домом-крепостью, которого так часто поминал Федор Федорович, направляясь к кушетке с пледом и газетой, да что в нем, в этом англичанине?! В любой момент пойдет и купит себе новую крепость, если мошна позволит; а не сможет купить, так снимет. Здесь каждый был сам себе англичанин до 40-го года, а сестра как была простофилей, так и осталась. Взять хоть эту фразу: «Так другому кому нужней», это квартира-то!..

— А брат вернется, — звенел высокий, беспощадный Тонин голос, — брату места и не будет?

Андрюшу ждали неистово, иступленно: ни одной весточки не пришло ни от него, ни о нем всю войну, и только недавно — почти одновременно с Ириным возвращением — карточка по почте: «пропал без вести».

Вот это «пропал без вести» Матрена отказывалась понять. Как это — «пропал без вести»?! Куда он мог пропасть, человек из плоти и крови, рожденный ею в муках, выросший во взрослого мужчину? Его крестили в моленной; свивали; она кормила его грудью и потом держала «свечкой», чтоб отрыгнул лишнее молоко; а макушка у него была рыжеватая, и зубки шли так болезненно, что засыпал только на руках. Как —

«пропал без вести»?! Андря не расставался со старшим братом, а как они кувыркком летели с дачного забора!.. Мотяшка-то ничего, а этот располосовал всю рубашонку, да что рубашонку — спину!.. И оба сразу побежали в огород рвать горошек; если б он спиной не повернулся, Матрена не сразу бы увидела. И молчал!.. Разве живой человек может «пропасть без вести», как пуговица в стирке; вот уж бздурь!..

При словах «живой человек» Тонины глаза наполнялись слезами. «Как ты смеешь! — гневалась мать, — кабы убили, то так и написали бы, а то... Вернется!»

Андрюшу продолжали ждать, как ждали отца, и никто не был готов к появлению Надежды с ребятишками, похожими на два крепких желудя.

...Сколько раз после ее внедрения Ирина вспомнит о походе в райком, сколько раз пожалеет о своем отказе? Ничего не изменилось от посещения райкома, разве что домашнее пчелиное слово «ячейка» перестало принадлежать Коле и Герману, а превратилось в одно из газетных слов. Ничего не изменилось, но и визит ей вспоминать не придется, ибо никогда не забывала, а жалеть... Жалеть тоже не жалела: нельзя вернуть сказанное слово, как нельзя проклясть тобой рожденное дитя. Ее всегда удивляло, когда говорили: «слово и дело», потому что для нее эти понятия были равноценны, одно могло обгонять другое, но не исключать и не перечеркивать. Может быть, оттого она никогда не отличалась разговорчивостью.

Одним словом, простофиля, в чем мать и сестра были единокорны.

Интересно, что обе столь же единокорно никогда не упоминали о райкоме при Надежде; ни разу.

Но Нади еще нет, она появится только через полгода, зимним утром и неожиданно, как снег на голову. А сейчас лето в разгаре, и даже сестра утомилась клеймить Иркину бестолковость. Попрощалась и уже в дверях — с лестницы приятно потянуло прохладой, — напредила: «Завтра стирка. Придешь?»

Несмотря на знак вопроса, никакой вопросительной интонации в Тониных словах не было. Сестра приходила раз в неделю помочь с бельем, так как к стирке в семье всегда относились серьезно, чтобы не сказать — истово. Один день в неделю естественным образом выпадал из поисков работы, но это не вызывало у Иры никаких возражений, еще бы: сын живет у крестных на всем готовом, как же не помочь? Самое скверное происходило в конце, когда уже в дверях Тоня совала ей какие-то деньги или еду в пакете, и невозможно было не взять: сразу вспыхивала обида. А чего стоила сама возня в прихожей, когда одна сует, а другая отталкивает... словно она приходила из-за этих подачек. Сестра всегда вела дом образцово, и, если бы не помогала Ирина, нашелся бы кто-то другой; когда не случалось никого, Тоня повязывала старательно уложенные волосы косынкой и сама становилась к корыту. Да-да, к старому доброму корыту, ведь стиральные машины появятся не скоро.

Как-то само собой получилось, что помощь не ограничивалась одной только стиркой. В самом деле: нужно приготовить обед для семьи, и в магазин выскочить, и не дать белью пересохнуть — сразу под утюг, особенно Федины рубашки, — да убрать после стирки в ванной и на кухне; не разорваться же Тоне.

...Запомнился один летний день, запомнился и не уходит. Погода для стирки была отменная: горячее солнце и легкий ветерок — мечта и радость прачки. Ира вытерла руки. Подушечки пальцев так сморщились, словно их отжали и выкрутили вместе с горой белья, и теперь как раз надевала туфли, когда в прихожей появилась сестра со свертком в пергаментной бумаге и начала совать ей в руки этот сверток. «Денег у меня сегодня нет, — сказала вдруг, — а это возьми домой; съедите. Только, — она зачем-то понизила голос, — только ты Федору Федоровичу не говори».

И, как всегда, ничего не вышло из попыток отдать назад или оставить неведомый дар: Тоня держала ее руки, а в руках уже был злополучный пакет, и теснила к двери. Ах, как глупо, глупо и неловко; зачем она это затеяла и почему: «Феде не говори»? Нелепо все, хоть брось и беги без оглядки. Что там, в пакете-то?

Села передохнуть на скамейку ближнего сквера. Пергамент местами темнел жирными пятнами. Шпек.

Кусок сала в ладонь величиной.

До войны такой шпек торчал в каждой гастрономической витрине с постоянством пьяницы в пивном баре. Каждый кусок был обсыпан мелким, как пудра, красным перцем, отчего они казались ярко-рыжими. Продавец отсекал тонким ножом шпат, и на срезе становилось видно сало, белое, как рождественский снег, с одной-двумя тонкими розовыми полосками мяса внутри.

Шпек, который она сейчас держала в полуразвернутой бумаге, выглядел совсем иначе. Оплывший по краям, с грязной ржавчиной въевшегося красного перца, Тонин дар подходил на крохотный сугроб под весенним солнцем. Срез

был перетянут, как ниткой, тонкой полоской мяса мертвого серо-зеленого цвета.

Дома картошка есть, вдохновилась Ира, вот и поджарю. Было очевидно, что на хлеб такое не положишь. Тут срезать, там счистить; не выбрасывать же добро?..

Пришлось выбросить. Пока дошла до дому, запах стал невыносимым. А картошка и на постном масле хороша.

...Если бы можно было из памяти тоже выбросить этот день, как кусок прогорклого шпека! Мешала какая-то мурторная кривда. И не в том дело, что сало испортилось: ну выхватила второпях из холодной кладовки, не успев взглянуть, да мало ли... Не сам негодный шматок был кривдой, а Тонины раздраженные слова, что денег сегодня нет, будто сестра ходит к ней стирать из-за денег; а потом заговорщицкий шепот: «Феде не говори».

Вот она, главная кривда.

При чем тут Федя? Или... чтоб не благодарить его за тухлый гостинец? Мелко, гадко и мерзко.

И что удивительно, сестра всегда была великодушна! Даже теперь, в трудный послевоенный год, взяла к себе Левочку: Юраше, мол, компания нужна, да и тебе полегче будет.

Почему так трудно принять благодеяние, будь то еда или приют для сына? Потому ли, что из-за большого невозможно оттолкнуть малое, даже и гнилое?..

И раньше было то же самое.

Если вернуться немножко назад, приоткроется еще один *закамарек* памяти (вот выскочило польское словечко из ростовского детства: *закамарек*, уголок). Когда мать ей деньги

давала. Они с Колей только-только поженились. Мама сердилась, что свадьбы не было, «точно мы нищие какие», а потом внезапно перестала сердиться и азартно завела речь про обзаведение, хозяйство... Они с Колей тихонько посмеивались: в квартирке на Реформатской было уютно и без «обзаведения», потому что будильник стрекотал, что твой кузнецик, а за окном ему вторили живые бессонные кузнички. Однако мать про кузнециков не знала; улучив минуту, когда Ирочка забежала проведать, выдвинула зачем-то ящик шкафа, а когда задвинула, стало ясно, зачем. И тут же стала совать ей в руки деньги, много денег, с теми же словами про обзаведение. Чем настойчивей была мать, тем больше сердилась Ирочка, а когда Матрена в сердцах крикнула: «Вы же голые и бóсье, он с гулькин нос зарабатывает!..», дочь, закусив губу, ударила по руке, и кредитки с тихим шелестом посыпались на пол.

Дать, чтобы можно было принять, — это искусство. Дать, чтобы не оставить рубца от унижения, чтобы не закабалить.

Чтобы даяние было Даром, а не подаванием.

Она посмела ударить мать: шлепнула снизу по руке с деньгами, как подкидывают мяч, — а Тонино подавание оттолкнуть не смогла.

Правда, и шпек больше никогда не покупала.

14

Заполняя пенсионный листок, Ирина возвращалась назад, в иное время и созвучное тому времени пространство,

и как же радостно было оказаться в довоенном Городе! Радостно и больно, потому что война исказила, разворотила и обкорнала улицы, а люди поменяли их имена, словно для того, чтобы затруднить ей возвращение в молодость. Она писала новое название, а в скобках — старое, но более всего сбивали с толку сменившиеся номера. Там, где размещался нарядный модный магазин, продавали колбасу и консервы. На месте изящного, как пудреница, ателье мадам Берг теперь находился зоомагазин, и на поручнях высокой витрины целыми днями висли ребятишки. Цветочный магазин, в котором она работала в юности, давно забыл ароматы роз и гиацинтов, что не удивительно: теперь там продавались радиоприемники. Табачной фабрики — той, куда посчастливилось устроиться им с Басей, — не существовало вовсе, и никто о ней не знал. А чулочная фабрика, знаменитая «Планета», известная тончайшими шелковыми чулками, которые душили Ирочку в кошмарных снах, когда она вытаскивала чулок за чулком из собственного живота, а они обвивались — к счастью, только во сне! — вокруг шеи; где же чулочная фабрика? — Милости просим! Только какая же это фабрика, это научно-исследовательский институт, о чулках знающий ровно столько, сколько полагается знать женщинам, которые надевают их на работу в этот институт.

Поиски прошлого.

Если удавалось, на поиски отправлялись с Лелькой. Тайка бдительно следила, чтобы встречи бабушки и внучки происходили как можно реже, но все же они случались. И на чулочную фабрику поехали вдвоем. Пешком прошли Воздушный мост, соединяющий не речные берега, а светский Город с Городом индустриальным. Мост выложен был

такими же серыми булжниками, как Старый Город и Московский форштадт. Девочка задавала совершенно неожиданные вопросы, и нельзя было просто ответить, нужно было рассказать. Рассказывая, бабушка вспоминала больше. Нужно было многое объяснять. Как это — «крутить папиросы»? Мама тоже всегда крутит и зачем-то мнет перед тем, как закурить. А шелковые чулки — это капроновые? Или вообще эластик — «безразмерные», как их называют, только что появившееся чудо: по виду — на трехлетнего ребенка, а, оказывается, дамские. И что такое «больничная касса»?

Именно Лелька заметила на торце дома старую рекламу. Блондинка с безмятежным лицом держала в руке синюю баночку, а над баночкой радугой повисли строчки:

«От крема “Нивея”
Станет кожа новее!»

Ни война, ни дожди, ни время — а прошло лет тридцать! — не вытравили до конца старую краску, хотя банка выгорела на солнце, кожа блондинки, хоть убей, новее не выглядела, а локоны поседели; так и пора уж.

А больше ничего не изменилось: точно такая же круглая синяя жестянка с белой надписью “NIVEJA” лежала в кармане Лелькиного пальтишка. В нужный момент она заполнялась влажным песком, и лучшей битки для «классиков» не существовало в природе. Лелька призналась, что очень трудно дожидаться, пока мамин крем кончится, и, чтобы ускорить процесс, она тайком спускала жирные белые кляксы в унитаз.

Голубой бланк постепенно заполнялся. Память — причудливый механизм, и никогда не известно, кто или что приведет его в действие. Реклама знаменитого крема вдруг помогла вспомнить фамилию немца-кондитера из Петербургского предместья: Нивельштраух.

Кондитерская следовала сразу за табачной фабрикой. Вновь обретя фамилию, кондитер ожил в памяти, как и его узкая лавка, пеналом уходящая в глубь здания, скромная витрина, три круглых мраморных столика для случайно забредших любителей кофе и штруделя, и полутемная кухня с высокими потолками, где всегда вкусно пахло тестом и пряностями. В углу кухни находилась кладовая с припасами, а на лестнице черного хода молочница оставляла каждое утро бутылки с молоком и сливками; и как удивительно, что теперь все это уместилось на одной строчке казенного бланка.

Долго бродили по Старому Городу в поисках парфюмерного магазинчика из 20-х годов, которого тоже ждала пустая строчка в пенсионном листке. «Давно! — удивилась девочка, — а памятник Свободе уже стоял?»

— Что ты! Памятник еще не скоро построят... А то двадцать первый год был, когда меня взяли духи продавать, только-только Гражданская война кончилась!

Лелька напряженно молчала, потом спросила:

— «Гражданская война» — это когда военные с гражданскими воюют?

Ирина вовремя не улыбнулась. А потом улыбаться совсем расхотелось: что ж, так и есть: военные с гражданскими, гражданские с военными... Во втором классе историю не учат.

— Когда все со всеми воюют. Не разбирают, кто военный, кто гражданский.

На самом деле, проскользнула мысль, трудовой стаж и надо бы отсчитывать от Гражданской войны, от Ростова-на-Дону. Родной город обоих родителей, тот неудобный, голодный и выморочный Ростов вспоминать было все же... весело:

Купите бублички,
Горячи бублички,
Платите рублички,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную
Торговку частную,
Ты пожалей.

Бойкая песня захлестнула, как весенний разлив, не один Ростов, но и Одессу, и весь юг, если не всю Россию. Жалостные слова настолько не вязались с бесшабашным ритмом, что, как бы ни сокрушалась торговка о своей судьбе, пожалеть ее было никак не возможно.

Ирочка частенько бывала такой торговкой — то вечерами, то по воскресеньям, когда особенно охотно «платили рублички». Случалось, платили и керенки — было бы за что платить. Она ездила в дальние станицы за мукой и за постным маслом, а потом пекла пирожки — то с капустой, то с требухой, и ходила по вечерним улицам с лотком.

Ночь надвигается,
Фонарь качается,
Толпа вливается
В ночную тьму,
А я, несчастная
Торговка частная,
Всю ночь ненастную
Одна стою.

Пел весь Ростов, пела и она, легко импровизируя и так меня оригинальные слова, что теперь уже не могла бы сказать, как петь правильно? Да это было не важно: пирожки раскупали быстро, и она спешила домой.

Не всегда это были пирожки — бывало, что и папиросы: Мотя с Андрюшей крутили и набивали гильзы, а сестра шла торговать. Курево шло нарасхват, особенно с вокальным сопровождением:

Отец мой пьяница,
Над рюмкой чванится,
К бутылке тянется
Который год...

За вокал платили дополнительно, охотно и щедро. Очень уж курьезно выглядела милая, скромно и опрятно одетая барышня, звонко поющая:

Я неумытая,
Тряпьем прикрытая...

С удовольствием останавливались послушать про отца-пьяницу и прочие душераздирающие перипетии жизни обаятельной торговки:

...А мать пропадающая,
Сестра гуляющая,
А я курящая,
Смотрите — вот!

В этом месте Ирочка картинным жестом подносила ко рту папиросу; зрители смеялись и быстро раскупали весь лоток. Певица торопилась домой, где, кстати, обреталась и настоящая ее сестра, которая тоже гуляла, но не далее, как под стол пешком.

Нет, такое не впишешь. Даже из песни ясно: «торговка частная», а частникам пенсии не начисляют. Да и невелик труд с лотком ходить по улицам, мало ли было ей подобных! Самое трудное было втиснуться в поезд, куда лезли все такие же, как она, только взрослее, а значит, сильнее и опытнее. Могли отпихнуть — и отпихивали. Домой с пустыми руками не придешь: дома есть нечего. Ждать следующего поезда... А когда он придет? С отчаянием цеплялась за ускользящий поручень — главное, не отпустить — а ноги, всегда легкие, не поспевали за набирающими ход колесами...

Но в станицу — легко, самое трудное — назад.

И самое страшное: руки заняты.

В руках мешок.

Не у нее одной — у всех: за то их и называли мешочниками.

И хорошо, если мешок: мешок уронишь, так поднять можно. А если бутылка с маслом?.. Такое сокровище несешь, как младенца: не дай Бог уронить.

Так, с молитвой, и бежала к станции.

— Большая бутылка? — спрашивала внучка.

— Не «бутылка», а бутылка. Четверть. Четвертная бутылка.

— Четвертинка, как водка? — Лелькина жизнь обогатилась новым опытом.

— Нет! — досадовала бабушка, — это... Погоди, дай вспомнить... Ну да: три литра, так и есть. Четверть — три литра и будет. Никакая не четвертинка.

Как бутылка ни вытирай, а скользит. Из рук выпустить — Боже сохрани! А если и пшеном или мучицей разживешься, да масло это — тогда как?

В поездах тоже по-разному случалось. Кто руку подаст, кто подсадит; другой, наоборот, столкнуть норовит. Хорошо, если вступится кто, но такое случалось редко. Бывало, что поезд останавливали солдаты: проверка документов.

Какие у тех людей документы, помилуйте?

Гоните рублички,
Да поскорей...

А если нет денег? Ничего, кроме мешка? Мешок и был документом: отберут, и скажи спасибо, если с поезда не ссадят.

От проверок люди лезли на крышу: прятались. С крыши ее тогда и столкнули, на полном ходу.

Это тоже — Гражданская война?..

Как осталась жива? — Бог весть. Или мешок спас, к спине привязанный, но только не убила, хотя долго лежала

без памяти. И тут Господь уберег от лихого человека, каких немало было вокруг Ростова в то время. Кое-как выбралась на проселок, а дальше не смогла: ноги не держали. Спасибо, ехали мимо станичники. Баба запричитала; уложили в телегу, с привязанным мешком, и довели до дому. «Я уж голову потеряла», — суежилась мать, не подозревая, что дочка чуть не потеряла ее в буквальном смысле. Во всяком случае, свирепые головные боли начались вскоре после того эпизода и уже не оставляли ее.

Забавно, что до сих пор помнились названия станиц: Черкасская, Александровка, Самарская, Тасман... Когда кончалось лето, везла оттуда фрукты, а потом стояла с матерью на майдане — торговала.

И тогда, и теперь слова «мешочник» и «спекулянт» бранные, а за что? На этих мешочниках держалась торговля между Ростовом и отдаленными станицами. Горожане везли какие-то безделки: фарфоровые чашки, что-то из обуви, мануфактуру — в обмен на муку и сало; наиболее расторопные, как «торговка частная» Ирочка, из *натуральных продуктов* извлекали двойную пользу: кормились сами и кормили других, после чего везли в станицы вырученные «рублички» для более полноценной торговли.

Попробуй запиши такое в трудовой стаж...

А если бы не эти теплушки, при одном воспоминании о которых холод по спине, не станицы, не мешки, пригивавшие ее к земле, трудно сказать, как сложилась бы судьба их семьи. Ведь сама Ира жила в пансионе для детей беженцев, жила на всем готовом, к тому же ее учили немецкому, французскому и прочим школьным премудростям. Какие-то

французские словечки прильнули к памяти, как тополиный пух Ростова к волосам, да так и остались. Жизнь в пансионе совсем не походила на прежнюю, домашнюю, как и шумный южный Ростов ничем не напоминал строгий западный Город, куда хотелось вернуться, как будто можно вернуться хоть куда-нибудь — и застать все, как было.

Девочки спали в просторном помещении с нарядным названием «дортуар», а на уроки ходили в классы. Батюшка первым заметил, что новая пансионерка крестится двумя перстами, и на уроке Закона Божия спрашивал ее много по священному Писанию. Потом осведомился, откуда она приехала, раздумчиво покивал и позволил сесть.

Пансион, светлый дом с колоннами у входа, был окружен большим разросшимся парком. Запомнился этот парк и скамейки в аллеях, нагретые южным солнцем, — летом там можно было гулять и учить уроки. Запомнилась кастелянша с торчащими вперед зубами, как у сказочной бабушки Метелицы, и такая же, как Метелица, добрая. Там же, в саду, она охотно задерживалась около группки пансионеров послушать, как поет новенькая: «Шел казак на побывку домой...»

Чисто жаворонок, радовалась кастелянша, дал же Господь такой голосок. С тех пор звала Ирочку: «Жаворонок наш».

Пансионерка Ирина Иванова училась прилежно и была на хорошем счету. В пансионе знали, что семья бедствует, поэтому разрешали отлучаться домой.

Училась она с таким же наслаждением, как пела. Запомнилась обложка учебника: «Элементарная грамматика русского языка», потому что не знала слова «элементарная». Больше всего любила уроки словесности и не могла понять,

как чтение и книжки кому-то могли казаться скучными. Ирочка легко запоминала стихи, любила декламировать и охотно выступала с декламацией, за что была отмечена особой похвалой.

Куда ты ведешь нас?.. Не видно ни зги! —
Сусанину с сердцем вскричали враги...

Многие тогда были охвачены магией Ивана Сусанина, хотя война шла вовсе не с сарматами, да и в Ростове трудно было представить глубокие московские сугробы, но людьми владел жертвенный патриотизм — теми, кто лежал на лазаретных койках, кто бежал от немцев и нашел приют на берегах Дона, и теми, чьи мужья и отцы сражались за ту же Россию, которой отдал некогда жизнь легендарный Сусанин:

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!

Интересно, изменилось бы что-то, узнай важные господа из Попечительского совета, как пансионерка Иванова бежит с мешком к поезду, спотыкаясь о свою ношу, или как продает дыни на базаре?

Едва ли.

Вся, вся жизнь стремительно менялась. За три года войны Россия изменилась намного сильнее, чем за триста лет, истекших со времени Ивана Сусанина, чья кровь «для России спасла» царя.

Изменилась до неузнаваемости, а кровь продолжала литься, хотя царя не спасла, потому что некого было спасать.

Утром в классе больше не молились за государя — молились за Россию.

В пансионе Ира скучала по дому: братик Симочка уже ходил, и с ним да с пятилетней Тонькой матери забот хватало. Прибежав домой, она хваталась за все сразу, но очень скоро начинала скучать по пансиону.

Особенно теперь.

«Теперь» началось вскоре после Рождества. Начальница волновалась: близилось выступление в лазарете для раненых, а сестры Бельские, вокальная гордость пансиона, лежали в тифу. Ни танцы, ни живые картины для лазарета не подходят; оставалась декламация. Кто-то нерешительно обронил: «Может быть, Жаворонок?», другой кто-то удивился: «А Жаворонок?», и весь пансион радостно подхватил: «Жаворонок!»

Оказалось, Ира легко пела без аккомпанеента и с такой быстротой разучила несколько романсов, что не потребовалось многочисленных репетиций. Так же легко и без смущения запела в лазарете, и солдаты выгибали шеи, чтобы разглядеть певицу, а в дверях толпились раненые на костылях, и сестры милосердия не прогоняли их, потому что тоже слушали. Тишина воцарилась, как только поплыли первые слова:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...

Утро было как раз таким. Потом — словно кто-то невидимый ударил по струнам, — спела «Очи черные», и так

страстно, так азартно спела, что нельзя было не вспомнить о бабке-цыганке, хотя бабка здесь совсем была ни при чем. Ире хлопали; она переводила дыхание, прикладывала к горячим щекам ладони и снова пела. Пела все, что вспоминалось: долгие казачьи песни, романсы; не забыла и «Жаворонка».

Если бы у Ирочки спросили, откуда она знала то, что пела, она бы удивилась: люди поют, как же не петь? Пела мать; пели бабы-прачки на берегу Дона, девочки переписывали друг другу в альбомы красивые песни, пела кухарка; напевала вполголоса кастелянша, штопая белье... Пели девушки в станицах; а в тот день пела она, много и охотно. И, конечно, «Бублички» — эту пришлось исполнить на «бис».

Через неделю ее вызвали к начальнице пансиона. За «Бублички», не иначе.

Вдруг выгонят?..

В кабинете, кроме начальницы, сидели две дамы: молодая, в глухом сером платье и с пышными светлыми волосами, похожими на нахлобученную шапочку, и пожилая — седая, вся в черном и с лорнеткой.

Именно лорнетка почему-то утвердила в опасении, что исключат непременно.

Однако никто про «Бублички» не вспомнил, хотя говорили как раз о пении. Точнее, о том, что весь следующий год Ира будет брать уроки музыки и вокала. Так решил Попечительский совет.

При этих словах начальницы пожилая дама легонько кивнула, а ее спутница с улыбкой обратилась к девочке: «Вас, я слышала, Соловьем называют?»

— Жаворонком, — почтительно поправила начальница.

— Вот и славно, — неожиданно густым, низким голосом отозвалась старуха, — плох тот жаворонок, который не хочет стать соловьем, — и засмеялась, глядя на сконфуженную девочку.

Про «Бублички» забыли, как Ира забыла про лорнетку, совсем не страшную. Она научится петь, как настоящая певица, а учить ее будут — шутка сказать! — целый год!

— ...Целый год анафемский, прости, Господи, мою душу грешную, — сетовала Матрена, — то одни, то другие... А бабы на майдане говорят, скоро под немцем будем, — и придиричливо рассматривала на свет пятирублевку с двуглавым орлом.

Ирочка самозабвенно пела, наслаждаясь своим пеньем, как настоящий жаворонок, и ей не было дела до слухов, да и кого в юности волнуют слухи? Однако не заметить тревоги родителей не могла. А как не тревожиться? Ростов был занят белоказаками, но откуда-то шли *красные казаки*, хотя люди понятия не имели, много ли этих красных, в то время как о немцах знали твердо: тьма, четыре года война идет. Но еще больше, чем немцев, боялись большевиков: казак, какого он ни есть цвета, все ж свой брат, донской казак.

А большевики?!

О них заговорили и в станицах, и в поездах: если, дескать, большевики остановят поезд, то хуже некуда.

В свои шестнадцать лет Ирочка немцев не видела, а мужчины делились для нее на солдат и несолдат. Последних было немного: отец, ее дядя, батюшка да мешочники, которых встречала в поездах. Солдаты лежали на лазаретных койках или стучали костылями в коридорах, ходили по улицам — кто с винтовкой, кто с гармоникой; одни веселые, другие угрюмые или пьяные...

Гражданская война.

Уезжать, решили мать с отцом. Ждать нечего, да и не держит в Ростове ничего, кроме нужды, которую Матрена переносила крайне болезненно.

...Дом, и так скудный, быстро пустел: раздавали утварь, связывали тощие узлы. Прощались с родными, и каждое прощание было мучительным: не знали, что кому уготовано.

Последние дни в пансионе были особенно тяжелыми. Трудно было поверить, что, когда деревья в парке зазеленеют, ее здесь уже не будет. Зацветут акации, зашумят тополя на улицах, и снова распахнется витрина с фотографиями, которые Ира так любила рассматривать, дивясь одновременно собственному отражению: казалось, кто-то чужой. Сколько раз любовалась она каллиграфическими буквами на вывеске фотографа: «Г. А. Шифринь» и выставленными карточками — и больше не увидит?..

Как быстро человек прирастает к городу своей юности!

Дамы-попечительницы убеждали оставить Ирочку хотя бы на год... Матрена и слышать не хотела: какое ж это ремесло — песни петь? — Бздуры.

Собрались так скоропалительно — стриженная девка кос не заплела, да и какие косы после тифа, — что даже с дедом и бабкой толком не простились, отчего отец был необычно угрюм и как-то изменился лицом.

Сели — втиснулись в поезд 9-го марта, в праздник Сорока Мучеников.

В этот день, по поверью, прилетают жаворонки.

Жаворонок улетел.

Вспомнишь и лица,
Давно позабытые....

Сколько лет прошло... Лица дам-попечительниц забылись, вот разве что лорнетку помнила, низкий, почти мужской голос: «Плох тот жаворонок, который не хочет стать соловьем» да пышные, как меховая шапка, волосы.

Поезд, долгий путь через всю Россию...

Если кто-то и мог знать, что спустя двадцать три года будет другой поезд, в котором она будет уезжать от другой войны, так только ростовская бабка; однако она так и не погадала Ирочке на своих цыганских картах. Может, потому и не гадала, что — знала. Знала то, чего никто знать не мог: Судьбу.

...Уезжали из Ростова — от войны, от немцев — дальше и дальше, не зная или не веря, что с немцами уже подписан мир. А хоть бы и так — с большевиками-то мир никто не подписывал! Ира думала о родном городе, каким помнила его, но перед глазами стоял Ростов, Садовая улица, обсаженная акациями, коридоры пансиона... Звучали слова матери: «Сама мне спасибо скажешь. Вас пятеро; всех поднять надо. Дельному чему выучишься — и пой сколько влезет!»

Не хотела себе признаться, но обида — маленькая, задавленная, единственная за всю жизнь обида на мать — осталась навсегда.

Решила про себя, что непременно когда-нибудь поедет в Ростов.

Так и не поехала никогда; не получилось.

...Поезд подходил к Городу, откуда четыре с лишком года назад они бежали от немцев и где оказались теперь снова, спасаясь от тех же немцев — и от большевиков.

В Городе были немцы — как раз потому, что мир с ними действительно был подписан, и Город принадлежал теперь

немцам, как и вся земля, бывшая западная окраина России, а нынче придаток Германии. Появились вывески на немецком языке, но это не пугало: вывески были и до войны.

Страшно было другое: большевики, которых здесь тоже ждали и боялись, как и на Дону, но бежать было уже некуда.

Круг замкнулся.

Из города юности — в город детства, где никто не пел «Бублички», хотя «торговок частных» тоже хватало. Жизнь была скучна, как и в Ростове, но, несмотря на немцев, было спокойней: здесь был дом. Нужно было оказаться вдали от него, пережить нужду, голод и смертный тиф, чтобы осознать это. Да, жизнь была скучна и дома, но Ира не ездила на крышах поездов за провизией: теперь они с братьями ходили за той же провизией по деревням; иногда и Тоньку брали с собой. Когда сорок верст, когда и побольше; спасибо, если хуторянин позволит присесть на телегу. «А сколько это — верста? Это километр?» — спрашивала Лелька, и бабушка терялась: «Тогда километрами не мерили; версты были. Наверно, не меньше километра...»

В деревнях жили сытно, так что никогда с пустыми руками не возвращались, но пирожков на продажу, как в Ростове, она уже не пекла.

Однажды, когда бежала домой по холодной пыльной улице, порвался шнурок на ботинке. Присела на крыльцо и начала связывать тонкие лохматые концы. Услышав приближающиеся шаги, торопливо одернула край пальто.

Двое солдат сняли винтовки и сели поодаль; третий остался стоять. Закурили. Стоявший, подмигнув товарищам, спросил:

— Спугали мы вас, барышня?

— Отчего же? — Ира пожала плечами. — Отчего мне вас бояться?

Они закивали, выдыхая махорочный дым в сторону.

— И то. Небось не обидим, — произнес один, с усамы, похожими на отцовские.

Ирочка завязала шнурок и подняла глаза:

— Я только большевиков боюсь.

Солдаты переглянулись.

— Большевиков? — переспросил усатый, — А где вы, барышня, большевиков видали?

Пришлось признаться, что — нигде, да и никто их не видал, но люди ужасы всякие рассказывают, вот и страшно. Поднялась, легонько отряхнула пальто. Исцеленный шнурок был крепко затянут. Улыбнулась:

— До свидания!

— Бывайте, барышня, — ответили вразнобой, а усатый добавил самым обычным голосом: — Мы и есть большевики, — и усмехнулся.

Шутил?!

Они — большевики, которых надо бояться?..

Сколько лет прошло, а перед глазами, как сегодня, выгоревшие шинели, мохнатые зимние шапки и длинные винтовки за спиной. Мы и есть большевики.

Нет, не боялась. Должно быть, поэтому не испугалась впоследствии и Колиного признания: я — коммунист.

А солдат не шутил: в 19-м году большевики заняли Город, и хоть он прожил под советской властью меньше года, все же это была советская власть номер один.

Продолжение Гражданской войны.

«Меткие красные стрелки» воюют и с немцами, не желающими уступать Город, и с белогвардейцами, и кто только с кем не воюет, пока вдруг не выясняется, что установилась совсем другая власть, не подчиняющаяся России, а «красные стрелки», наводящие ужас на горожан, оказываются за границей — в России, одного с ними цвета.

Но бояться перемен было некогда. Ира, вместе с двенадцатилетним Мотей, устроилась работать на сахарную фабричку, совсем игрушечную по размерам: один подвал. На плите постоянно кипели котлы с густым сиропом. Расплавленную прозрачную жижу выливали на большой мраморный стол, где было расстелено чистое полотно, и давали остыть. Иногда в сахар добавляли краску, и он застывал то розовым, то оранжевым ледяным катком; после этого нужно было аккуратно разлиновать поверхность и разломать на куски одинаковой формы. Последняя часть — самая ответственная: хозяин всегда был мрачен, пересчитывая неровные обломки. В конце дня Мотя развозил на тележке по лавкам готовый товар.

День начинался в 8 утра и заканчивался, когда уже было темно; платили им по 10 копеек.

— Как мало! — сочувствовала внучка. — И вы целый год так работали?..

И не умела бабушка объяснить, что — да, мало, но и много тоже: ведь на десять копеек можно было купить хлеба на всю семью да фунт сметаны.

Мотя тоже не забыл, когда подошла его очередь пыхтеть над таким же бланком: «Помнишь, сестра, цветной сахар?» Как не помнить! И линейку, с которой приходилось соскребать липкий слой, и кубики сахара, и как брат тайком от хо-

зьяна совал в рот острые сладкие крошки... «Вписать?» — Мотя грыз, как школьник, конец ручки.

Поиски прошлого.

Иногда оно оказывалось совсем рядом, ведь сегодняш- ний день вырос из поблекшего вчерашнего, и нужен какой- то толчок, короткий пробег часовой стрелки, чтобы искомое прошлое ожило: мелодией, полузабытым словом, старой ве- щью — всегда с ошеломляющей внезапностью.

...Когда Лелька приходила, то сразу бежала в свой люби- мый угол, где стоял — или стояла?.. Лучше объяснить.

В каждом доме существует какой-то предмет, порой неле- пый, значимость которого не понятна чужим. У такого уродца есть свое имя и биография, своя история и надежда — смеш- но сказать! — на будущее. В бабушкиной комнате стояла тум- бочка не тумбочка, постамент не постамент, а нечто вроде того и другого: сверху полка, снизу шкафчик с дверцей. «Не- что» смастерил когда-то Максимыч для Бог знает какой на- добности и поставил рядом с печкой: авось пригодится.

Так и получилось.

В один прекрасный день неутомонная Таечка приволок- ла с подругой откуда-то граммофон и с пыхтеньем водрузи- ла сверху.

Граммoфон, к ужасу Матрены, был похож на помесь ги- гантского экзотического цветка со Змеем Горынычем. Из бока гибрида торчала изогнутая ручка, которую Таечка тут же стала азартно крутить, и старухино: «На кой?..» было за- глушено треском и шипеньем, а потом запела пластинка:

Что стоишь, качаясь, то-о-онкая рябина...

Тайка пела вместе с пластинкой, страстно и фальшиво, горестно раскачиваясь:

Кабы мне, рябине, к ду-у-бу перебраться,
Я б тогда не стала гну-у-уться и качаться.

Четырехлетняя Лелька смотрела на маму и тоже скорбно раскачивалась под безнадежные слова. Пластинка утомилась и опять перешла на шипение. «Граммфон!» — горделиво сказала Тайка, словно сама выдумала диковинный аппарат. Девочка некоторое время боролась с трудным словом, потом объявила: «Магафон!»

Имя прочно приросло к новому приобретению, хотя сам граммфон прижиться не успел: в один из набегов Тайка унесла его, вместе с черными колесами хриплых пластинок, и Матрена перекрестилась с облегчением. Дело рук Максимыча хоть и лишилось ящика с трубой-ракушкой, но сохранило имя «магафон». Смолкли жалобные песни, никто больше не качался и не шипел. Как сложилась судьба тонкой рябины, и вправду ли ей было суждено век одной качаться, неизвестно, а к Тайке судьба оказалась не столь сурова: она благополучно вышла замуж, вместе с граммфоном. Магафоном завладел Максимыч, так как в ящике удобно было держать лекарства, прописываемые докторами от язвы, а что в глубине удобно становилась четвертинка, о том знать не надо было ни докторам, ни тем более Матрене.

У вещей, как у людей, своя судьба. Когда умер отец, Ирина извлекла из шкафчика один аптечный пузырек с остатками мутной жидкости и один совсем не аптечный, но пустой,

и отцовскую любимую граненую рюмку: *келишек*. Кроме этого, в шкафчике лежали две тоненькие книжки: «Федорино горе» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Последняя находка и определила нового владельца: магфон был отдан в распоряжение Лельки. «На кой ребенку целый магфон?!» — нахмурилась Матрена и долго шелестела бумагой, открывая и закрывая дверцу.

Время мчится быстро и не предупреждает о своей скорости. Умерла строгая бабушка Матрена, и целый магфон остался-таки ребенку. Лелька со вкусом разместила там все нехитрое школьное хозяйство, не поинтересовавшись нижним рядом, где под картоном были плотно уложены газеты. Что интересного?..

Как-то внучка появилась в разгар уборки.

— А я с улицы видела, как ты окно моешь! — закричала она с порога. — Давай, я помогать буду!

— Помогай: принеси газеты из кухни.

Лелька метнулась на кухню и вернулась растерянная:

— Нету...

Действительно, не было.

Что ж, у каждого свое представление об уюте. Надя тоже делала уборку — и выкинула. «Мое — мое, и твое — мое». Ирина озадаченно смотрела на мокрое стекло, а внучка вдруг вспомнила: «Бабушка, да в магфоне полно газет!»

В самом деле; спасибо, матушка-покойница сохранила. Вот и пригодились; неси!

Почти шафранной желтизны, сухие и шершавые, это были совсем не те газеты, которые по вечерам она приносила из киоска:

«ВЫИГРАЕТ ЛИ СЕГОДНЯ ЛАСКЕР У КАПАБЛАНКИ?»
«ГИНДЕНБУРГ ДАЛ СОГЛАСИЕ»
«СЕГОДНЯ — 14-я ГОДОВЩИНА НЕЗАВИСИМОСТИ»
«КАЖДОМУ ДОСТУПЕН ШОКОЛАД “ШОКЛЭ”»

И — знакомая арка заголовка: «СЕГОДНЯ».

Через полчаса Ира заставила себя вернуться к недомытым окнам. Лелька с восторгом читала вслух объявления: «УНИЧТОЖАЮ клопов, тараканов, крыс и мышей с полной гарантией. Желающие могут у себя сами уничтожить», — и тут же комментировала:

— Зачем объявление, если могут сами?

«Русский, заброшен судьбою в дебри Марокко, заканчивая свой срок службы, просит откликнуться будущую подругу жизни. Цель близка — ясен путь».

— Бабушка, а почему он ей письмо не напишет?

«ПЕРВОКЛАССНЫЕ ОБЕДЫ в интеллигентной еврейской семье».

«Годовое общее собрание благотворительного общества по призрению русских бедных состоится 19 марта».

— Специально собираются, чтобы презирать бедных? — возмущалась девочка, а после объяснения спрашивала: — А почему бедные пенсию не получают? — И тут же начинала смеяться: — Послушай, послушай: «КОММЕРСАНТ, среднее образование, обеспеченный, желает познакомиться с душевной обеспеченной некурящей дамой». А вот это мы видели на стенке, помнишь? «От крема “НИВЕЯ” станет кожа новее!»

«СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАМ! Очень дешево элегантная меховая кофточка к весне».

— А зачем к весне — меховая?..

На обратном пути — ох, как они обе не любили этот обратный путь! — говорили только о газетах. Как странно, что мать хранила их; зачем? «Читать, — Лелька пожалала плечами, — бабушка Матрена, наверно, газеты любила. Потому что книжки мне дедушка Максимыч всегда читал, и она над ним смеялась».

Ирина остановилась:

— Кто читал?

— Максимыч, — повторила Лелька, — я ему книжку приносила, а он брал меня на коленки и читал. Ты разве не помнишь?

Бабушка озадаченно помолчала, потом решилась:

— Максимыч был неграмотным. И он, и баба Матрена. Читать — умели, да.

— Читал, я помню!! Он очень любил «Сказку о рыбаке и рыбке» и еще... и другие книжки... Он читал!

— Это ты читала. И я тебе читала. А папа мой... Он на память заучил, так и «читал», Царствие ему Небесное.

Трудно сказать, кто был потрясен больше: бабушка или внучка.

Когда Ирина вернулась, комната встретила ее темными незанавешенными окнами, а в ушах еще звучали внучкины вопросы. Почему в жестяную мастерскую требуется мальчик, а не девочка? Анархисты — это кто? Что такое биржа? Эти газеты — дореволюционные?

Наполовину развернутые «дореволюционные» газеты лежали на столе, на кресле и даже на кровати — «Сегодня» двадцатипятилетней и более давности. «Сегодня», близкое для нее, ибо она прожила те дни, как прожила сегодняшний,

а для внучки — предание, отдаленное от сегодняшнего дня не на двадцать пять, а на сто лет.

Складывая шершавые листы, поймала краем глаза: «... собрание благотворительного общества по призрению русских бедных...» —

И сразу вспомнила свою пенсионную суету.

Отдел социального обеспечения располагался на шестом, самом верхнем этаже исполкома: хочешь быть обеспеченным — дойдешь. В небольшой комнате, заставленной канцелярскими шкафами, сидела молодая беременная женщина. Она пробежала глазами Ирин листок, конфузливо задержавшись на чеканной подписи кадровика Лядова, потом задала неожиданный вопрос:

— У вас есть свидетели?

Бабушка не поняла. Женщина терпеливо объяснила, что стаж работы в буржуазное время учитывается в том случае, если найдутся свидетели, не менее двух, которые подтвердят, что заявитель действительно работал в данном месте. Нет, документы в расчет не принимаются и не рассматриваются. Почему? Да потому, что документы, выданные буржуазной администрацией, не имеют юридической силы в советское время.

Каждое слово было понятно, но смысл сказанного оставался абсурдом. «И я как должностное лицо советую вам поискать свидетелей, — закончила женщина. — У вас вопросы есть?»

Должностное лицо явно переносило беременность с трудом. Неизвестно, была ли женщина привлекательной, потому что сейчас по всему лицу расплзлись пигментные пятна, губы вспухли и потеряли форму, волосы отказывались

держат завивку и висели тусклыми прядями. Вязаная кофта с оленями на груди едва сходилась, словно оленей силой растаскивали в разные стороны.

Отрапортовав весь положенный бред, женщина смотрела сочувственно и ждала.

У Ирины вертелся только один вопрос: почему она не перешьет пуговицы на кофте, но спросила о другом: «Первый?» Та радостно кивнула: «Ага. Скорей бы в декрет...» Потом добавила, заглянув в бумагу:

— Вот, например... Кто-то может подтвердить, что вы на табачной фабрике работали?

Кто ж из Палестины подтвердит...

— А родные подруги вашей? — настойчиво и с надеждой продолжала беременная, — или родные тоже в Палестину уехали?

— Нет, не в Палестину, — с трудом выговорила Ирина, — дальше.

Не получилось сказать ни про гетто, ни про видение, которое мучило ее с 46-го года: рыжий румяный мальчик выпрыгивает из горящего дровяного склада прямо в реку, не касаясь земли.

— Только один у меня свидетель: мой брат. Мы с ним год на сахарной фабрике вместе работали.

Та покачала головой: брат не может быть свидетелем.

Поищите, напутствовала женщина. Не может быть, что никого не найдете.

Оказалось, может.

«Не забудьте, профессиональная учеба а-а-атличненько зачитывается в стаж», — дребезжал в ушах голос кадровика.

Кристен и мадам Берг, которые удостоверили бы и курсы, и ее работу в модном магазине, жили в Германии, если... если жили еще. Герман, Ирочкин провожатый со всех работ, находился на противоположном конце материка. Позвольте, но ведь Герман — родственник? Положим, не просто родственник, а все равно что брат, но для исполкома — кузен мужа; но где он, Герман? То ли на Дальнем Востоке, то ли уже в Городе и, возможно, стоит перед зеркалом с галстуком, размышляя о странности бытия, но Ира об этом не знает...

Соседи?

Нет соседей. Вернее, нет тех соседей, которые помнят, как Максимыч крепил на дверь табличку «Г. М. Ивановъ»; все соседи сменились.

А владельцы магазинов и магазинчиков, фабрик и фабричек?.. В лучшем случае они разделили судьбу Германа; в худшем — были отправлены в гетто, как Дебора и Яшкапуля, пусть земля им будет пухом...

Им — или их пеплу.

Поиски прошлого затягивают — и затягиваются, как получилось с пенсией: свидетелей Ира не нашла.

Милая беременная чиновница уже нянчила дома младенца, а на ее месте сидел пожилой отставник с узкой орденской планкой и в черных нарукавниках. Он прочитал заявление и голубой бланк, несколько утративший свою голубизну, а потом защелкал на арифмометре и объявил сумму пенсии: 520 рублей.

За сорок лет работы... минус двадцать.

Двадцать лет труда в то время, которое одни называли «буржуазным», другие «свободным», третьи «республикой», никем не были засвидетельствованы, и потому оказалось воз-

можным просто стряхнуть эти годы с пенсионного бланка. Выходило, что бабушка не испытывала необходимости работать в продолжение двадцати лет, и только с приходом советской власти торопливо села за казенную швейную машинку.

Через несколько лет стряслась денежная реформа, и 520 превратились в 52 рубля «новыми». Новые деньги по своей миниатюрности казались вначале не настоящими деньгами, а фантиками; назвать их кредитками язык бы не повернулся.

Потом привыкли.

Гораздо труднее было привыкнуть к их мизерному количеству.

Кадровик, вручивший ей голубой бланк, не поверил бы, узнав сумму пенсии, но он только пожал руку отличнице производства, неприятно задев ладонь своим когтистым ногтем, пожелал удачи — и тут же забыл о ее существовании.

А может, и сам уже вышел на пенсию.

15

Бабушка снова приехала в больницу. Широкая каменная лестница вела вверх, где начинался длинный коридор. Здесь было очень светло из-за окон по обеим сторонам. После подъема было трудно дышать, но Ирина спешила, тем более что коридор сделался уже и темнее: окон больше не было.

Как не было и собственно коридора, а какое-то углубление в стене: ниша не ниша, тупичок не тупичок, но стояла в этом углублении Лелькина кровать. Бросилось в глаза вет-

хое, жалкое одеяло. Оно свисало до полу, и были видны про-
рехи с лохматыми нитками. С трудом оторвавши взгляд от
жалкого одеяла, Ирина увидела, что у внучки наголо обрита
голова. «Что ж темно так, Лелечка?» — но та махнула рукой
и ничего не ответила. Какая худющая, подумала бабушка,
даже скулы торчат. «Сядь, ты устала», — сказала внучка,
только голос был не внучкин, но очень родной и знакомый.
Ира устроилась на краешке кровати, в ногах, и спросила:
«Как тебе, больно?» — и увидела, что это не Лелька вовсе,
это — мама; а голову ей обрили из-за тифа. Крепко обняла
худые ноги под тонким одеялом и, не в силах сдержать люб-
ви, жалости и страха, заплакала навзрыд.

...Как тогда, в Ростове.

Окна были открыты, валик за стеной еще не падал.
Значит, рано. Будильник стучит так глухо, словно кто-то
в шерстяной варежке ритмично колотит в дверь. Прошло
несколько длинных мгновений, прежде чем поняла: это не
будильник, это сердце. Нужно встать за желтой таблеткой,
а еще бы лучше накапать корвалол, но во всем теле была
ленивая усталость, которая не пускала.

Сон тоже не давал себя забыть, наоборот: перед глаза-
ми стояло дрянное, жалкое одеяло. Что сегодня, среда? Или
четверг? Среда; значит, сон вещий. Знать бы, что сулит. По-
койница мать, с легкостью вернувшая ее ни много ни мало
на семьдесят лет назад, была мастерица гадать сны. Что-то
невольное осело в памяти из увлеченных Матрениных тол-
кований, но полагаться на это не стоит: память услужливо
подсовывает кем-то уже виденные сны, как использован-
ный билет в кино; а Матрену не разбудишь и не спросишь.
Кажется, это хорошо, если мать снится.

Как — мать? Ведь это внучка была, только голова зачем-то обрита! А лицо не Лелькино — мамино лицо!

За приоткрытым окном деловито шуршал дождь, будто кто-то страницы перелистывал. А что сердце, так это на погоду.

Когда же ее домой отпустят, ведь август на дворе?!

Пахучий корвалол урезонил сердце, но двигаться, тем более выходить из дому — шевелиться, как называла это бабушка — не хотелось.

Именно поэтому шевелиться было необходимо.

В старости спасает привычка. Уже не замена счастью, но защита от болезни, от неряшливости, от самой старости: важно все время держать ее позади, пусть на расстоянии шага, но не позволять обогнать.

Привычка спасает от небытия.

Помолиться Богу, съесть бесхитростный завтрак: среда — постный день. Диктует не желудок, а сердце, поэтому вместо кофе чай, а к чаю хлеб, два-три ломтика. Когда бабушка говорила, что предпочитает хлеб пирожному, это не было ни бахвальством, ни ханжеством: черный хлеб, которым издавна славился Город, был вкуса изумительного. После войны хлеб неузнаваемо изменился, но ее вкус изменился тоже, как поменялось и отношение к хлебу: после пережитого голода хлеб стал абсолютной величиной и не подлежал критике. Хлеб — это святое. Если он черствел или плесневел, бабушка аккуратно обрезала края, но никогда не выбрасывала даже крошки с хлебной доски — отдавала птицам.

После завтрака надо было накормить тех, кто зависит от тебя: полить цветы.

Вытереть пыль, если есть силы. Сегодня не было.

Про единственную в мире роскошь человеческого общения бабушка не читала — катаракта отняла главную роскошь ее жизни: книги. Телевизор не мог заменить чтения, но развлекал и заменял по вечерам газеты, а днем был бесполезен.

Сварить обед; заштопать чулок — на ощупь. Очки надевала по привычке, а не потому, что облегчали штопку. Простирнуть какую-то мелочь, что в ее восемьдесят пять лет все равно, что целую ванну белья выстирать тогда, у Тони.

А потом прилечь, чтобы не дразнить усмиренное сердце. Прилечь — и вспоминать.

Воспоминания заменяют чтение. Сначала вспоминаешь прочитанное, затем — прожитое...

Как Лелька возмутилась: «Ты... ты на крестную работала? Стирала на нее, как прачка?!»

Можно рассказать все как было — и это будет правдой; но невозможно объяснить, почему это — неправильная правда, ненастоящая; что все намного сложнее, тем более сейчас, из другого времени. Не поймут; даже Лелька.

Она перестала стирать у Тони, когда началась работа на «Большевичке», тем же летом сорок шестого. Это не значит, что перестала помогать; часто что-то шила или перешивала для детей: машина уцелела.

Чудом, не иначе. Матрена была свято убеждена в этом, и дочь не могла не согласиться. Да как же иначе? В сентябре сорок первого, ни с того ни с сего, Коля появился на пороге, придерживая одной рукой швейную машину, а другой вытирая потное лицо: «Мало ли что, мамаша», — и больше ничего. Такие ничего не означающие словесные обрезки, вроде «в случае чего» или «мало ли что» обладают силой мины

с часовым механизмом, где стрелки должны встретиться на этом загадочном «что». И, разумеется, «что-то» происходит, но откуда, откуда, скажите на милость, мог об этом знать Коля, стоявший в дверном проеме, как спешившийся всадник, с рукой на шее лошади, то бишь швейной машины? Какой внутренний толчок заставил его перенести в тещину квартиру главное Ирочкино сокровище? Говорят: не буди лихо, пока тихо.

Когда Ирина вернулась из эвакуации и увидела машинку, она нежно провела огрубевшей рукой по золотой надписи с пузатой заглавной буквой «S», и только через несколько лет мать рассказала, какой странный Коля был в тот день.

Согласился выпить чаю, но сидел рассеянно и не пил, хотя несколько раз поднимал чашку — и ставил обратно на блюдце, не донеся до губ; медленно постукивал пальцами по скатерти. Потом неохотно встал, потянулся за пиджаком. Заметив его влажную, липнущую к телу рубашку, Матрена решительно распахнула шкаф: «Надень Андрюшину». Зять послушно взял первую попавшуюся и чуть было не натянул поверх своей, мокрой от пота. Теща властно остановила бессмысленное действие, а он улыбнулся от собственной бестолковости, и улыбка получилась такой растерянной, что Матрена не удивилась, когда он застегнул рубашку не на те пуговицы и не мог понять, отчего одна пола длиннее другой. Пришлось застегивать самой, как маленькому. «Ты что ж креста не носишь? — удивилась, и зять недоуменно пожал плечами. — Постой, у меня должен быть где-то в шкафу», но Коля заторопился: «В другой раз, мамаша». Уходя, перекрестился на икону в углу кухни, и Матрену это больше встревожило, чем порадовало: зять ходил в моленную толь-

ко по большим праздникам, и молящимся мамынька его не помнила. Она хотела накормить его настоящим обедом, как уже привыкла делать, да поискать нательный крестик — не может быть, чтобы не нашелся, — но Коля простился и переступил порог. Перекрестила его удаляющуюся спину, а в голове крутилось: *на нем креста нет*, и хоть все было именно так, в словах был какой-то выверт, обман.

Коля уходил, и на нем не было креста.

Через два дня его увели.

Потом, когда его уже не стало, отдали золотое обручальное кольцо и профсоюзный билет. Был бы крест, вернули бы и крест.

Коля креста не носил.

Да разве в кресте дело? Крест — это символ, а не амулет.

...Отец вернулся домой вскоре после Ирины, словно вынырнул из бездонной неизвестности, как из темного колодца. Он сильно хромал и от этого казался совсем старым. Вернулся, измученный тоской по дому, который снился ему в далекой Сибири, где после ранения его выхаживала то ли санитарка, то ли медсестра, но выхаживала не на больничной койке, как полагается, а у себя дома, когда из госпиталя его уже выкинули. Того, что он осмелился болеть не в больнице, Матрена ему не простила до самой смерти, и жизнь их стала адом.

Средний сын, Андрюша, так и остался в неизвестности, и эту неизвестность подтвердила официальная бумажка «с войны», как говорила мамынька: «Пропал без вести».

Вот Андря носил крест, думала Ира, а что это изменило? Он мог спастись, спорила она сама с собой много лет; он ведь мог, как Мотя...

Мог. А стал бы?

А Коля? Коля стал бы так спастись, укрываясь по деревням, в чужих домах? Стал бы отсиживаться в подполах и погребах, вздрагивая от малейшего шороха? Смог бы так, как брат, пролежать сутки ничком в полусожженном пустом доме? Принял бы скудный кусок хлеба и ночлег, чужую рубаху, чужую жену?..

Ирина дорого бы за это дала. Чтобы выжил не ценой предательства, не подлостью, а — милостью; важно ли, кто руку подаст и приютит?

Как же, «руку»; держи карман шире. Одними и теми же словами говорили мать и Пава, Мотина жена. Пава распалась, не обращая внимания на детей: «Твой брат, да ведь он кобель, потаскун какой; с кем только не блудил!.. А ты: “руку протянет”», — передразнивала с издевкой и прибавляла такие слова, что Ира однажды не выдержала:

— За что ты его *блякаешь*? За то, что домой вернулся? Что тебя вдовой не оставил, а детей сиротами, за это? Да ты должна Богу молиться, что он домой пришел! Он не кобель, он человек; как можно не понять, Пава?! Да если б моего... если б моему Коле какая-нибудь женщина дала приют, если б уберегла и сохранила... Господи! Да я б ту женщину нашла, я в ноги бы ей поклонилась в благодарность, что моего мужа спасла. А ты...

Пава была нестигаема. Невозможно было представить себе, что она знает такие слова, но она не только знала, а швыряла их с какой-то уверенностью, словно вынужденная супружеская неверность мужа дала ей особое право их произносить.

— Если бы... если бы моего... — Ирина выбежала, махнув рукой, а во дворе увидела брата.

Он стоял у калитки, втянув голову в плечи и ссутулившись. Когда повернулся, в глазах была такая обреченность, что Ирина испугалась:

— Терпеть надо, Мотя. Как-то, может, перемелется, — улыбнулась через силу, — мука будет, — и пригладила ему волосы, как делала в детстве.

Странные какие слова, подумала она, и кто их придумал? «Перемелется — мука будет». Или му́ка? Все ли можно перемолоть с таким завидным результатом?

Что ж, жизнь покажет, мука или му́ка.

...Жизнь показала. В том же 46-м году появился на свет Митюшка. Ира обрадовалась: значит, брат прощен, и безобразные скандалы с позорными словами остались в прошлом. Да только не все оказалось так, а точнее, все не так.

Кроме Митюшки.

Оказывается, можно презирать мужа, чернить, поносить — и оставаться ему женой, и родить от него ребенка.

Мальчуган рос молчаливым, сосредоточенным и вскоре тоже, как старшие братья и сестра, привык к материнским попрекам и к постоянной виноватости отца, хоть далеко не сразу постиг смысл того и другого. Однако постиг явно до того, как Мотя ушел из семьи, — хотя бы потому, что ни особого удивления, ни тем более возмущения, которого так ждала Пава, мальчик по этому поводу не выказал. Да и то: ему шел уже семнадцатый год, старшие к тому времени жили своими семьями, а к тому, что мать постоянно недовольна отцом, парень давно привык.

Ни Максими́ча, ни Матрены уже не было в живых, а сестры мужа — Пава знала — всегда были на его стороне.

Было даже время, когда Тоня настолько рассердилась, что перестала с ней раскланиваться при встречах, устав заступаться за брата; сам он защищался только молчанием.

А потом, устав от собственного молчания и постоянного чувства вины, надел не торопясь пальто и вышел из дома, который построил некогда собственными руками, и больше не вернулся.

Было ему пятьдесят семь лет.

Говорят: «чаша терпения переполнилась» и никогда — «разбилась». Чувство вины, по-видимому, делает чашу терпения очень емкой. Мотя простился с дочерью и младшим сыном. Старшие сыновья жили далеко и в разных местах — кого куда офицерская служба забросила; им написал короткие письма и дал свой новый адрес. Да-да, адрес, ибо уходил не руки на себя наложить — руки ему, столяру, еще ох как понадобятся: заработать не только на алименты, но и на новую семью.

До его появления семья состояла из двух человек: мамы и двенадцатилетней дочки, поразительно похожих друг на друга и внешне, и характером; только Даша, мать, не так часто улыбалась, как девочка. У нее было постоянно извиняющееся, виноватое лицо, словно Мотя поделился своим привычным состоянием, и она взяла себе долю его вины. Даша приняла его, светясь добрым и милым лицом. Ира и Тоня с мужем тоже были очарованы тихим Дашиным обаянием. Оставалось только радоваться за брата. Новая жена расположила к себе не только сестер, но и детей: время от времени они охотно навещали отца, потому что в дом, когда-то любовно построенный, Мотя больше не приходил.

Никогда.

Правда, Пава и не допустила бы этого: ведь он кобель, да еще какой, а то, что произошло, то есть его уход из дому, только подтвердил ее правоту, что бы там ни говорили Ира с Тоней; ей виднее! Надо было сразу его выгнать, сразу, как только она с детьми вернулась из эвакуации. Выгнать поганой метлой и на порог не пускать! Пава щедро делилась этими не воплощенными в жизнь планами с дочкой, у которой уже был муж и двое детей. Нинка жалела мать, но... она так долго жалела отца, что не могла скрыть облегчения, чтобы не сказать — радости от того, как все устроилось в его жизни.

Не преминула Пава воткнуть при встрече шпильку и гордичке Тоне. Вот ты меня не хотела слушать, наступала она на невестку, а я ведь когда еще говорила: кобель! Что, не так?.. И великодушно сделала паузу, заранее торжествуя: возразить-то нечего!

Эта пауза была ошибкой. Тоня была так же сильна в житейской логике, как в арифметике:

— Ты, Пава, за моим братом жила, как за каменной стеной, все тридцать четыре года. Так? — Не дожидаясь ответа, который не мог быть никаким, кроме как утвердительным, продолжала: — Тридцать четыре года — не кот заплакал. Кобель, говоришь? А ты кто же, если так?..

Глянула на онемевшую, поверженную Паву и закончила ровным голосом:

— Что имеем, не храним. Христос с тобой; а теперь прости.

Расцеловались на прощанье, но Тоня дала понять, что жизнь брата обсуждению не подлежит.

Ира понимала брата и сочувствовала Паве: одной-то не сладко. И тут же видела, как сегодня, Мотину виноватую спину и голову, втянутую в плечи.

Жена не простила мужа, хоть Писание велит прощать даже врагам. Как же не простить того, кто *плоть от плоти*? Ведь мать тоже не простила отца! Или простить родного трудней, чем врага, и потому в Писании ничего не говорится о ближнем?..

Плоть от плоти, едина плоть... все равно, что простить себя. А себя простить — трудней или легче, чем врага?

Если бы чужая женщина спасла моего Колю, спасла и сохранила для моих детей, я бы до земли ей поклонилась. Молилась бы за нее.

Не нашлось такой, зато нашлась другая.

Та, что исполнила свой гражданский долг «не допустить укрывательства евреев и коммунистов». Пришла в комендантуру и сообщила Колин адрес.

Дело нехитрое.

Не объять этого умом.

...Как они оба, Коля и Герман, по-мальчишески гордились своей тайной причастностью ячейке! Однако трудно уберечься от соседского недреманного ока, особенно ничем не занятого.

Досужая гражданка жила на той улице, которая ответвляется от Большой Московской и названа в честь истока Малой Московской. Муж служил в Национальном Батальоне, а сама она не служила нигде, и если чем-то была известна, то разве что пылкой, но, увы, безответной любовью к цветам, и часами хлопотала в своем палисаднике. Тем не

менее, анютины глазки виновато никли и съезживались, ноготки опускали головки, не успев выпрямиться; упругие настурции, вопреки их журнальным аттестациям, наотрез отказывались быть упругими. Не намного дольше жили цветы в горшках. Альпийские фиалки, которые легко мирятся с неволей и бросают ей вызов, выстреливая побеги с острыми бутонами, у гражданки новых побегов не давали совсем, а прежние свешивались, как дождевые черви, под вянущими листьями. Только один вид флоры в ее палисаднике жил и процветал, в самом буквальном смысле слова: буйно красные, как созревшие помидоры, цветы с тусклыми листьями, точно вырезанными из зеленой пыльной бумаги. Странные цветы. Ира не знала, как они называются. Внешне женщина ничем не выделялась и не запоминалась, потому что на ружностью обладала весьма ординарной: кофта в крапинку, какая-то брошка... или не в крапинку? Одним словом, обыкновенная. И цветы эти красные.

С цветов и началось их знакомство, вернее, краткий разговор, так и не выросший в знакомство, потому как не было ни необходимости, ни потребности представиться; а для того, чтобы приветливо кивнуть при встрече, нескольких слов вполне достаточно. Классический образчик *шапочного знакомства* в дамском варианте, который избавляет от необходимости снимать, здороваясь, шляпку.

— Я смотрю, у вас на подоконнике целый сад, — улыбнулась женщина. — Вы что-то добавляете в землю, — она опять улыбнулась, — или слово заветное знаете?

Комплимент был приятен; Ирина поблагодарила и призналась, что заветных слов не знает, а земля — она и есть земля; лучше б у садовника спросить.

— Что-то у меня неважно растут, — покачала головой та, — я и в садоводство ездила, и новую рассаду купила... Не растут!

Никакого продолжения разговора не последовало, да и о чем говорить? Встречаясь впоследствии на улице или в лавке, здоровались. Так же было некогда и с цыганкой: много лет кивали, с улыбкой или без улыбки, пока шапочное знакомство не стало настоящим, в результате которого цыганка стала Марией, в то время как «та, с Малой Московской» долгое время ею оставалась, пока не сделалась гражданкой.

Зачем?!

Что побудило — или заставило — шапочную знакомую пойти в комендатуру и донести, какая корысть? Квартира? — Не нужна была гражданке квартира: у нее был свой дом и садик для ботанических утех. Чем объяснить интерес постороннего человека к чужой жизни, будь то цветы на подоконнике или принадлежность к подпольной организации?

Удивляться, как женщина дозналась о ячейке, по меньшей мере наивно: на то она и досужая, чтобы от скуки наблюдать за жизнью соседей и соотнести регулярность посещений Германа, таинственные отлучки обоих и позднее возвращение, без пьянства, скандалов и мордобоя; остается только вычеркнуть лишнее — и получить результат. На что крот слеп, а и то не станет рыть землю бездумно, а у нее глаза есть, да сквозь забор многое видно. И слышно, даже если руки упихивают в ямку свежую рассаду; обрывок диалога, старательно завернутые книги, которые передаются из рук в руки с опасливой оглядкой, свежие пачки чего-то вроде газет, да только не газеты... Ячейка стала секретом Полиши-нея.

...Внучка уже заканчивала школу, когда Ирина рассказала о досудей гражданке. «А ты ее встречала... потом?» — спросила Лелька.

— Встречала, и не раз. И теперь иногда встречаю: она в том же доме живет, на Малой Московской.

— И... что ты ей сделала? Ты сказала ей?!

— Нет. Ничего. Я с ней *не раскланиваюсь*.

Этого никому не понять, даже Лельке. Не надо было говорить. Или рано. Потом поймет, позднее. Когда-нибудь. Проклясть? — Много чести. Хватит того, что я *не вижу* ее.

В первый раз было трудно. Избегать испуганного, льстивого взгляда, оттирать пальцы, вцепившиеся в рукав. Чтобы оттолкнуть, нужно дотронуться, а Ира брезговала: стряхивала резко и сильно цепкие пальцы, как липнущую паутину.

В следующий раз перешла на другую сторону улицы.

Как и в каждую новую встречу.

А те цветы, которые росли у гражданки, красные такие, теперь много где сажают: и в парках, и на кладбищах, где братские могилы...

Тогда же, в сорок шестом, Ира зашла на Маленький базарчик. Ряды пустовали. Под длинными дощатыми столами ветер собрал первые желтые листья. Несколько торговков терпеливо переминались с ноги на ногу. Маленькими рыжими поленицами была сложена морковь. Картошка продавалась поштучно, но что это была за картошка! Конечно, за пять лет впроголодь привычный вид простых продуктов мог стереться из памяти, ан нет, не стерся: прятался где-то в потайных уголках. Ах, картошка, что за красавица: золотисто-желтая, как мед, ее и есть-то жалко; только смотрела бы.

— Капусточки кислой, сударыня, не желаете?

Голос знакомый, да и лицо знакомое. Если б не слово «сударыня», от которого на Поволжье отвыкла, да не красота картошки, узнала бы женщину сразу: она издавна торговала здесь, как некогда Баськина мать. Конечно, постарела и сильно исхудала, но такое уж время стояло: в сорок шестом толстых не было.

После нескольких обязательных фраз торговка неожиданно произнесла: «А я мужа вашего видела».

И рассказала.

— Гнали их, по Большой Московской гнали. Такие они... умученные были, Господи, Твоя воля! Оборванные; кто согнувши шел, кто как. А те... мало того, что винтовками подгоняют: ногами в сапогах норовят пнуть, ногами!

— Немцы? — Ира вцепилась в край прилавка.

— Наши, — с горечью отвечала та, — немцев не много было. То наши, с команды ихней; у них и форма другая, чем у немцев, была. А кто падал, тех сапогами под ребра прямо... Люди смотрели: кто из окон, кто выбежавши — своих искали. Я вашего мужа узнала — сколько раз видела вас-то; и он меня узнал. «Вы что-то про мою семью знаете? — кричит. — Что с ними? Передайте, — кричит, — жене моей передайте...» Передам, кричу; что передать-то? А он ничего и не сказал, улыбнулся только... Их по мостовой гонят, а мы рядом бежим, по тротуару. У парка им свернуть приказали; люди говорили, на станцию погнали. Так он обернулся, муж ваш, — а он высокий такой был, — и крикнул: «Спасибо вам!» Да за что же спасибо, я передать-то ничего не передала... Только что видела его...

Ты мне улыбку передала, думала Ира и видела улыбающееся Колино лицо.

— Спасибо вам, — только и сумела выговорить.

Купила три картофелины и немножко кислой капусты. Рассеянно смотрела на пальцы торговки, красные от ветра, которыми та запихивала в банку хрустящие волокна — на стекле изнутри расплылось кровавое пятно от раздавленной клюквы — достала деньги.

— И торговать некому, и покупать некому, — пожаловалась женщина.

— А Дебора? — напомнила Ира. — Дебора, у которой дочка в Палестину уехала?

— Кто знает, — неопределенно отозвалась та, — кто знает, что там, в этой Палестине. Чуть не все старшие туда уехали, парни-то Деборины, только один младший остался да они с Яшкой-Пулей. А когда началось, Яшка ихнего мальчика, младшенького того, у себя на складе спрятал и дровами заложил. Их с Деборой в гетто загнали, ну, как других; так он думал, може, хоть малец спасется.

Ира не спрашивала и не торопила, просто ждала. Женщина застегнула плотнее воротник и, глядя на стопку морковки, закончила неохотно:

— Которые были в гетто, всех истребили. Никого не осталось.

— А мальчик?!

— Кто знает, — опять повторила та, — склад Яшкин поожгли. Може, выскочить успел, а то еще... Там река ведь рядом. Люди говорили: парнишка стенку выломал, что к воде выходит. Он шустрый был, хоть и маленький.

И продолжала:

— В той Палестине у Деборы с Яшкой сколько внуков-то уже, небось. И знать не знают, ни дети, ни внуки!.. — По-

молчав, добавила: — Я чего понять не могу: откуда... *такие*? Те, что людей сапогами, или за мальцом Яшкиным?..

Если б я знала, думала Ирина уходя, если бы понять.

Кто-то тронул за плечо.

— На супец вот, возьмите ребятам на супец, — торговка воткнула ей в руки луковицу с морковкой, кивнула и пошла не оглядываясь.

Одно солнце и один воздух, чтоб дышать, и люди под солнцем такие же разные, как побеги, выглянувшие из земли: из одного рождается цветок, из другого колючки.

И на форштадте то же самое, где все — соседи.

Кто-то поджег сарай. А нашелся ли другой? И если нашелся, то зачем — протянуть руку задыхающемуся от дыма мальчугану или подсказать — то ли немцам, то ли *своим*, — куда он побежал? Неведомо; только с тех пор, когда вспоминала Басю, видела худенького рыжеватого мальчика, похожего лицом на сестру, выпрыгивающего из горящего сарая прямо в реку. Видела так четко, словно была свидетельницей этого.

Одна соседка передала ей от Коли улыбку, другая позаботилась, чтобы он больше никогда не улыбался.

Поразительно, от каких мелочей зависит жизнь и смерть человека: живи они на другой улице, в другом доме... может, нашлась бы спасительница — нашлись ведь для брата! — А может, наоборот: обнаружилась бы другая гражданка. Цыганке их судьба была видна как *на ладони* — с нее и прочла.

Только Пава так и не знала своего счастья.

Даже теперь, оставшись одна, она не могла себе в этом признаться. Строго говоря, она осталась жить не одна:

в доме места достаточно, поэтому Нинка с семьей как жила здесь, так и не собиралась ничего менять. Конечно, хотелось бы отдельно, но ситуация с квартирами в 60-х годах едва ли была проще, чем в послевоенное время: квартир не было, и все тут. А уж когда отец ушел, нечего было и думать об отдельной квартире: мало ли что. Да, Митюшка почти взрослый, да только парень есть парень, а мать уже сдавала.

Вдруг — именно вдруг, без всякой видимой причины — начали опухать ноги. Стало трудно сгибаться, а еще труднее выпрямляться, что осложнило и вскоре сделало невозможной работу в саду. Сначала ноги, затем руки и лицо. Всегда узкоглазое, татарское, теперь оно заплывало изнутри неведомо откуда взявшейся водой и приобретало невозмутимую безмятежность Будды, что никак не вязалось с Павиным настроением. Перепуганная дочка сделала то, что давно пора было сделать: бросилась к Тоне, и Федор Федорович привел в действие медицинские связи, как тому ни противилась виновница суеты. Правда, к тому времени Пава утомилась от обшарпанных стен районной поликлиники, долгих очередей, а главное, была уязвлена репликой докторши: «Любят старики болеть», обращенной не к ней, конечно, а к медсестре; но Пава услышала и забыть не могла.

Старики?.. Это она — старуха?!

В ожидании «консультации по благу» топала, тяжело переваливаясь, по дому. Митя учится, Нинка с зятем на работе, внуки в школе. Она проводит пухлой, как батон, рукой по гладкому подоконнику, низкому и широкому. Дети любили на нем сидеть, а выпрыгивали прямо в сад. Кое-где поскрипывают половицы, но чинить некому, как некого пиявить за этот скрип. На стенке висит их свадебная фотография. Миш-

ка — копия отца, а второго сына в школе прозвали Мамаем, так он похож на нее. Убрать; что и сделала незамедлительно, насколько больные ноги позволяют. Фотографию убрать легко; а остальное? Черные, помойные слова рикошетом отскакивают от стен, — в стенах нет чувства вины, которым был до краев полон воздвигнувший эти стены. Слова отскакивают и множатся: Пава ругает не только мужа, но и «эту курву» Дашу, хоть имени не называет.

Муж давно перестал быть мужем и ушел, но... он остался. Не важно, что вещей его нет: он остался в самом доме — в стенах, подоконниках и дверных ручках, любовно выточенных им из дерева и отполированных его руками; остался в скрипящих — будь они прокляты! — половицах; остался, словно дом не хотел отпустить его.

Феденькин доктор внимательно осмотрел отеки, но ничего внятного не сказал. Федор Федорович продолжал хлопотать, и Паву положили в больницу, где были другие доктора. Каждому было сообщено, какой кобель у нее муж и как она его выгнала. Не скажешь ведь, что сам ушел. Ее опухшее тело врачи называли по-разному: одни водянкой, другие обидными словами «слоновья болезнь», от которой нет еще лекарств, и она осталась жить в родном и привычном доме, где не было больше ни одной Мотиной вещи и все, решительно все напоминало о нем.

Мотя знал о болезни, знала и Даша, и лицо у нее стало еще более виноватым, словно это она причина диковинного недуга.

Нет, Пава не была одинока: дочка, младший сын, внуки, да старшие бывали наездами; но жизнь изменилась — и она не могла не признаться в этом — не из-за болезни, а из-за...

Моти. Ему было хорошо, и это отравляло жизнь namного сильнее, чем опухшие, колонноподобные ноги. Смириться с тем, что ему хорошо, она не могла и не хотела, поэтому Ира и Тоня перестали у нее бывать.

Между тем стала прихварывать Даша, но к врачу — ни к участковому, ни к «блатному» — не торопилась: обойдется. Мужу ничего не говорила — знала, что ему хватает забот, да и ей тоже хватало: дочка оканчивает школу, экзамен за экзаменом, всё на нервах. Потом Мотя затеял ремонт, чтобы, как он выразился, квартира была «как игрушка», и очень долго и увлеченно возился с будущей игрушкой, пока не достиг желаемого эффекта. Добыл на мебельной фабрике, где работал, деревянные обрезки и построил для Даши настоящее, а не игрушечное, кухонное царство, так что она только руками всплеснула.

Ирина не любила ходить в гости, однако не могла отказать брату, пришла. Вместе с Тоней любовались обновленной квартирой, а Даша радостно улыбалась и повторяла: «Кушайте, вы же ничего не едите»; сама не ела ничего, но это вполне извинительно для хлопочущей хозяйки.

К врачу сходить все же пришлось: на работе был профосмотр, и Даше дали направление проверить желудок и печень. Очередь к участковому была длинной и приготовилась стоять — вернее, сидеть — насмерть. Даша махнула рукой и пошла к дежурному врачу. Румяный паренек в белом халате опасливо потрогал ей живот тонкими школьными пальцами и посоветовал пить минеральную воду. Натощак, добавил строгим голосом, и через пару месяцев обратитесь к своему врачу.

Даша «обратилась» через два года, потому что не обратиться было уже нельзя, а спустя три месяца Даши не стало. Она умерла так тихо и незаметно, словно на работу ушла. Смерть стерла извиняющееся, виноватое выражение с лица: оно стало тихим и спокойным.

Мотя наклонился и трижды поцеловал ту, что подарила ему десять лет любви, тепла и покоя.

И остался жить, ошеломленный утратой. Он был уже на пенсии и совершенно не знал, что делать одному с тем временем, которое поджидало его каждое утро в пустой и нарядной, как игрушка, квартире. Дашина дочка давно вышла замуж, переехала в другой район и не очень интересовалась отчимом. К счастью, Тоня жила поблизости, а если бы и далеко? Он приходил, сидел за столом, но в трапезе участвовал редко; просто *проводил время* и по большей части молчал, оживляясь только, если нужно было что-то починить в доме.

В том же году умерла Пава от своей странной болезни, умерла, словно растоптанная ногами неведомого слона.

Мотя стоял на похоронах, привычно втянув голову в плечи, и тосковал, но не о Паве и не о тридцати четырех совместно прожитых годах, нет; да как знать, о чем тоскует старик?

Он немного веселел, когда падчерица приводила к нему сына. Как это часто случается, старый и малый отлично ладили. Но мальчика уводили домой, и Мотя снова оставался один.

Иногда он встречал у Тони старшую сестру. Ира любовалась братом: коротко подстриженные негустые волосы были совершенно белыми, как и небольшая бородка, тогда

как брови — широкие соболиные брови, как у покойной матери, — остались черными, и темно-карие глаза не выцвели. Как он ухитрялся, неизвестно, но рубашки на нем всегда были чистые, а по праздникам брат появлялся в галстуке. Нет, не франтовство — только скромное достоинство.

Судьба долго берегла Мотю, но на то она и судьба, чтобы время от времени посматривать на часы и однажды спохватиться: пора. Рак, некогда унесший в могилу отца и мать, а затем Дашу, протянул свои щупальца и к нему. Брата не стало четыре года назад, в 82-м. Его похоронили рядом с Дашей, и в гробу его лицо было таким же спокойным, как у нее.

16

Старость немногочудна.

Все меньше вокруг людей, которые помнят старые названия улиц и магазинов, хотя этих магазинов давно нет; помнят имена людей, которых тоже больше нет.

Противоестественно хоронить брата, которого помнишь младенцем. Мотя обогнал ее и поспешил лечь в землю. Может быть, теперь ему откроется тайна пропавшего Андрюши?..

Симочка пришел на кладбище с палкой — пьяный, опухший, страшный. Лысина блестит, набалдашник палки блестит... Чужой, совсем чужой.

Вокруг могилы суетилась Тайка в модных очках и почему-то с фотоаппаратом в руках. Она часто щелкала затвором, с видом необычайно деловым, как это делают журналисты. Родные с недоумением посматривали на нее: непонятной

была эта активность, как и аппарат у нее в руках: в самом деле, кого и зачем фотографировать? Строго нахмурилась Тоня. Батюшка взглянул серьезно и устало, и только брат терпеливо и неподвижно лежал в гробу.

После похорон собрались в доме, порог которого Мотя не переступал много лет, и уже не переступит. Поминки устроила дочка и теперь сновала, сновала с посудным полотенцем в руках, иногда прикладывая его к заплаканному немолодому лицу. Дети осиротевших детей бегали из сада в дом и прыгали с подоконников: кто дальше.

Сестры возвращались вдвоем. Обе молчали об одном и том же. Мужчин больше нет, остались дети — молодые мужчины, но все же дети: Мотины сыновья, Юраша и Левочка. Тоня вытирала глаза, а слезы текли и текли — не только о брате, но и о муже.

Двадцать лет отделяют Мотины похороны от Фединых. Главный мужчина, добрый ангел всего клана, он бессчетное число раз подставлял плечо и протягивал дающую руку. Много работал и «разумно», как он сам выражался, отдыхал и питался. Помогал Надежде: Генька чуть было не пошел по кривой дорожке, но Феденька устроил его, после шоферских курсов, на «скорую помощь». Урезонивал, насколько это было возможно, Паву и хлопотал об ее лечении. Выслушивал длинные тирады любимой крестницы Таечки и стеснялся посмотреть на часы. Незаметно совал деньги Ванде, Симочкиной жене: трое детей, а «кормилец» не в дом, а — из дому. Тревожился об Ирине: «Второго инфаркта она не перенесет».

Федя не перенес первого.

Судьба распорядилась с банальной простотой, дождавшись рокового «инфарктного» возраста, пятидесяти шести Феденькиных лет, и в одночасье отправила его отчитываться перед Матреной, которая, умирая, поручила ему заботу обо всей семье. Но ведь *мертвые сраму не имут*: едва ли мамынька станет гневаться на любимого зятя, что он так быстро сложил с себя обязательства, тем более что он давно стал ей сыном...

Вечером Федор Федорович почувствовал легкий озноб. Потрогал батареи: горячие, как и должно быть в январе. Все же надел вязаную жилетку и тщательно проверил, не тянет ли от окон.

От окон не тянуло, зато что-то очень нудно тянуло внутри, где солнечное сплетение. Одновременно навалилась такая апатия, что он махнул рукой на ужин, к неудовольствию жены, и прилег на любимую кушетку. Ни «Вестник дантиста», ни газеты даже открывать не стал. Посплю минут двадцать. Во сне сейчас же начали толпиться какие-то чужие люди с недовольными лицами. Они молчали, но подходили другие, еще и еще. Стало тесно, и кушетку вместе с Феденькой выставили в коридор — незнакомый, непонятно откуда тут взявшийся коридор вместо привычной уютной прихожей. Здесь было холодно, хотя окна плотно были закрыты грязно-желтыми шторами. От этого мерзкого цвета затошнило, и он вскочил как раз вовремя, чтобы добежать до ванной.

Хорошо, что не стал ужинать. Тщательно смыл маленькую лужицу желчи; посмотрел в зеркало.

Ничего страшного; подумаешь, замутило. Ничего страшного.

Мешки под глазами, — а когда их не было? Пульс нормальный... почти; частит немного. Сердце бух-бух-бух. Это от сна. Нездоровый сон.

Снял полотенце с вешалки, и от этого движения стало больно шее, боль отозвалась где-то в лопатке. Так, с полотенцем в руке, тихонько прошел в девичью комнатку, никогда девичьей не бывшую, а служившую врачебным кабинетом во все времена; здесь стояло кресло и бормашина. Открыл шкафчик с лекарствами.

Уж не инфаркт ли у меня задней стенки, задумался Федор Федорович и вытащил трубочку с нитроглицерином. Манья величия у тебя, вот что, сам себе подумал в ответ. Ты не кардиолог, ты дантист, да и не дантист вовсе, а зубной техник. Всяк сверчок знай свой шесток.

А печень надо бы проверить, — и закрыл шкафчик, но стеклянный патрончик нитроглицерина малодушно переставил поближе.

Дочка говорила по телефону. Из комнаты, которую занимали Юраша с женой, слышались звуки телевизора и протяжный голос невестки.

Напоминая себе о зарвавшемся сверчке, лег спать. Долго не мог согреться: озноб проникал под одеяло, полз по спине, и Феденька осторожно ворочался, чтобы найти удобное положение. «Не ходи завтра на работу, — встревожилась Тоня, — ты плохо выглядишь». — «Ничего страшного. Продуло, наверное».

Ничего страшного.

До утра Федор Федорович убеждал себя, что никакой это не инфаркт. Засыпал ненадолго поверхностным, непрочным сном. Уговаривал и утром, во время завтрака. С облегчением положил салфетку и пошел одеваться.

Ничего страшного; только испарина выступила. Что, сверчок?.. Он поднял к мокрому лбу руку с носовым платком — и упал.

Как — Федя?! Почему — Федя?.. Всегда умеренный в еде, непьющий... то есть не пивший ничего, кроме кагора, да и то по праздникам и в гомеопатических дозах; Федя, соблюдавший режим... Всегда спокойный, голоса не повысит. Сердце — не банка с компотом, так просто не взрывается; что случилось?!

Обширный инфаркт, вот что; больше ничего патологоанатомы не сказали.

Да какая разница — что, почему, как... Нет больше Федора Федоровича.

Феденькина смерть принесла горе, скорбь и растерянность. Ира потеряла друга, Тоня — мужа и друга; а что это значит, сестра знала. Приходила к Тоне и заставляла ее, всегда собранную, строгую и волевою, точно такой же, но эта собранность в любой момент взрывалась слезами, и тогда сестра бросалась ничком на Федину половину кровати, застеленную ровно-ровно, и рыдала навзрыд. Потом поднималась, шла в ванную, откуда выходила с красными пятнами на лице. Смотрела на Иру и спрашивала требовательно и беспомощно: «Что? Что теперь?..»

И правда, что? Дети, слава Богу, выросли: дочка окончила университет, Юраша женат; ей самой только что исполнился пятьдесят один год, а на трюмо в прихожей шляпа и кашне. Тоня несколько раз пыталась убрать, переложить в шкаф хотя бы... Становилось еще хуже: берешь в руки — и сразу обволакивает привычный, чуть тревожный запах

врачебного кабинета, и другой: родной, чистый запах волос и любимого мыла... одеколоном Федя не пользовался.

Как жить, сестра?!

Работать, решила Ира. Иди работать. И люди вокруг, и пенсия какая-никакая будет. Не заметишь, как время пролетит.

Легко сказать — иди работать.

Куда, как, если никогда в жизни работать не приходилось, а единственное ремесло — художественная штопка — изредка было такой мизерной подработкой, что и называться работой не могло, тем более что выполнялось для своих или знакомых как маленькое одолжение, в ответ на какую-то любезность той или иной важности? Да и была художественная штопка нужна в добрые старые времена, когда отцовские твидовые пиджаки и пальто из ратина перешивались детям, а не делались кормушками для моли. А теперь на дворе 62-й год, лавсаны-капроны, все глаза проглядишь, пока петлю на чулке поймаешь.

Куда — работать?!

Все равно куда. Вон, посмотри вечернюю газету: «требуется» да «требуется». Главное, чтоб люди вокруг были.

Как это — «все равно куда»? На завод, что ли? К станку? — Спасибо, сестра!

Теперь Тоня стояла в эркере, одной рукой опираясь в оконный переплет, другой вытирая мелкие частые слезы.

Нет, настойчиво продолжала Ира, на завод пусть молодежь идет. Другое что-то. Давай газету посмотрим. Есть у тебя?

Ежедневная вечерняя газета была в каждом доме, могла б и не спрашивать. Ее называли «городской сплетницей»,

но без злобы, а добродушно. Торопливо отделавшись на первой странице передовой статьей, пересаженной, как кусок дерна, из центральной прессы, газета посвящала остальные семь страниц Городу и только Городу. Строительство спортивного манежа — очистка дренажных стоков — позор безбилетникам — как исполком готовится к весне? — добровольные народные дружины в действии — письма наших читателей — фельетон, желчность которого тут же возмещалась лирической фотографией малышей, барахтающихся в снегу, — и объявления, где колонки столбиков: «требуется», «требуется», «требуется».

— Ищи работу, иначе будешь сидеть дома и злобиться, — сестра кивнула на соседнюю комнату, где водворился источник Тониного раздражения, молодая невестка.

Кому невестка, а Юраше — любимая жена. И Тоня, несмотря на свой практичный, трезвый ум, не могла этого принять. Нехороша была невестка, как ни посмотри; правда, и смотрела очень пристально. Со стороны взглянуть — пухленькая, щечки в ямочках, черные волосы причесаны в другую сторону — «начес» называется, — глазки черные поблескивают, и Юрашу зовет Жориком, точно таксу. Места в повествовании займет немного, так что имени можно и не упоминать, но для порядка — Зоя. Рассказывая о невестке, Тоня иначе как Зойкой ее не именовала, в то время как сын звал Зайкой и Заинькой.

Нет, молодая жена ничем не походила на нежного пугливого зверька, который ассоциировался с Пасхой и русскими сказками, где хитрая Лиса Патрикеевна постоянно строит ему козни. Пухлые щечки и округлость форм не имели

ничего общего с серым зайчиком: Зоя была бронирована и неуязвима. Если уж искать параллели в животном мире, то блестящие черные глазки, твердые глянцевые ногти и лакированный панцирь прически роднили ее с насекомым. Небольшой такой жучок, мирно ползущий по своим делам, вдруг растопыривает крылья, садится тебе на голову, и чего ждать, неизвестно: то ли пошевелит усиками и полетит дальше, то ли укусит.

Тоня чувствовала: укусит. Чтобы предотвратить грядущий укус, с самого начала твердо дала понять, кто хозяин в квартире. Вернее, хозяйка.

Насекомая невестка так же твердо дала понять, что ей плевать на это. Что и доказала многократно и убедительно на кухне и в ванной с такой первозданной уверенностью в своей правоте, что слово «наглость» блекло. Да и то: еще в Библии сказано, что сначала Бог сотворил гадов земных и только на следующий день — человека. А день у Бога немереный: наука обнаружила, что подотряд насекомых жил на Земле 300 миллионов лет назад, тогда как человек появился только 300 тысяч лет назад... Так кто здесь хозяин, спрашивается?

У невестки и вопроса не было.

Если Тоня досаждала замечаниями, та лениво поворачивалась к мужу: «Жорик, скажи ей», — и удалялась, ни одной ресничкой не выказав волнения. Юраша молчал под всплесками материнского красноречия, ерошил волосы.

Молчала и сестра, когда Тоня с горечью раскручивала подробности кухонных столкновений.

— Почему, скажи, у нас такого не было? — возмущалась она. — На что Пава змея, а мамаша любила ее; почему?..

— Жили отдельно, вот почему. Все дело в квартире. Они стоят на очереди?

— Какая очередь! — только и успела произнести Тоня, как снова потекли слезы. — Никуда она не собирается уходить, ей тут нравится. Феде больше нет, Царствие ему Небесное; теперь она ждет, когда я помру.

С такой горечью были сказаны эти слова, что не поверить было невозможно.

Ирина никак не оценивала Тонину невестку, а рассуждала просто: если она хороша для сына, должна быть хороша и для матери. Но разве сестру убедишь?..

— Тем более иди работать. Да и жить на что-то надо. Ищи; я зайду на днях.

Строго говоря, нужды Тоня никогда не знала, и понятие «на что жить» у сестер имело совершенно разный смысл. Так было раньше.

А теперь?

Теперь, когда не стало единственного кормильца?..

В окно она видела, как Ирина пересекла улицу, но на остановке задерживаться не стала, а пошла в сторону Церковной, ныне Карла Маркса. Почти всегда пешком ходит, а ведь инфаркт перенесла. В этом месте сестра тут же была забыта, потому что оконное стекло расплавилось в кисель, а фигурки прохожих поплыли и смазались. Носовой платок и так мокрый, хоть выжми — надо идти в спальню за свежим, а на трюмо лежит Фебина шляпа, и нет сил ее убрать.

Сестра права: дома оставаться нельзя.

Ни голод, ни нужда не грозили даже без Феденькиных заработков: у Тони были сбережения, и не только на черный, но и на дни всех цветов радуги; были облигации зай-

мов, была сберкнижка... Одним словом, с протянутой рукой стоять бы не пришлось. Но терзаться каждый день, что муж не придет с работы, не придет уже никогда, но зато придет, да еще дверью хлопнет, эта... жужелица — Тоня невольно взглянула на дверь — и так каждый Божий день...

Слуга покорный. Никакие облигации не помогут.

Раздраженно пролистала несколько газет и убедилась еще раз: Ирка — простофиля. В приличное место никого «с улицы» не возьмут, а идти куда попало тоже не резон. Решительно достала записную книжку и села к телефону.

Аллочка из бакалеи. Милейшая Аллочка, но она здесь ни при чем. Ей надо звонить, когда нужен дефицитный шоколад или растворимый кофе. Вольдемар Янович... Какой Вольдемар Янович? Ах, да: обои предлагал, прямо с базы. Федя мост ему переделал, и он перестал шепелявить. Да при чем тут обои, какой мост... Дитрих Францевич, репетитор по немецкому языку, — мимо. Дора Яковлевна, из детской поликлиники... Зоя, массаж... От ненавистного имени передернуло. У меня тут своя Зоя. Дальше, дальше... Касперович — аптека на Столбовой; Касперович развелся — о здоровье жены не спрашивать; пожалуй, аптека пока без надобности, Касперовича побережем. Нина Альфредовна... Старееет; совсем одна, после смерти мужа — и еле успела захлопнуть книжечку, чтобы не расплылись чернила. Хоть и с палочкой, а на похороны пришла; сколько лет просидела с Таточкой за пианино. Надо пригласить ее на чай.

Скромная Тонина записная книжка в черном дерматиновом переплете заключала на своих страницах миниатюрную карту боевых, если возникнет необходимость, действий в пределах города и не раз выручала. Раньше состоящая

сплошь из адресов, теперь она пополнилась номерами телефонов, что очень облегчало задачу.

Увы, не в данном случае. Тонино раздражение только нарастало: ни один номер не сулил никаких перспектив.

Помогла, как ни странно, именно Аллочка из бакалеи, куда Тоня зашла по пути из химчистки.

Милейшая Аллочка свернула грубый кулек и наполняла его сухариками. Перед этим она конспиративно наклонилась к Тоне, хоть в магазине никого не было, и придвинула к ней две пачки цейлонского чая, но не того, что высился на полке искусно построенной стеной, а самого что ни на есть высшего сорта. Понизив голос, доверительно приоткрыла одну из тайн магазина — или, как теперь говорят, «торговой точки». Не то что бы ценила доверие давней покупательницы, а — просто так, хотелось с кем-то поделиться. Тайна же заключалась в том, что заведующая рвет и мечет: двух дезинфекторов, которые регулярно курировали их магазин, перевели в другой район, а кого теперь пришлют, непонятно: «Нам бы надежного человека, чтоб свой был». Скорбно вздохнула и отдала, наконец, сухари.

Тоне понравилось слово «дезинфектор»: от него веяло чем-то чистым и медицинским. После нескольких осторожных, но прицельных вопросов ужаснулась: ходить из одной «торговой точки» в другую, мышей да крыс травить, слыханное ли дело! Однако Аллочка успокоила, сказав, что у них «чисто», а вот в шашлычной напротив, конечно... Известно — обцепит; слово «дезинфектор» обе произносили все чаще.

Не зря, не зря Тоня открыла записную книжку! Милейшая Аллочка обещала поговорить с заведующей и затем по-

звонить Антонине Григорьевне, что и сделала. В ожидании звонка Тоня силилась понять, зачем бакалейному магазину нужен «свой» дезинфектор, но ни к какому выводу не пришла и остановилась на самом очевидном: если люди предпочитают своего дантиста, своего полотера и даже свою кioskершу, то кому-то желателен и свой дезинфектор.

Знала ли заведующая о недавнем Тонином вдовстве или заметила траур, неизвестно, но если и не была предупреждена, то успела вовремя натянуть сочувственное лицо. Зачем нужно было с ней знакомиться, если работа находилась в Отделе коммунального хозяйства, Тоня поняла через три недели, когда милейшая Аллочка привела ее, нагруженную ядохимикатами, в заднее помещение магазина. Здесь новый дезинфектор увидела, что ванильные сухарики, который высется в стеклянных конусах на витрине, держат в грубых мешках сомнительной чистоты — в таких мешках, цвета прошлогоднего сена и столь же лохматых, колхозники привозят на базар картошку. Что игрушечные кубики чая лежат в большой картонной коробке, кем-то уже вскрытой, но это не беда, а беда в том, что низ коробки отчего-то намок и вспучился темными пузырями. Что полки вдоль стен усеяны крупой, сыпавшейся из пакетов, точно мальчик-с-пальчик за собой крупинки оставлял, и не только крупинки, что было бы понятно, но и мышиный помет: этот продукт жизнедеятельности грызунов дезинфектор Антонина Григорьевна научилась распознавать во время инструктажа.

Инструктаж предписывал тщательную проверку на наличие прочих паразитов и обрызгивание, буде проверка покажет то, что показала. Однако не успела Тоня открыть сумку с химикатами, как Аллочка замахала обеими руками:

«Что вы, Антонина Григорьевна, это же дефицит! У нас тут гречка, макароны импортные...» А слово «акт», произнесенное Тоней, ибо как раз акт следовало составить, вызвало у милейшей Алочки взрыв ужаса. На этом слове в ярко освещенном дверном проеме возникла заведующая, и во всем происходящем появилось что-то театральное. Заведующая властно отправила Алочку в «торговый зал», куда та и заторопилась послушно, как опоздавший зритель, и на сцене остались только двое. В кабинете заведующая объяснила, почему нельзя составлять акт, как нельзя и опрыскивать продукты:

— Ведь мне тогда придется их списать, а чем торговать? Не могу же я пускать в продажу товар со стрихнином, или что там у вас.

— Отчего же не списать? — Тоня сняла, наконец, душную маску. — Ведь мыши гадят, прямо в гречку гадят!

— Ах, Антонина Григорьевна, — женщина снисходительно улыбнулась ее наивности, — мы же с вами интеллигентные люди! Да если я спишу польские макароны, мне их в следующий раз не пришлют, на базе дураков нет. А кофе? А ту же гречку? А если мне дефицит не дадут, на чем я план сделаю? На хозяйственном мыле 72-процентном? Не-е-ет! Люди за стиральным порошком в очереди стоят. Мы ведь только своим оставляем, знаете, интеллигентным людям, — она выразительно посмотрела на Тоню и убедилась, что та не будет составлять акта, хоть трепыхается с непривычки уважаемая Антонина Григорьевна и спрашивает беспомощно:

— А... как же мыши?

Заведующая с облегчением объяснила, что она очень благодарна Антонине Григорьевне, которая заметила... не-

порядок; но это «всего-навсего мышки, в любом доме они шныряют», и что есть домашние средства, «вот прямо сегодня скажу Дусе — это уборщица наша, Дуся — скажу, пусть мышеловки поставит да выметет все как следует, я сама проверю. Интеллигентному человеку, знаете, и объяснить легко: он поймет; а мы вам так благодарны, так благодарны...» Опустила в сумку плотный сверток в целлофане, обняла ошеломленную Тоню за плечи, и это все означало конец акта.

После производственного дебюта остался стыд, бессмысленная фраза «на базе дураков нет» да имя уборщицы — Дуся, которую в глаза не видела.

Уволюсь, твердо решила Тоня.

— Успеешь уволиться, — остановила сестра, — где ты еще была, кроме своей бакалеи?

Начинающий дезинфектор успешно проверила начальную школу, и даже не пришлось сумки разгружать: чисто было в школе; и пельменную номер 8, где тоже показалось чисто, но когда включила свет в кладовой, по стенам не поползли даже, а — потекли блестящей лентой тараканы, так что нести сумки обратно стало легче.

Рассказала Ирине подробно, ничего не упуская, про несчастную бакалею: первый в жизни крах на первой в жизни работе. Раньше рассказала бы мужу, хотя эту ситуацию нельзя было себе представить: разве Федор Федорович позволил бы ей работать?..

— Мыслимое ли дело — мыши в гречке! Да я в рот ничего не возьму из этого магазина, — и тут же некстати вспомнила тяжелую коробку «Грильяж в шоколаде», которую заведующая плавно опустила ей в сумку.

Взятка. Плата за стыд.

Сестра отреагировала совсем не так, как Тоня ожидала:

— Слава Богу, что так. Эта баба тебя не пустила продукты травить, а другая пустит, да после твоего ухода ту самую гречку и распродает. Нарасхват уйдет и чай подмокший, и сухари. Мы гречку перебираем и моем, а потом варим, так? Дерьмо выбросишь, а яд не смоешь — так и съешь. Нет, она умная, заведующая эта.

Вот так Ирка, вот так простофиля.

Тоня приободрилась. Правда: и гречку, и рис перебираем. Милейшая Аллочка никогда не подсунет ей абы что («особенно теперь», влезла мысль), «грильяж» пусть лежит к празднику, а на работе как раз выдали зарплату, что подсластило пилюлю, столь горькую вначале.

Не знала ты, сестра, голода, с горечью думала после этого разговора Ирина; и слава Богу, что не знала. Не стояла часами на морозе за пайковым хлебешком, хоть был он с соломой да с отрубями. Гречка была бы на Поволжье диковинкой, ее и запах не помнили. Пшенка пайковая, вот и все счастье, — и счастьем это было, сестра, счастьем. А что мыши там побывали, в этой пшенке, никого не беспокоило. Если бы кто-то пришел травить мышей, такого на куски порвали бы: паек, вот о чем люди думали. Тебе с Немкой бы поговорить — Немка рассказала бы, как голодные люди тех мышей ели, а о пшенке только сны видели... Мои дети живые остались благодаря той каше, хоть сдобрить пшенку нечем было, а то бы я не побрезговала тухлым шпеком, про который почему-то нельзя было говорить Феде, Царствие ему Небесное.

Человек умирает, и поминаешь его каждый день в молитве, окликаешь по имени и прибавляешь: «Царствие Небесное», словно имя стало длиннее, а «Царствие Небесное» — вроде отчества. Или — отчества, ибо куда уходит человек, как не к праотцам?..

Тонина жизнь неуловимо менялась. Выходя из дому, она теперь одевалась намного проще: жалко хорошие вещи на работу трепать. Вместо дамской сумочки стала носить две, как выразилась сестра, «торбы», набитые бутылками и пакетами со зловещим черепом и костями на наклейке. С работы приносила бумажные пирамидки — пакеты молока. Молоко полагалось за вредность, его выдавали каждый день и велели пить, но какой же нормальный человек может столько молока выпить? Бздурь, сказала бы матушка, Царствие ей Небесное.

Смущало что-то, но этим сомнением нельзя было поделиться с сестрой.

Смущали люди. Те, с которыми Тоня работала. Люди не нашего, как вертелось у нее на языке, круга. Вертелось, но не соскальзывало: ведь Ира и Мотя всегда принадлежали к людям именно того круга, который Тоня своим не считала по той единственно причине, что ей не приходилось по утрам ехать в троллейбусе на нелегкую работу, а вечерами возвращаться. Отсутствие этой необходимости Тоня привыкла считать своим неоспоримым правом и даже заслугой, и только теперь начала понимать, что заслуга целиком принадлежала Феденьке, а сама она была всю жизнь только женой и хозяйкой своего дома, как некогда покойница мать.

Присмотревшись к сменщицам, которые носили такие же сумки со смертоносными гостинцами для грызунов и про-

чей нечисти, Тоня не могла назвать их ни коллегами, ни со-трудницами: ни одно слово не подходило. Твердо решила ни с кем не идти на контакт и вообще держать дистанцию: как ни назови, они были особами *не нашего круга*. Однако не идти на контакт оказалось трудно. Инструктаж инструктажем, а практические навыки работы она получила именно благодаря *не нашему кругу*: первые две недели ходила вдвоем с кем-то из сменщиц — училась. Поэтому, несмотря на стратегические замыслы, Антонина Григорьевна мало-помалу начала превращаться в Тоню, особенно после того, как поделилась секретом «наполеона» и лечения гомеопатией.

Особы не нашего круга, в свою очередь, дали Антонине Григорьевне немало ценных советов, инструктажем не предусмотренных, а жаль, ибо многие оказались жизненно важными. После этого, а также по случаю первой получки нельзя было не угостить этих милых, в сущности, женщин пирожными и кофе в Старом Городе. Следовало бы принять их у себя, дабы убедить в преимуществе домашнего печева, но нельзя забывать, что они все же были... *не нашего круга*. Небольшая пирушка в кондитерской окончательно сделала из Антонины Григорьевны Тонечку, что отнюдь не было неприятно, и Тоня не заметила, как очутилась в том самом *не нашем круге*.

Да в чьем же еще, Господи, помилуй?..

Работа потеснила ранее незыблемые домашние традиции. Например, крахмальные салфетки после завтрака Тоня не бросала в стирку, а стряхивала крошки и вновь складывала по швам, чтобы использовать вечером, и даже не очень терзалась по этому поводу: во-первых, некогда было терзаться, а во-вторых, некому было теперь ценить эти традиции. Сын ужинал с нею охотно, но нерегулярно (жена соблюдала

фигуру), дочка была погружена в свой роман, о чем лучше было не думать, хотя все равно думалось... Словом, традиции незаметно отмирали, как желтеет, сохнет и неслышно падает на подоконник листок у комнатного цветка.

Тоня пыталась представить себе, какая сенсация начнется дома. Как станут отговаривать, как Юраша твердо скажет: «Не позволю!».

А ничего подобного.

Не было никакой сенсации, и никто не отговаривал.

Сын произнес без всякого удивления: «Поздравляю», — и потянулся вилок к жареной рыбе. Таточка чмокнула в щеку: «Молодец, мамусенька!», что одновременно означало «до свидания», — и убежала. «Ну, ты идешь, Жорик?» — слышался протяжный голос невестки.

Никто не спросил, куда она идет работать. Никто.

Она бывала теперь дома только по вечерам, а в работе выявились новые достоинства. Например, неожиданная премия. Или экскурсия по Золотому Кольцу. Дурой надо быть, чтоб не поехать.

И поехала, сама себе безмерно удивляясь и чувствуя легкую вину перед Юрашей, оставленным без ужина с крахмальной салфеткой.

В чем неизменно была тверда, так это в категорическом отказе от общественной работы. Политинформация, извольте радоваться. Слово-то какое!.. «Не могу: внук маленький», что любая понимала, а работали в коммунальном хозяйстве одни женщины.

Действительно, подрастал внук. Зойка-Жужелица намекала, что настоящие бабушки должны дома сидеть, внучат нянчить.

Вот пусть твоя мамаша и сидит дома, посоветовала све-
кровь-дезинфектор.

Да, вечера были часто заняты внуком. Сын с невесткой охотно уходили то в кино, то в гости, и хорошо, что уходили: спокойней было. Она укладывала малыша и выходила, оставив крохотный голубой ночничок, купленный когда-то Федей еще для маленькой Таточки.

Не дождался ты, папочка, внука, с горечью повторяла, поворачиваясь лицом к Фединой половине кровати. Не дождался и ушел, а мне каково? Эта бесстыжая наглеет на глазах. Ты сам видел, ты знаешь. Юраша молчит; только он с ней еще заплачется. Да ты сам видел, повторяла Тоня, оттягивая другую печаль, но не сказать нельзя. Таточку не отговаривать: Эдик, и только Эдик. Свет в окошке. Да ты сам... И видела черный мраморный квадрат низкого надгробия, а над ним — памятник с профилем Федора Федоровича — «папочки», как она его называла, — и теперь уже поздно, да и незачем, менять привычку, тем более что скоро — Тоня была уверена — она снова окажется рядом с мужем, где для нее приготовлено место три года назад.

Тихо плакала и засыпала с мокрыми глазами, причем во сне теплая удобная кровать легко сливалась с черным мрамором, словно так и было надо.

...Когда Юраша привел в дом невесту, Федя был озадачен, но ничем своей реакции не выдал. Он видел счастливое Юрашино лицо и понял, что на его решение ничего повлиять не сможет. Да и как можно мешать счастьем своего ребенка? Поделиться сомнениями в том, что счастье состоится? А какое у него право сомневаться?

Ни-ка-ко-го. Интуиция — не аргумент.

Барышня как барышня. О себе гордо сказала: «Инженер», — только специальность прозвучала невнятно: что-то экономическое. «Вы, наверное, любите свою работу?» — вежливо поинтересовался Федя и удостоился снисходительного ответа: «Диплом. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек!». Убей, не мог представить ее инженером. Скорее буфетчицей в том же политехническом: к этим блестящим глазкам и взбитой челке передничек... Буфетчица, да: «За сардельками не занимайте, сарделек больше нет. Люся, не выбивай сардельки!». Вечером только поморщился, когда жена заговорила о «не нашем круге». Тосенька, Тосенька, о чем ты, какой «круг»? Это другая порода. Но вслух произнес другое: «Пара не пара — марьяж дорогой. Распишутся; без бумажки ты букашка — помнишь? — А с бумажкой — человек».

Молодые поселились с ними, и невестка с поразительной легкостью освоилась в квартире. Федор Федорович заметил это, как не мог не заметить «Жорика», но, в отличие от жены, не возмущался и с Зоей всегда разговаривал с отстраненной вежливостью, как говорил бы... с буфетчицей, например.

Что ж, сыну виднее; Бог даст, у Таточки все будет иначе. Вероятно, влюбится в однокурсника, мечтал Федя, а то в ассистента на кафедре: общие интересы, жизнь в науке. Представлял себе нескладного застенчивого паренька из интеллигентной семьи. Учительской, например... Впрочем, девочка только что защитилась, ей пока не до кавалеров.

И не всякий кавалер — жених, между прочим.

Романтические мечтания Феденьки неведомым способом индуцировали появление жениха, минуя стадию кавалеров. «Вот и решай после этого, материальна мысль или нет», — думал Федя в спальне, поспешно надевая пиджак и причесываясь. Таточка привела гостя без предупреждения, и это застало отца врасплох не только из-за снятого пиджака. Прощай, застенчивый паренек из учительской семьи, продолжай заниматься своей наукой, потому что дочку мою ты проглядел.

У раскрытой двери в столовую, где суетилась огорошенная Тоня, стоял и загадочно улыбался смуглый мужчина лет тридцати.

— Это Эдик, — выдохнула сияющая дочка, и гость кивнул снисходительно, добавив к «Эдику» фамилию, которую Федор Федорович от растерянности не запомнил: то ли у Лермонтова встречалось подобное, то ли в меню шашлычной.

У Эдика были томные южные глаза, небольшие усики и совсем не было шеи. Последнее обстоятельство придавало ему какую-то сановную важность, и когда он всем корпусом поворачивался к собеседнику, казалось, будто скажет сейчас что-то значительное. Однако Эдик улыбался снисходительно и ничего не говорил.

Все было уже сказано сияющими Таточкиными глазами, все читалось на светящемся лице. Она клала на тарелку гостя новые и новые порции, не забывая то поправить ему салфетку, то придвинуть солонку, и он благосклонно поворачивал корпус в сторону этого потока нежности, понимая, что опускал глаза и молчал.

Заговорил он, когда поднял рюмку с вином: «Этим маленьким бокалом...» Тост начинался длинной фразой о бедном

путнике и неуловимо перерос в развесистую благодарность гостеприимному дому, который... Но Федор Федорович, навивно ждавший конца витиеватого сюжета, терпеливо держал рюмку и холодел от отчаяния, ибо шея была здесь ни при чем и Кавказ ни при чем, потому что в лице говорящего не было счастливого сияния, которое лучилось от Таточки.

Не было, хоть расшибись.

Не за что было ухватиться, чтобы понять, чем дышит этот человек, но очевидно было, что дышит не Татой. А надолго ли хватит одного ее дыхания на двоих?

Феденька чувствовал возмущение жены и знал, что оно выльется, как лава из вулкана, и мысленно увидел эту лаву, с летящими в воздух камнями, — Тоня забрасает его вопросами, а какие уж тут вопросы.

Решение было принято, и дочка ничего не желала слушать. На вопросы отвечала, словно защищала крепость. Да, с Кавказа. Какая разница, чем занимается? Приехал по делам. На вопрос о профессии заговорила пылко и невразумительно, читай: свободная профессия.

Кипели и высыхали слезы. Вода наливалась в стакан и проливалась на пол. Звучало неизбежное: «Только через мой труп». Двери хлопали так сильно, что на пианино вибрировал гипсовый Бетховен.

Иными словами, была бы весьма дурного вкуса мелодрама, если б родная дочка, свет в окошке, не распахнула в декабре самое настоящее окно и не повернула к отцу отчаянное лицо. Что она выкрикнула, Федор Федорович не слышал, а бросился к окну, откуда мороз сочился белым дымом, схватил за плечи и, обняв, забормотал прямо в разгоряченное лицо: «Детка, деточка, да разве можно так, Господь с то-

бой...» — и еще какую-то чушь, самым вразумительным из которой было: «Простудишься».

Похоже, однако, что простудился сам. Лечиться не стал, ибо ничего, кроме озноба да общего дискомфорта, не чувствовал, а после Рождества...

Нет, Тоня не связывала распахнутое окно с черным надгробием: мало ли что дома происходит. Тут слово, там два. Окно тут ни при чем, а во всем виноват этот Эдик, свалившийся им на голову, когда они еще и к невестке притереться толком не успели.

Сестра не спорила: не связывает — и слава Богу. Хотя при чем тут невестка да зять? — Чужие люди. Там, где чужой ощерится, родной укусит — до крови или... до смерти.

Федино лицо запомнилось ей не таким строгим и целеустремленным, как на мраморной плите, а таким, как видела его в моленной на Рождество: донельзя утомленным и не выпавшимся. Прощаясь, они поцеловались, причем Ирина уловила тревожный запах какого-то лекарства.

Спустя неделю опять видела его в моленной, на этот раз в гробу, и не могла отогнать неуместную, навязчивую мысль: теперь выпится.

На кладбище Тоню держали с двух сторон сын и старший брат. Держали крепко, а она неистово рвалась с криком в ярко-желтую яму, и было страшно: вдруг не удержат? Все кругом было в снегу, и хотелось, чтобы исчезли скорее рыхлые желтые холмы с четкими следами лопат, — так тревожно выглядели они на снегу. Вскоре они и скрылись почти полностью под грудой венков и букетов.

Сестры всегда были очень разными, с раннего детства. Ирина была на редкость спокойным ребенком, и восемнадцатилетняя мать не знала с ней хлопот. Тоня появилась на свет десять лет спустя, пятым по счету ребенком, словно данным взамен умершего в очень раннем возрасте Иллариона. Матрена же к своим двадцати восьми годам была измучена родами, младенцами и подрастающими детьми, поэтому беременность переносила тяжело. Да и роды, вопреки заверениям повитухи, затянулись, но долгожданный сыночек закричал, наконец, так громко и уверенно, что сразу поняла: мой!..

Ан нет, не мой, а — моя.

«С доченькой вас! — бабка ловко заворачивала в свивальник орущего младенца. — Горластая какая, дай Бог здоровычка!»

Так и вышло.

Тонька (в честь задуманного мальчика Антона) ничем не хворала, но постоянно давала о себе знать громким возмущенным криком, особенно если мать, устав носить ее на руках, клала в колыбель.

Не тут-то было!

Недаром говорят: чем труднее ребенок, тем больше мать его любит. Может быть и так, что Матрене слышалось что-то знакомое в требовательных воплях дочки, и она безропотно давала младенцу грудь. Тонька сердито сосала молоко, и даже потом, когда глазки сами собой смыкались от сытости, маленькое румяное личико оставалось строгим и немножко недовольным.

Моя доченька, горделиво улыбалась Матрена; моя.

Когда родители уходили в трактир (ибо других развлечений не знали), оба брата и грудная Тонька оставались на попечении Ирочки. Голосающий младенец мешал старшим, и тогда Ира брала ребенка на руки и носила по комнате, укачивая. Здоровенькая пухлая Тонька была нелегкой ношей для десятилетней сестры, но, как только Ира клала ее в кроватку, снова начинался неистовый ор. Утомившись носить, Ирочка закинула слишком громкую сестру за родительскую кровать, на пол. Не то чтобы в буквальном смысле закинула, а бережно опустила кричащий сверток в темное пространство между стеной и кроватью.

Тонька от возмущения замолкла и... уснула.

Ирочка вернулась к урокам, а братья к игрушкам, невольно понизив голоса, хотя из-за кровати ничего не было слышно. Само собой разумеется, родители не узнали об оригинальном методе воспитания, а метод вошел в практику. Как только сестренка начинала кричать, она оказывалась за кроватью...

Тонька выросла и впрямь очень похожей на мать властностью характера, строгостью и высоким сильным голосом. Она стала Тоней, а для кого-то и Тонечкой, и очень не любила, когда старшая сестра говорила: «Не гоношись, Тонька. Ох, мало я тебя за кровать бросала...», хотя сама ничего об этом помнить не могла.

Сестры никогда не были подругами — видимо, в силу слишком большой разницы в возрасте и характерах; так часто бывает. Но их связывало нечто большее, чем дружба: общее детство и нерасторжимые узы ответственности друг за друга. Слова «брат» и «сестра» использовались в семье как обращение и служили оправданием поступков.

Это был пароль.

Так было всегда.

Братья и сестры могли не соглашаться друг с другом, спотыкаться на высоких тонах, но в затруднительной ситуации они шли друг к другу.

Брат не осудит. Сестра рассудит.

Много лет назад Тоня, молоденькая девушка, прибежала к замужней сестре: Федя сделал ей предложение. В рассказе гордость смешивалась с разочарованием. Не то чтобы Тоня ждала стройного красавца во фраке и с цветком в петлице, как в фильме «Ночь принадлежит нам», но когда руку и сердце предлагает сутуловатый Федя, от которого пахнет аптекой, невольно ползут в голову сравнения — и нет, не в пользу фармацевта.

— Ты мамыньке пока не говори, — закончила Тоня.

— Соглашайся, дурочка. Он же тебя любит без памяти. Родителей у него нет, сама себе хозяйкой будешь: как поставишь, так и пойдет. И работа чистая... Соглашайся, сестра!

Как всякая девушка в двадцать один год, Тоня мечтала о романтической любви, которую в скромном очкастом Феденьке заподозрить было трудно. Не вязалась, совсем не вязалась его заурядная внешность с любовным идеалом. А вышло так, как напророчила сестра: не было более преданного и любящего мужа, и его сутулая спина оказалась для Тони той самой каменной стеной, о которой мечтают многие женщины. И было то, о чем многие не отваживаются и мечтать, ибо не верят, что такое бывает: дружба и глубокое понимание друг друга. Одинаковые реакции на происходящее и мысли до того похожие, что не обязательно было их высказывать, но если формулировались, то «в складчину»: любой из них мог продолжить начатую другим фразу.

Было самое необъяснимое: одинаковые или похожие сны.

Теперь, без Феди, рациональность и всегдашняя Тонина приземленность помогли ей пережить черную полосу отчаяния и бессмысленного шагания по квартире, с мокрым платком в зажатом кулаке. Спустя какое-то время она почти гордилась, что нашла в себе силы не растекаться каждый день слезами и не листать бессмысленно назад прожитую жизнь. Та жизнь принадлежит ей, никто этого не отнимет, но прожитые годы — это не фильм «Король джаза» или «Клетка любви» какая-нибудь; нечего душу травить. Разумные доводы очень помогали, и Тоня сама не замечала, как одна картинка прожитой счастливой жизни сменяется другой, вызывая улыбку на лице, а впереди — вернее, позади — оставалось множество неперелистанных страниц.

И страшно подумать, что было бы, если бы сестра тогда не обозвала ее дурочкой.

Но рассуждения типа «если бы» Тоня тоже отметала: благоглупости и бздуры. Тем более что жизнь поменялась коренным образом: работа, дом, внук — карусель такая, что только успевай поворачиваться.

Приходилось успевать, а что делать?

Время шло, сумки с ядами делались — или казались? — тяжелее. Внук ходил в детский сад. Дочка вышла замуж, и в просторной некогда квартире стало тесно. Тоня больше не могла вечерами разговаривать с «папочкой», повернувшись лицом к его подушке, потому как спальня, вместе с кроватью, перешла к Таточке с Эдиком, и последнее обстоятельство не прибавило Тоне любви к зятю. Сама она те-

перь спала в столовой, куда, вопреки всякой логике, перетащили шкаф из спальни, а за шкафом скромно притулилась кушетка, на которой так любил отдыхать Федор Федорович. Посредине остался стоять круглый стол, собиравший когда-то немало народу, но дочкино пианино, вместе с раздраженным Бетховеном, поселилось в спальне, хотя никто на нем не играл. Буфет недоуменно таращился стеклянными витринами на шкаф. Тоня деловито открывала дверцу, где висели в неподвижном безмолвии пальто, жакетки, платья, точно безголовая очередь, послушно чего-то ждущая; закрывала, так и не вспомнив, что хотела достать.

Скорей бы у них подошла очередь на квартиру.

Трудно сказать, кто ждал квартиры более нетерпеливо, Тата или мать, и когда в первый раз прозвучало слово «обмен». Потом, листая назад, Тоня уверяла сестру, что Таточка никогда бы до такого не додумалась, а из этого следовал вывод, что инициатор — зять.

Последовала бурная и болезненная для Тони процедура раздела квартиры. А вернувшись с работы в один прекрасный день, она узнала, что спальня превратилась в самостоятельную жилплощадь.

Каковую жилплощадь молодые быстро и решительно обменяли на плохонькую, но отдельную квартиру.

В спальню же, их с Федей милую спальню, вселилась улыбчивая энергичная женщина.

Вот так, папочка, с горечью повторяла Тоня. Татка, дуреха, ему в рот смотрит. Господи, Твоя воля!..

Очень больно стало проходить мимо спальни — теперь, когда она перестала быть спальней, а превратилась в чужую

комнату. Кабинет давно был территорией сына; спасибо, хоть сюда никого не вселили. Обжилась в столовой, что ж. Привыкла спать на узкой кушетке. Она была жестковата, но Федя говорил, что это намного полезнее для спины.

Тоня ворочалась на полезном ложе с горькими мыслями о тесноте. Зато удовлетворенно отметила, что из ванной выветрился, наконец, вязкий запах зятева одеколona, и не валяется больше бритвенный прибор с грязной зябнувшей мыльной пеной.

Тесно? — В гробу еще теснее будет; привыкай, говорила сама себе.

Засыпала.

Во сне продолжалась теснота. Почему-то они с Федей лежат вдвоем на кушетке, только она стоит не за шкафом, а посреди столовой. А где стол? Нет стола; Тоня оглядывается, а муж прикладывает палец к губам: «Лежи тихо». Да почему «тихо», я у себя дома. Где стол? В этот момент стеклянная двухстворчатая дверь распаивается, и входят люди. Здесь Юраша и ненавистный зять; дочка, невестка и почему-то Аллочка из бакалеи. Кто-то еще толпится в дверях. Все обступают кушетку, и Тоне делается стыдно. Она натягивает простыню на себя и на Федю, но никто на них не обращает внимания. Более того, кушетку вместе с ними толкают, как детские санки, в коридор. Дверь квартиры захлопывается и сливается со стенкой, точно не было вовсе никакой двери. Кушетка нависает над темной лестницей, как над пропастью. Позвольте, да это и есть пропасть! — и они вот-вот туда свалятся...

Выходной не выходной, поздно спать не приучена, а после такого сна попробуй усни. Позвонила Ирине и вскоре

уже поднималась по хоженной-перехоженной тропке на семейное кладбище. Заодно и могилки *приряхать*, больше некому.

Рассказала сестре сон, со всеми подробностями, и как искала толкование в «сонной книжке», которую давно пора выбросить к свиньям собачьим, да рука не поднимается. В самом деле: открываешь страницу, где ПРОПАСТЬ — получаешь «См. БЕЗДНА», а там бездна возможностей, только выбирай: *«лететь в бездну — счастливый случай»*; *«нависать над бездной — ощущать противоестественность своего положения»*, как будто висеть над пропастью для кого-то естественно! Страница КУШЕТКА многозначительно сулила ни много ни мало «любовное приключение», а также «необходимость отдыха», будто Тоня сама не знала. Про отдых, разумеется. Да только сонник читать тоже уметь надо: кушетка-то во сне была не совсем кушеткой, а скорее кроватью, но когда Тоня нашла КРОВАТЬ, то сонник любезно отослал ее в ПОСТЕЛЬ. А там — черным по белому: *«кровать прочь уносят — невоплощенные желания»*, да что толку, ведь уносили с ними вместе, с Федей и с ней!..

— Вот она, моя постель, — кивнула на Федину могилу, — она меня и ждет.

— Во сне падают, а ты нашла же: «счастливый случай». Может, тебя Тата и осчастливит?

Тоня разгневалась и закричала о тесноте в квартире, где чужие люди живут, да свои бывают почище чужих, но Ира положила ей на рукав маленькую ладонь:

— Не пыли, сестра. Видишь, мы с тобой сравнялись: обе с чужими живем. Только у меня ванной нет, — и улыбнулась. — Спас через неделю, правильно?

Ни ванной, ни туалета, ни прихожей, мысленно закончила Ирина. Не говоря уж о девичьей. Вечная распря жидкого супа с мелким жемчугом.

Только этого не хватало! — Тоня сердито сбросила в прихожей босоножки. Спаси Христос, куда ей ребенка, в эту халупу?! Если называла дочкину квартиру иначе, то лачугой.

Однако именно в это халупу — или лачугу — гордый зять вскоре привез из роддома жену с сыном.

Ирка-простофиля опять оказалась права.

Малютка был очарователен! Копия Таточки: голубоглазый и белокурый, а кожа что твои сливки! Это вселяло надежду, что цвет глаз и волос не поменяется.

Времени стало еще меньше: каждый день Тоня навещала внучку. Более того, время понеслось каким-то галопом и стало измеряться прививками, детскими болезнями и диатезами, зато глазки по-прежнему оставались голубыми, малыш уже что-то лепетал, а белокурые волосы доставали почти до плеч. Болел так часто, что Таточка и думать не могла о работе. Где работал Эдик, она не говорила, и Тоне временами казалось, что дочь и сама не знает, но от материнских нападков неизменно его защищала.

Чем, спрашивается, приворожил?!

Тоня помогала продуктами и — чего греха таить? — деньгами, тем более что родился еще один мальчик. Не такой белокурый ангелочек, как старший, и не было надежды, что карие глазки превратятся в голубые, нет, однако малыш был трогательно мил, только много плакал и заходил в плаче до синевы.

Помогла записная книжка. Оба «своих» детских врача сказали в один голос, что без операции не обойтись: врожденный порок сердца.

Сердечка, неслышно поправила Тоня; сердечка.

Оперировать можно только через два года.

Прожили — продрожали — эти два года и пережили операцию, а потом Тоня взяла отпуск, и если спускала малыша с рук, то затем только, чтобы передать дочери.

Юрашин сынишка уже ходил в школу, и его давно не нужно было укладывать по вечерам. Невестка все ревностней блюла фигуру, и Юраша, как прежде, ужинал с матерью. У него под глазами образовались такие же мешки, как у покойного отца, и он немного отяжелел.

На работе у Тони двух женщин проводили на пенсию, но ей об этом рано было мечтать: стаж с гулькин нос, да и дочке надо помогать.

Помогала она и любимой крестнице Тайке: у той на работе постоянно возникали интриги, ее «обходили». Тоня живо представляла себе, как люди толпами спешат куда-то и на пути огибают стол с пишущей машинкой, за которым сидит Таечка. Муж пил, и крестница не делала из этого секрета, но пыталась скрыть другие его подвиги, да Тоне не привыкать к запудренным синякам: насмотрелась на Симочкину жену, которая из этих синяков не вылезала.

Помогала и младшему брату — как не помочь, хоть с ним семейный закон взаимовыручки всегда действовал только в одну сторону: в сторону Симочки.

В последнее время он стал заходить чуть ли не каждый день, чтобы поговорить «об этой курве» и выслушать порцию утешения.

«Этой курвой» он называл Ванду, которую после войны привез из освобожденной Польши. Ради Ванды брат разошелся с первой женой, однако на Ванде не женился. Правда, Вандой она здесь почти не была: Симочка называл ее Валькой. Красивая, неумелая и очень тихая, Ванда-Валька покорно сносила побои, на которые Симочка был щедр, а рука у него была тяжелая. Его увещевали и Матрена, и сестры, но уже по упрямо выставленной челюсти и набычившемуся лбу было понятно, что ничего не изменится.

Ничего и не менялось.

Кроме того, что родилось трое детей, каждого из которых Тоня традиционно крестила в моленной. Ванда мечтала о костеле, но вслух заговорить боялась и только однажды призналась Ире.

А почему нет, ответила та. В самом деле, все дети носили материнскую фамилию и, значит, были наполовину поляками; отчего не крестить в костеле?

По Валькиному боязливому взгляду поняла: не пойдет. Боятся Симочки.

И родители, и сестры уговаривали его жениться; он только отмахивался. Мать стыдила: «На кой плодишь нагульных ребят?!»

А на кой рожает, пожал плечами тот.

Должно быть, Ванда-Валька все же заикнулась о костеле, какое-то заблуждение Симочка выбил из нее так старательно, что она не смогла кормить: пропало молоко. Думать, что им движет преданность старообрядчеству или горячая любовь к детям, было бы ошибкой: хорошо, если он заглядывал в моленную раз в год.

А любить Симочка не умел.

Ни детей, ни женщин, ни мать, у которой был любимцем. Что ж, неужели брат такое чудовище?

«Сенька гнилой, — сказал как-то покойный отец, — горю на целый Московский форштадт, а внутри гнилой...»

Феденька, никогда и никому не отказывавший в помощи, хмурился, когда дело касалось младшего брата: «Сколько можно здоровому мужику сопли вытирать?..» — но Вальке всегда помогал.

Временами казалось, что всеобщая забота может сделать чудо. Например, когда Симочка, после многолетнего шалопайства, устроился наконец работать.

Не куда-нибудь — на мясокомбинат. Говорил: мясником, но сестры одновременно догадались, что никаким не мясником, а грузчиком. Гордо приносил домой сосиски, которые в магазинах встречались все реже, и даже Тоне преподнес гостинец — кольцо «краковской». Хвастался, что ему известны все секреты мясного производства, и с удовольствием рассказал, как делают ту же колбасу: «Что под руку попадет — туда; пол подметут — туда же. Кто окурочит, кто что... Народ-то все сожрет и спасибо скажет».

Тоня сделала вид, что ей дурно — не надо было и сильно стараться — и только так заставила Симочку унести злосчастный презент. За Вальку, впрочем, порадовалась: он ведь не только колбасу приносит — может, хоть курицу когда раздобудет, а то дети на макаронах да на картошке. Уж если *тянет*, так хоть на пользу собственным детям, — и только так оправдывала брата.

Симочка работал, по его выражению, «как проклятый», чем и воспользовалась, самым бессовестным образом, «эта курва» Валька.

Как, в каком смысле?..

А вот в каком.

Протоптала-таки дорожку в костел и младших ребятешек с собой потащила. Среди бела дня, когда муж (рассказывая, Симочка именовал себя мужем) вкалывал как проклятый.

Так что, недоумевала сестра. Она ведь молиться ходила, а не на танцы?

Из дальнейшего повествования стало ясно, что Симочка «поучил» непокорную бабу, а тут, как назло, перепись эта...

Понятно, что в переписи населения Валька виновата не была. Таков закон: раз во сколько-то там лет ходят из дома в дом регистрационные комиссии и трудолюбиво переписывают всех граждан. Пересчитывают.

Пришли и к Симочке, и не в самый подходящий момент. Хозяин как раз уговорил поллитровку с любительской колбасой, в углу ссорятся дети, на кухне Валька супится, еще не отошедшая от взбучки за костел.

Переписчики с пониманием переглянулись: дескать, милые бранятся — только тешатся, и приступили к делу. Спросили документы «всех совершеннолетних». Симочка с готовностью вынул паспорт.

Валька тоже подошла к столу, но только развела руками, поскольку отродясь не имела гордого советского паспорта: Симочка этого не допускал, а метрику, ее единственный документ, отобрал и спрятал.

Теперь неохотно извлек откуда-то бумагу на странном языке.

Регистраторы аж взвились. Настоящая иностранка, из Польши, живет без паспорта, зато руки-ноги в синяках и на скуле ссадина! При этом трое детей и пьяный муж.

Разобраться в ситуации не было никакой возможности. Пришедшие посоветовались вполголоса, потом старший регистратор, по виду Симочкин ровесник, закрутил колпачок авторучки и сунул в карман пиджака: «Это не наше, товарищи, дело». У хозяина отлегло от сердца, а тот продолжал: «Пусть милиция разбирается», и Симочка вскочил как ошпаренный.

Понятно, что его собственная хроника событий звучала несколько иначе, но сестра отредактировала рассказ в сторону истины и была уверена, что не обошлось без бряцания медалями и пьяных слез, что всегда служило прелюдией к ключевой фразе: «Я в танке горел!».

— Я тоже воевал, — сдержанно ответил регистратор, — но не с женой.

— А она и не жена мне! — сдуру завопил Симочка, а что последовало за этим, Тоня даже вообразить себе не могла, но определенно случилось что-то безобразное, поскольку брат ночевал в милиции, и ночевать там, а также дневать, ему предстояло пятнадцать суток.

Отделался весьма дешево, если учесть оскорбление действием членов регистрационной комиссии и нецензурную брань по адресу явившейся милиции, как было зафиксировано в протоколе.

Многое сестры узнали от Вальки, которая прибежала к Тоне в самом жалком виде.

Втроем — сестры и Мотя (Валька не в счет) — пытались разобраться в «этом бедламе», — а как еще такое назвать?!

Попробуй разберись: милиция не бакалея, милейшая Аллочка не поможет. Тоня приготовилась хлопотать: брат в милиции, брата надо вызволять...

— Дай покой, — в негромком голосе сестры вдруг слышались интонации покойного отца, — пусть prospится. Никто ему не виноват; вон кому помогать надо, — и кивнула на Вальку, — она больная совсем.

Мотя предложил переночевать у них с Дашей, но Ирина рассудила, что сейчас только и время пожить спокойно дома.

Уложив малышей (старший пропадал с мальчишками во дворе), Валька села напротив Ирины и вдруг быстро и плавно сползла на пол.

Придя в себя, рассказала, как Матрена, умирая, взяла с Симочки клятву, что они обвенчаются, и благословила. Как Симочка поклялся на образ: «Завтра же, мамаша, завтра же». Но мать схоронили, а когда Валька напомнила Симочке о клятве, тот сложил кукиш и ткнул ей прямо в лицо. Потом вытащила из-за пазухи бережно сложенную бумагу и протянула Ире: «То моя метрика. Сховай». И добавила умоляюще: «Сховай, сестра!».

Та без расспросов положила бумагу в торбу и знать не знала в тот момент, как это помогло изменить судьбу Вальки, которая за считанные недели из Вальки превратилась в Ванду Добжаньску, коей и была все свои двадцать с небольшим лет, пока Симочка не въехал на своем танке в концлагерь, куда она попала во время войны, и не освободил ее.

Молодая полька была скорее благодарна доблестному танкисту, чем влюблена, но и влюбилась скоро. Только прожив с освободителем какое-то время, осознала, что попала в новый плен, и не было способа из него вырваться! Русского языка она не знала, бывала только в продуктовых лавках да у родных мужа, который и мужем-то не стал, хоть она ро-

дила ему двух сыновей и дочку. Убежать? А куда убежишь, от своих-то детей?.. Редким счастьем были письма от матери, но Симочка старался, чтобы счастье это стряслось как можно реже, и перехватывал заграничные конверты. От посылки из Польши, однако, не отказывался: неизвестная теща слала главным образом детские тряпки невиданной яркости да кое-что для дочери, но и ему перепадали то сигареты, то галстук. Мать сокрушалась в письмах, что не видит внучат, и звала Ванду в гости, но Симочка об этом и слышать не хотел, а для надежности отобрал у нее метрику...

Фронтвик из регистрационной комиссии помнил об иностранном документе, как помнил и о затрещине, которую схлопотал, находясь при исполнении служебных обязанностей, от пьяного Иванова С. Г. Помнил и сообщил куда *следует*. Что же это, мол, получается, товарищи: гражданка из страны социалистического лагеря находится в совершенно бесправном положении: ни работы, ни прописки, а гражданский муж ее терроризирует и избивает, да вдобавок спекулирует нашим славным прошлым.

— И мне как фронтвику это больно, — закончил свой рассказ, все еще под впечатлением лично полученной оплеухи.

И надо же так сложиться, что почти одновременно забеспокоились в Комитете по делам религий, где был получен сигнал из костела. Польская община ничего не знала о Вальке, но заговорили ни много ни мало как об ущемлении свободы вероисповедания.

А это неправда, товарищи! Отправление культа, как и естественных надобностей, в нашей стране происходит по свободному волеизъявлению. И с Польшей мы дружим,

так что если гражданка хочет погостить на родине, никаких препятствий чинить ей не имеют права.

Все произошло так стремительно, что Симочка не успел понять масштаба событий. Пани Ванда Добжаньска, даже не озаботившись попрощаться (а скорее всего, опасаясь этого прощания), отбыла скорым поездом в Варшаву, и не одна, а с двумя детьми. Старшего Добжаньского пришлось оставить с отцом. «Вы ведь в гости едете?» — напомнили в ОБИРе.

Вот что устроила «эта курва». Симочка торжествовал, что первенец остался с ним, и обещал сделать из него человека. Как именно, Тоня не выяснила, поскольку брат вскоре переехал на другую квартиру, где поселился с бойкой осповатой бабой, и жил в полном согласии с нею и самим собой.

Тоня вздохнула с откровенным облегчением. Жизнь была так плотно утрамбована, что выслушивать излияния брата стало тягостно.

Сказывался возраст. Она сделалась очень раздражительной и, чего раньше не было, обидчивой. Сама ощущала, как накапливается усталость, и не было на свете средства стряхнуть ее с себя, как снег с воротника. Казалось бы, освободилось время для себя: вот уже и Таточкины мальчишки ходят в школу, — но хлопот меньше не становилось, они просто стали другими.

Зато прибавилось неприятностей.

Невестка уверенно, словно так и надо, заняла девичью комнату, где Федя когда-то принимал больных. Заняла без спросу, без разрешения и безо всякой необходимости, так как никаких больных принимать не собиралась. Просто устроила для себя нечто вроде маленького будуара. Оставить это безна-

казанным Тоня не могла: вышла из себя, раскричалась в надежде, что вот-вот придет с работы Юраша и поставит хамку на место. Самое неприятное, что сцена разыгралась в присутствии соседки — той, что теперь занимала бывшую спальню. Соседка ждала, пока закипит чайник, и не отводила от него глаз, как будто от этого он закипит быстрее. Тоня ждала того же, хоть кипела не слабее чайника, а виновница скандала напевала что-то и вешала в девичьей занавеску. Потом налила себе воды в стакан, отпила несколько глотков и, глядя через стакан на свекровь, сказала ровным голосом:

— А когда подохнешь, я у тебя все золотые зубы вырву, — прошла мимо и захлопнула за собой дверь.

Вот так.

Соседка скрылась, вместе с притихшим чайником, а Тоня стояла не шевелясь, пришибленная обещанием и раскованным невесткиным «ты», причем неизвестно, чем больше.

Сын только рукой махнул: «Оставь ты ее в покое». Перспектива Тониной смерти в тракторке жены не вызвала у него ни возмущения, ни негодования. «Оставь ее», — повторил, и Тоня заметила, что он неважно выглядит, да и мешки эти под глазами...

Быстро или медленно, Зойкина угроза стала известна почти всем, некоторым дважды.

Не обращай внимания, сказала сестра. Собака лает, ветер носит.

Бедная мамусенька, посочувствовала дочь, и глаза у нее были заплаканы, но по другой причине: Эдик часто приходил домой пьяным, а во хмелю бывал такой... несдержанный; главное, мальчишки видят... Тоня засуетилась: арника! Самое лучшее средство от синяков, — и начала рыться в аптечке.

Наиболее бурно отреагировала Тайка. Кошмар! Это подсудное дело, танта, на нее надо в суд подать!.. Что, впрочем, не мешало ей заглянуть в новую светелку потенциальной подсудимой и оживленно с ней поболтать, что особенно задело крестную.

Мотя качал головой: при Феде не посмела бы. Посидел и засобирался домой.

И Тоня с ужасом отшатнулась от открывшейся ей истины: человек одинок в своей боли, обиде и унижении. Никто не поможет, как они с Федей всегда всем помогали. То ли другое время, то ли другие люди, то ли она сама стала другой, но сестра, как ни крути, опять права. Единственная защита — не обращать внимания. Интересно, как у нее самой это получается? Вспомнила инфаркт, разрыв с дочкой... Вспомнила и поехала: вот цена за то, чтобы «не обращать внимания».

18

Только сама Ирина знала, каких сил это стоит. Те годы, которые минули с давнего ноябрьского вечера, взорвавшегося инфарктом, хорошо бы перевернуть пачкой неразрезанных страниц, как в скучной книге.

Чем она жила? Ожиданием, когда вбежит Лелька? Воспоминаниями? Поисками справедливости?

Ей удавалось видеться с внучкой: то встречала ее после школы, то ждала воскресенья в надежде, что девочке разрешат «навещать бабушку».

Надо сказать, что Таечка серьезно взялась за дочкино воспитание: никаких поблажек. Не ее вина, как она бес-

помощно жаловалась крестным, что «матушка совершенно распустила ребенка». На вопрос Федора Федоровича, в чем, собственно, заключается распушенность, Тайка охотно объяснилась. В списке требований, предъявляемых к девятилетней девочке, не хватало разве что одного: познать самой себя. Впрочем, на это у Лельки не хватило бы времени.

Супруги обменялись короткими взглядами, которые означали, что Ира была права: Таечке не дочка понадобилась, а даровая нянька к ребенку. И прислуга за все, мысленно подкорректировала Тоня, слушая крестницу.

Так что если кто-то и искал справедливости, то не Ира, а Тайка. Жаловалась всем родным, что хочет «помириться с матушкой», что все происшедшее — чистое недоразумение, в коем она, Тайка, ничуть не виновата: «На моем месте так поступила бы любая мать». Ни один тезис из тех, которыми она козыряла в детской комнате милиции: «тлетворное влияние», «религиозная пропаганда» или там «церковное мракобесие», — не упоминался вовсе.

Все знали Тайкину безалаберность и свойственную ей пустяковость, но так сильно воздействовало ее красноречие, горькие интонации и бриллианты готовых пролиться слез, что ни у кого не возникло вопроса, зачем она ждала целых девять лет, чтобы предъявить родительские права на дочку.

И брат, тогда еще с Павой, и крестная осторожно наседали на Ирину с бессмысленными аргументами: «Ты старше, ты умней, ты должна понять...», пока Феденька не положил этому конец: с инфарктом не шутят.

Чем Ира жила... Какое-то время заняла — вернее, отняла — болезнь, потом — возня с пенсией, увенчанная три-

умфальной суммой в 52 рубля (новыми) да работа, только теперь шила не плащи, а мужские сорочки.

Внучка часто приходила в гости не одна, а с братиком. Ему уже исполнилось три года, и он ходил в садик. Бабушка радовалась, что Лельке стало полегче: меньше стирки, да и на руках больше ребенка таскать не надо. В то же время брала досада: хоть бы один день дали девочке отдохнуть!

Симпатичный смуглый малыш жевал пышки, держался за бабушкину руку пухлой ладошкой, просил «показать кино», но диафильмов у Ирины не было, и он, самозабвенно сопя, рылся в старых Лелькиных игрушках. Славный карапуз, убеждала себя Ирина, милый. Странно, но Ленечка не трогал ее сердца. Совсем не трогал, и даже чувства вины за это не возникало.

Чужой ребенок. Милый, неуклюжий, смешной — и чужой. Не потому, что родился от хамоватого человека, почему-то выбранного дочерью в мужья: в конце концов, это Тайкин ребенок, а Тайка ей дочь. Однако, глядя на Ленечку, она чувствовала какую-то обиду как раз потому, что у этого малыша был полный комплект родителей, его любили и баловали, а чтобы удобнее было это делать, у второго ребенка отняли кусок детства: Лелька призналась, что без братика ее сюда не пускают.

Нет, бабушкиной любви на этого внука не хватало. Да и нуждался ли он в ней?

...Таечка искала встреч с матерью. Она стала приходить в гости к Наде, и та подолгу сочувственно ее выслушивала.

Ирина либо уходила из дому, либо запиралась у себя.

— Матка называется! — укоризненно обращалась Надя к буфету после Тайкиного ухода. — Дочка к ней с открытой душой, и так, и эдак, а ей хоть бы хны. От-т староверы чертovy! — Невестка была православной; вероятно, поэтому и захлопывала дверцу буфета решительно, словно перекрывала староверам путь на кухню. Иногда внезапно поворачивалась к Ирине: — Ну чего ты кобенишься? Это ж дочка твоя, родная кровь! Я, говорит, ради матушки на все готова...

Спасали книги и работа. Не ново, но надежно. В книжных магазинах покупала что-то для себя, а что-то для внучки. Поговорить было не с кем — разве что рассказать Лельке о прочитанном. Иногда в дверь робко стучала Людка, племянница: «Теть Ира, дайте чего-нибудь почитать», хотя Надежда не одобряла «романов» и выражала тем или иным способом свое неодобрение. Вся в слезах, Людка возвращала книгу с жирным кругом от сковородки на обложке: «Теть Ира, это не я...» Да уж понятно, кто.

И все же никакая книга не могла заглушить боли от слов «родная кровь», а кто их сказал, не имело значения. Не подкидыш, не кукушонок, не сиротка, взятая на воспитание: родная кровь. Значит, такая кровь? Против этого все в душе восставало: нет! Доказательство — Левочка, сын, полная противоположность сестре. Оставалось в утешение народное присловье: «В семье не без урода».

Страшненькая поговорка.

Или — истина?

Не было ответа, одни вопросы — горькие и беспомощные, как вино, превратившееся в уксус.

Особенно долго тянулось лето, потому что Лелька жила на взморье и в городе не появлялась. В то первое «пенсионное»

лето непривычная потерянная и пустота ощущались, как никогда раньше. Все, за что Ирина ни бралась, быстро кончалось, будь то домашние дела или книга. Стало слишком много времени. Сестра передала Тайкино приглашение «к нашему шалашу», имея в виду казенную дачу, которой очень гордилась.

Обходить улицу, где Тайка живет, — и ехать к ней на дачу?..

Ире было куда поехать: в М***, Колин предсмертный город. И сон привиделся такой, что совсем ее не испугал и не удивил, а только укрепил в решении ехать.

«Пойдем, я тебе покажу», — говорит Немка, и они идут к старой балке. «Все они там, замученные, — Немка протягивает Ирине руку, — что стоишь? Спускайся; муж твой здесь, только искать надо». На дне камни, выбеленные солнцем и голые, как кости, и кости, такие же белые и гладкие, как эти камни. Ира осторожно идет, раздвигая кусты, и камней становится все меньше, но среди обилия костей она понимает вдруг, что Колю ей не найти никогда, ведь на пальце у него нет больше обручального кольца, кольцо лежит в шкафу.

Кольцо действительно лежало в шкафу, а старый будильник рядом с кроватью настойчиво выстукивал: «Так коротка, так коротка...»

Коротка наша жизнь, согласилась Ирина. Коротка и суетна.

Она собиралась съездить еще в 46-м, но все время что-то не позволяло, а теперь...

Когда, если не теперь?

...Сошла с поезда солнечным июньским утром и медленно, чтобы унять сумасшедшее сердце, обошла снаружи здание вокзала. Солнце ярко светило на газетный киоск, и он казался необитаемым, потому что стекла были затянуты изнутри

выгоревшими газетами. Мелькали люди, но без особой спешки, и она порадовалась, что приехала в будний день. Сам вокзал был длинным зданием какого-то мочевого цвета. Отчего все вокзалы желтые, рассеянно подумала Ира, и наш, и в Ростове?.. В тени примостилась тележка с газированной водой. Между двумя яркими стеклянными конусами с сиропом свисало унылое немолодое лицо, которое его обладательница подпирала кулаками, поставив локти на прилавок. Ире вдруг захотелось пить — не от жары, а от волнения. «Вам с вишневым или смородиновым?» Сироп был совершенно одинакового цвета в обоих конусах, цвета Тайкиной губной помады. Она выпила стакан холодной, колющейся пузырьками воды. Продащица сразу перевернула стакан и сдвинула рычажок, отчего под стаканом весело забился игрушечный фонтан, потом замерла, снова подперев мясистое лицо.

От вокзала шла широкая улица. Федя говорил, что от города до лагеря километра два, там лес еще был. Спросить? А у кого? Да и как спросить: где, мол, тут немецкий концлагерь был?.. Все-таки направилась к окошку «СПРАВКИ» и, уже приблизившись, повернула назад: откуда ей знать, совсем девочка.

У входа в здание вокзала приостановилась у книжного лотка.

— Что желаете, гражданочка?

Пожилой продавец положил за ухо незажженную папиросу и с такой готовностью поправил закатанные рукава рубашки, что сразу отойти показалось неловко. «Детских нет, — он с сожалением развел руками, — а вы бы в центральный книжный зашли, на Ленина. Только не сегодня: по понедельникам он закрыт».

— Я только сегодня... здесь. Вечером обратно.

— В командировке, — понимающе кивнул тот.

У лотка остановилось несколько человек, и она не успела ответить.

— Я смотрю, вроде не похожи вы на командировочных, — мужчина разровнял книги, и она заметила татуированные буквы на фалангах пальцев, из которых складывалось имя «Леша». Продавец поймал ее взгляд и пояснил: — Память о фронтовом друге. Вроде как побратались мы с ним; сам-то я Николай, Коля. — Закурил папироску и ненавязчиво поинтересовался: — В гости, значит, приехали?

То ли имя, то ли его располагающее лицо, а может, доброжелательный голос, но что-то возымело действие, и она призналась, что ищет концлагерь, где погиб муж.

— Мне говорили, километра два за городом, да не знаю, в какую сторону. И вообще ничего тут не знаю, — добавила зачем-то.

Мужчина докурил. Хотел привычно плюнуть на окурок, но передумал: загасил о подошву, повинтив для надежности, и бросил в урну.

— Далеко, — сказал после паузы, — лагерь-то у них в лесу был. Туда автобус идет, только я номер не знаю. Надо ехать на тот берег, — он махнул куда-то влево, — а потом по шоссе пару километров. — Взглянул на часы: — В два меня сменяют, так я мог бы съездить с вами, а то заплутаете. А вы пока что по городу погуляли бы, тут красиво; а?

— Ой, да что вы, — сконфузилась Ирина, — я сама поеду. Язык до Киева доведет; у людей спрошу! — И осеклась, вспомнив справочное окошко.

— Вот-вот, — догадался продавец, — про то мало кто помнит, да люди и не любят вспоминать. А там теперь всё

застроили, — он потер лоб, вспоминая, — хозяйство какое-то; городское, вроде. А то, может, дождетесь?..

Поблагодарила, но отказалась: хотелось одной.

...Сейчас воспоминание о том дне похоже на перебирание цветных открыток, какие бездумно покупают в чужом городе туристы, хотя не было в Ирине ни капли туристской беззаботности. Так бывает с серьезной книгой, небрежно иллюстрированной аляповатыми картинками: ничего, кроме раздражения, эти картинки не вызывают, а вот поди ж ты, застряли в памяти. Потому и запомнились уткнувшееся в небо острие костела, небольшой сквер с большим памятником Ленину, какой-то очень знаменитый дворец со множеством колонн и белая дородная русская церковь с ярко-голубыми куполами.

Остался позади центр. Асфальт все чаще был разбавлен булыжными мостовыми, от которых отходили мелкие кривые улицы и улочки, напоминающие родной Московский форштадт, только русская речь слышалась намного реже. Вот и мост, о котором говорил продавец книжек, а на автобусной остановке не городская скамейка, а дачная какая-то лавочка, и только увидев эту лавочку, Ирина поняла, что после поезда ни разу еще не присела. Автобусы подходили и останавливались, но она оставалась сидеть, пока, наконец, на табличке одного из них не увидела подходящее слово. Внутри пахло нагретым дерматином и резиной.

Действительно, миновав мост, автобус покатил по шоссе. Для верности спросила у шофера; тот равнодушно кивнул: «Через одну. Там многие выходят», — хотя автобус был почти пуст.

Прямо от шоссе начинался лес, и туда уходила укатанная дорога. Правда, лес был неравномерный, преобладали молодые пушистые сосенки, не намного выше Ирины, и маленькие тонкие осинки. Неужели Федя ошибся, или книжный продавец что-то напутал? Этим сосенкам от силы лет десять!

Дорога кончилась просторной утоптанной площадкой. Она увидела довоенной еще постройки, но крепкий деревянный дом, а рядом два грузовика и одну легковую машину. За домом были неровно свалены доски. Вывеска на доме выглядела намного моложе его самого и, должно быть, поэтому звучала для Ирины непонятно: «МПКБ Гипрогоркомхоз». В окнах мелькали силуэты людей. От площадки отходило несколько узких тропок, одна из которых, пошире, была обозначена деревянным столбиком с фанерной табличкой и надписью: «Новая градирия», где хотя бы одно слово было понятно.

Все, буквально все выглядело хуже и неприятней, чем во сне, где Немка водила ее по оврагу. Там хоть не было слов с наждачным звучанием или давящихся буквами, не было ложного, неправильного леса и чужого города. Напрасно она ехала сюда. И мужчина, продававший книги, не обманул — ошибся.

Оставалось немного передохнуть и возвращаться.

По дороге не пошла — со стороны шоссе, медленно переваливаясь, ехал грузовик, да и приятней идти по упругому мху. Отдыха на автобусной остановке не хватило, и она присела на широкий пенёк.

Знала, что приехала зря — или не туда. Так не бывает, чтоб никаких следов, должно было остаться хоть что-то. Лес, где мучили и убивали, не мог быть таким же густым, как

сейчас, — ведь тогда люди могли бы убежать, спрятаться за деревьями...

И замерла: пни! Вскочила —

Пень, на котором сидела, когда-то был большим деревом. Обернулась в поисках другого — или других, а сердце заметалось в бешеном темпе, но некогда было его успокаивать. Оглядываясь по сторонам, Ирина искала не лес уже и не постройки, а бывшие деревья, спиленные много лет назад, чтобы хватало места для смерти.

Exekution.

Вспомнились почему-то безногие солдаты, которых так много было на вокзале после войны, и как они собирались группками покурить; вспомнились их блестящие никелированные губные гармошки (трофейные, поняла она), и звуки этих гармошек странно перекликались с тревожными гудками поездов.

Темные пни в молодом подлеске напомнили тех инвалидов в шумной быстрой толпе.

В разговоре с нею Феденька признался, что многое забыл. Сам путь в М*** показался ему тогда вдвое длиннее, чем был на самом деле. По его словам, лагерь помещался не то на поляне, не то на вырубке, отделенной от леса колючей проволокой. Запомнил просеку через лес, ведущую к воротам, через которые был допущен в помещение к важному офицеру, вооруженный запиской от еще более важного, и ждал, не позволят ли повидать Колю. «Свидание исключается», — твердо сказал офицер, а вместо объяснения Феде вручили конверт с Колиным профсоюзным билетом и обручальным кольцом.

Умом понимая, что ничего из прежнего описания сохраниться не могло, Ирина мысленно видела и те ворота, и проволоку, и вооруженных часовых в надвинутых касках и со вздернутыми штыками, какими их изображали в книгах о войне. Сейчас, пятнадцать лет спустя, ворота давно были изглоданы ржавчиной, как и проволока, превратились в рыжую пыль. А просека, просека ведь так скоро не зарастает? Впереди, где-то за домом и по обеим сторонам высились деревья настоящего леса, а здесь изредка попадались низкие пни и ямы, остальное занимала молодая поросль. Со-сенки тянули вверх и в стороны пушистые сизоватые лапы, чтобы скорей дотянуться до взрослых деревьев — и слиться с ними.

Вырубка быстро зарастала, и молодая зеленая жизнь укрыла от человеческих глаз боль, муки и смерть. Глубокие ямы обросли мягким вкрадчивым мхом, осенью их заметало сухими листьями... Земля, избитая солдатскими сапогами и политая кровью, ожила, трава густела из года в год, и те, кто шел молодым леском, отнюдь не вздрагивал при виде блестящих красных капель брусники...

Брусника появится в конце августа, не раньше, но появится непременно, потому что изо мха торчали маленькие кустики с блестящими темными листиками, словно крохотные фикусы.

Нет, откровение не снизошло внезапно. Ирина даже не смогла бы сказать, сколько времени понадобилось на осмысление истины. В какой-то момент сердце начало биться ровней и медленней, словно истина проникла в его глубину.

Упокой, Господи, душу невинно убиенного раба Твоего Конона и всех принявших муки раб Твоих.

Прости, Коля, что ногами могилу попираю. Знаю: по кладбищу иду. Давно собиралась тебя проведать; долго шла. Ты жди меня, родной; там встретимся. Земля — одна. Жди меня.

Она медленно обошла молодой лесок, вдыхая горьковатый сосновый аромат, потом вышла к дому с невнятной вывеской, уже догадавшись, что нигде, как в этом доме, добротной усадьбе какого-то хуторянина, Федя ждал свидания с ее мужем.

Не дождался.

Теперь осталось дожждаться мне.

Обратная дорога всегда короче. Может быть, оттого, что нет больше неопределенности и ожидания. В автобус набилось много народу, ехал он быстро, и вскоре Ирина снова стояла на вокзале, где что-то неуловимо изменилось, сохранив странную симметрию. За книжным лотком теперь стояла, опираясь на локти, девушка с длинной косой и читала книжку. Тележки с газированной водой не было, а на ее месте стояла бочка с квасом, у которой толпилась очередь, но вместо унылой женщины квасом ловко командовал молодой парень в белом халате с закатанными рукавами. В окошке «СПРАВКИ» сидел лысый мужчина в очках. Закатное солнце подправило цвет вокзала, и теперь он выглядел не уныло-желтым, а песочным.

Вот и съездила.

Поезд двинулся, но как-то неохотно, рывками, и коричневые треугольные крыши походили на женщин в темных платках, которые тихонько кивали на прощание. Всякий раз, когда показывались деревья, казалось: тот лес, хотя тот давно остался позади. Колеса, наконец, заторопились: «Так корот-ка, так корот-ка».

На кухонном столе лежала телеграмма от Левочки: «ПРИБЫВАЕМ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМЕ ЗПТ ВСЕМ ПРИВЕТ СКОРОЙ ВСТРЕЧИ ВСКЛ ЦЕЛУЕМ = МЫ».

Перед приходом сына Ирина была очень занята, да оно и к лучшему. Левочка демобилизовался, и теперь она не обмирала при виде реактивных самолетов, которые оставляли на небе две меловые полосы: из военной авиации сын перешел в мирную и безопасную гражданскую. Семья решила переехать в Город, а жить на первых порах у матери; где же еще. Пришло и письмо, содержащее немногочисленные подробности: сын сообщал, что в течение полугода ему обещали квартиру, Милочка будет работать в школе, а там посмотрим. Просили подыскать для сынишки детский садик поблизости.

Рассказать — не поверят. Родная сестра не верила, как вчетвером не только уместились, но и ужились в одной комнате, умудряясь не раздражаться или не выплескивать раздражения, которое сравнить можно только с керосинчиком в костер. Сколько времени прошло, пока сын получил квартиру, полгода или больше, сейчас не вспомнить. Правда, Ирине повезло с невесткой: Милочка была милым и теплым человеком, а уж спокойна и покладиста настолько, что даже Надежда не билась в падучей из-за лужи у раковины; умница Милочка.

А квартира-то, квартира! Новенькая и такая же игрушечная, как только что появившиеся новые деньги. Совсем миниатюрная, словно кукольная: две комнатки, аккуратный курятничек с белой газовой плитой — кухня, а также каморка с ванной и унитазом. Последнее помещение именовалось

стыдливым словом «удобства», а официально — «совмещенный санузел». Но к чему придирается, если у квартиры было огромное достоинство: она была отдельной, да к тому же с иголки, в новехоньком пятиэтажном доме, похожем на кусок рафинада. Эти дома только-только начали вырастать там и сям, и квартира в таком доме была мечтой многих. Это потом, лет через десять, озлобленные сегодняшние счастливицы с подростками и парализованными дедушками назовут свои квартиры «хрущобами» и будут рваться из них всеми силами, а сейчас они на седьмом небе.

Как и Лева с Милочкой, уставшие от гарнизонного жилья, от тесноты у матери, а тут — отдельная квартира, целых две комнаты на троих и даже прихожая, где могут уместиться два человека в единицу времени. Невестка с Ириной озабоченно покупают все необходимое, и так получается, что почти все — китайское, веселое и яркое, так что, даже если необходимости насущной нет, купить очень хочется: большие термосы с небывалыми цветами, махровые полотенца, соперничающие экзотичностью цветов с термосами, яркие покрывала, одеяла из верблюжьей шерсти... Одеяла продавались бело-рыжей и зелено-белой расцветки. Они выбрали рыжие — «под цвет верблюдов», как пошутил сын. Кипучая дружба с Китаем выплеснулась в магазинные витрины. Появилось в продаже дамское белье из очень мягкого трикотажа, но фасона столь монашеского, что интересовались только пенсионерки. Продавались атласные тапочки без задников, с вышитыми на них цветами с термоса, но тапочки размеров по преимуществу китайских, отчего спрос был ограничен. В витринах лежали дивные веера: их тонкие пластинки выглядели, словно источенные жучком, но как

искусно! Раскрывались веера павлиньими хвостами разного радиуса, но одинаково головокружительной красоты, и граждане толпились с восторгом у витрин: «Девушка, покажите, пожалуйста...» — и продавщицы с пресыщенными лицами неохотно вытаскивали красоту из витрины и раскрывали; да кому, скажите на милость, в западном портовом городе может понадобиться веер?!

Трудно было избавиться от впечатления, что жизнь у китайцев веселая и счастливая, если каждое утро они суют свои миниатюрные китайские ножки в атласные тапки, вытираются дивными расписными полотенцами, пьют чай из цветастых термосов и спешат на работу, обмахиваясь красочными веерами. Сын объяснил: «Это торговый обмен. Мы оказываем Китаю экономическую помощь, там полный развал». И показал фотографии в «Огоньке». Ирина была разочарована: мужчины и женщины все в одинаковых синих застиранных спецовках, и отличить их можно только по прическам. Стало понятно, отчего дамские трусы такие унылые. Правда, все китайцы радостно улыбались, несмотря на сиротскую одежду.

Она никому не рассказывала о поездке. Сыну забот хватало, а больше никого это не касалось. Будь с Тайкой нормальные отношения, все равно бы ей не рассказала: Тайка не только не заинтересовалась бы, а, что всего вернее, еще и посмеялась бы над ней.

Так бывало очень часто. Ирина не решалась сказать: всегда, хотя привыкла, что они с дочкой живут и видят жизнь по-разному. Конфликт отцов и детей? — В этом она не разбиралась и книжку Тургенева не любила. У них в семье ни

братья, ни они с Тоней с родителями не конфликтовали; разве что Андрюша, единожды, перед немилрой жонитьбой. Ни у Моти, ни у Тони она тоже не видела якобы неизбежных противоречий и взаимонепонимания. Просто дети — они и есть дети: хотят быть взрослее, иначе причесываются, по-другому говорят... Так было всегда.

С Тайкой было не так. У нее вызывало протест все, что бы мать ни делала, что бы ни говорила; не просто «старшее поколение», а именно она, «матушка».

Матушка олицетворяла мещанство.

Как подарочный набор «Красная Москва» содержал, помимо знаменитых духов, одноименные мыло и пудру, с пунцовоу кисточкой на крышке, так мещанство опиралось на крепкий ствол домашнего фикуса, ибо советская власть яростно и глумливо ополчилась на этот цветок, объявив его символом мещанства. Туда же, в мещанство, отправили граммофон, канарейку в клетке, глиняную копилку и коврики с лебедями, отчего «подарочный набор» стал весьма громоздким.

Ирина любила комнатные цветы, в том числе и преданные анафеме фикусы, но ни канарейки, ни лебединого коврика не держала. Граммофон же когда-то внедрила сама Тайка, но вовремя вспомнила о мещанстве, после чего символ исчез. Однако состав подарочных наборов варьируется, взять хотя бы одеколон «Красная Москва» в затейливом флаконе, сделанном в виде кремлевской башни из шершавого, совсем наждачного на ощупь, матового стекла; этот одеколон иногда то дополнял, то вытеснял мыло с пудрой... Освободившись от граммофона, дочь объявила мещанством самовар, после самовара — тюлевые занавески.

Твои дед и бабка — ростовские мещане, объясняла Ирина, и я мещанка. «Оно и видно, — дочка обводила взглядом знакомую комнату, — черт-те что и сбоку бантик».

Таечка охотно записала в мещанство кружевной воротничок на дочкином школьном платье, фотографии в рамках, вазу с нарисованным на ней то ли журавлем, то ли аистом... Тканая накидка на старом кресле оказалась там же, где вся мебель, печные изразцы и лепнина на потолке — в мещанстве. Туда же, в мещанство, как нельзя лучше умещались иконы с лампадками, пока Таечка не нашла для них совсем замечательную нишу под названием «религиозное мракобесие»; поистине, лучшее — враг хорошего!

Как-то раз в гостях у крестных она тоже неосторожно напала на мещанство. Никакой надобности в этом не было: просто Тоня замешкалась с чаем, Феденька листал журнал, а гостья стояла у буфета и бездумно вертела в руках крохотную статуэтку: какой-то дядька тащит рыбину на спине. Поставив фитюльку обратно в буфет, вздохнула: «Я думала, только у моей матушки такое мещанство».

— Это не мещанство, детка, — Федор Федорович закрыл журнал, — это слоновая кость.

— Прямо уж, — недоверчиво буркнула та, но сразу нашла, — а разве слоновая кость не может быть мещанством?

— Сомневаюсь, — рассеянно улыбнулся крестный.

— Ну, у вас мещанства не много, — Таечка уже сочла тему исчерпанной, как вдруг мысли Федора Федоровича приняли совсем неожиданное направление.

— Не так уж мало, — горделиво признался он, — но я дорого бы дал, чтобы называться настоящим мещанином!

И вслед за этим скандальным заявлением не продекларировал, а медленно и торжественно произнес:

Не офицер я, не ассессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Таечка подняла брови, но ни о чем не спросила. Феденька устроился поудобнее, подложил под голову маленькую вышитую подушку — самое настоящее мещанство — и ответил, словно поднятые брови задали вопрос: «Это Пушкин».

Дочь выражала протест мещанству, то есть Ириной жизни, громко и охотно, только свой протест редактировала применительно к аудитории, будь то подруги, родственники или детская комната милиции. Что бы ни говорилось, как-то всегда получалось, что матушка ничего не понимает ни в жизни, ни в политике, ни в воспитании, зато беспощадно подавляет любые ростки личности, поэтому странно даже, что она, Таечка, сумела уберечь свою недюжинную натуру и чего-то в жизни добиться. Новый собеседник непременно уважительно спрашивал: «А где вы работаете?», и Тайка снисходительно отвечала: «В Министерстве тяжелого машиностроения». Тот почтительно кивал, еще бы: хрупкая, нежная Таечка, тащившая на своих узких плечах тяжелое машиностроение республики — это впечатляло. Свои знали, что работала она там машинисткой, ее ценили за грамотность, скорость печатания и знание двух языков, но с тем же успехом могла работать в Министерстве легкого машиностроения.

ния, на пуговичной фабрике, в цирке или в домоуправлении — в качестве той же машинистки, ибо школу, несмотря на уговоры родных и мольбы Ирины, так и не закончила. Не потому, что плохо училась, а — скучно было.

«Мне скучно, мама!..» — восклицала она в те давние времена, но поговорить о старине, по примеру пушкинской героини, желания не выражала: это тоже было скучно, а потом и вовсе превратилось в мещанство. Тайка много читала — и либо скучала, либо высмеивала прочитанное: «Наши не умеют писать». Попутно выяснялось, что и ничего не умеют, и вообще отрицалось все, связанное с советской властью, словно прожила не десять лет при независимой республике, а по крайней мере полжизни.

Интересный вопрос — отношение к власти. Ирина как раз очень хорошо помнила мирное время, что для многих переводилось как «спокойное время», тогда как советская власть означала постоянные «недо»: недоедание, недосыпание, недоодетость... Иными словами, хроническую недостаточность насущного, которая не кончилась и сейчас; какой уж тут покой. При этом она любила советскую власть. За эту власть Коля боролся в своей ячейке! Сам, правда, почти и не застал ее, разве что смутный предвоенный год. Он был уверен, что путь к благоденствию человечества открыт, хотя недоумение — или неуверенность? — время от времени омрачало его душу, как, например, во время национализации мастерской Максимыча. Не за то ведь он боролся, чтобы у отца отняли дело его жизни, нет; он боролся за советскую власть и умер тоже, в конечном итоге, за нее. Только, по Колиным словам, власть эта должна была быть не то что другой, но и не совсем такой, при которой им выпало жить.

Тайка, в отличие от матери, советскую власть не любила, однако умела ужиться с ней безо всяких сложностей и сомнений: принимала ее условности, владела ее языком, а когда печатала на машинке в милиции, была даже крохотной, но частью аппарата этой власти, чем немало гордилась.

Что ж — власть... Как говорится, Бог — батька, государь — дядька. Но как Таечка добилась, что ее родные дядья и тетки увещевали Ирину на все лады и укоризненно качали головами?

«Тайка-Тайка-балалайка», — написано красивым размашистым почерком на обороте фотокарточки. Губы, как обычно, вытянуты трубочкой, смотрит хмуро, волосы в крупных локонах и — даже на скудной фотографии видно — блестят. Сколько лет ей здесь, двадцать пять? Сама ли Таечка себя так назвала или записала чьи-то понравившиеся слова?

Характеристика верна. Более того, Тайкино красноречие, которым она славилась еще в школе, расцвело пышным цветом, как и она сама, но если природная яркость девочки-подростка не нуждалась в помощи извне, то теперь Тайкину красоту подбадривала парикмахерская укладка и помада цвета розы в волосах Кармен, если верить картинке, прекрасно оттеняющая природную смуглость, которой, в свою очередь, весьма помогала пудра персикового тона.

Такую же метаморфозу претерпело ее красноречие. Отца давно не было в живых, а мать Тайка и раньше не щадила ради красного словца. Красноречие — опасный дар, особенно у натур эмоциональных, и управлять им нелегко — заносит: как сорвется, так и сорвется. Случалось такое с Тайкой, и не раз случалось, так что крестная иногда журила: «Ты го-

вори, да не заговаривайся!» Никто не заметил, когда Таечкин ораторский талант выродился в обыкновенное фразерство. Была бы жива Матрена, высказалась бы кратко и прицельно: пустомеля, ибо никогда не заблуждалась на внучкин счет.

Как бы ни назвать такой дар: речистостью, суесловием, краснобайством — он был тем оружием, с которым Тайка-балалайка вышла на тропу войны с матерью, называя это поиском справедливости, и не уставала бряцать словами, точно балалайкой.

Ирина никогда не воевала ни с родителями, ни с детьми, да и вообще ни с кем. Напрасно Тайка, в полной боевой раскраске и во всеоружии красноречия, жаловалась... А на что, в самом деле, жаловалась? Чем Тая не довольна, переглядывались родственники, утомившиеся от ее филиппик: вышла замуж, живет своим домом, мальчика родила, дочка живет с ними — она ведь из-за Олечки с матерью-то?.. Так ведь Ира никому не жалуется и управы не ищет. Что ж, не маленькая, у всех своих забот полон рот; не до нее. Таково было мнение родни.

Не маленькая? — Да уж тридцать шестой пошел. И вместе с тем трудно было отделаться от впечатления, что — маленькая, только теперь, вместо потока нежности, который всегда захлестывал, когда Ира думала о дочери, — а когда она не думала о ней? — ощущала жалость, такую же щемящую и пронзительную, как некогда нежность.

Ирина видела убогих детей. При виде их ныло все внутри, так жалко их было, а еще сильнее — мать. Например, когда встречала Лидию, свою давнюю знакомую, которая жила на Песках, где вскоре поселился брат Мотя.

Они не были подругами, но принадлежали, как сказала бы сестра, к «одному кругу». То, что круг был не очень широким, выяснилось, когда Ирочка отвергла одного из самых настойчивых кавалеров, Мишу, а Лидия пригласила его на первый же белый танец. Мишенька был славный парень, толковый и работающий, с толстым чубом темно-русых волос и застенчивой улыбкой. Впечатление портило только угреватое лицо, похожее на непропеченную булку с маком. Ушибленный безответной любовью, он не сразу обратил внимание на крепкую невысокую девушку, единственным украшением которой были светло-пшеничные, очень густые волосы. Не сразу, но всмотрелся, а всмотревшись, потянулся к Лидии всей душой, истосковавшейся по любви и готовой к ней. С тех пор их видели вместе, сначала часто, потом постоянно, и это продолжалось до тех пор, пока из Петербурга не приехал в гости брат Лидиной матери. Последнее обстоятельство имеет значение, ибо дядя проявил к Лидии неожиданный интерес.

Вначале интерес столичного адвоката льстил родителям: Лидка не дура — даром, что ли, дядюшка просиживает с ней целыми вечерами. Потом резко сократились — и прекратились вовсе — встречи с Мишей, что, впрочем, родителей не обеспокоило: куда этот увалень денется. «Увалень» встревожился раньше других, видя, как Лидия на глазах хорошеет и худеет. Кто бы мог заподозрить у этой кубышки талию? Конечно, это не Мишенькины рассуждения, это чьи-то недобрые слова; а Миша беспокоился, но никуда не девался, а как бы случайно нет-нет да и проходил мимо Лидино дома, не отваживаясь дать знать о своем присутствии. А вот петербургский дядюшка куда-то подевался, вызванный клиентом по не терпящему отлагательства делу. Лидии тоже долго не было

видно, но Ирочка к тому времени уже переехала на Реформатскую, в Старый Город, а много позже узнала, что Миша женился на польке и уехал в Краков, а Лидия родила мальчика.

Спустя несколько лет, когда они с Колей жили на месте будущего кинотеатра, встретила Лидию в парке. Двухлетняя Тайка, в нарядном розовом сарафанчике, бегала по траве за большим мячом. Мальчик сидел в коляске. У него были восточные раскосые глазки почти без ресниц и беспомощные редкие волосики на маленькой голове. Из влажного полуоткрытого ротика текла прозрачная слюна, и Лидия часто вытирала ее платком. «Сколько ему?» — спросила Ирина, все поняв и стараясь, чтобы Лидия не услышала в голосе это понимание. «Скоро пять. Это мой Стасик». Услышав свое имя, ребенок начал ритмично качаться вперед и назад и выпал бы из коляски, если бы мать не подхватила его на руки. Мальчик затих, прижавшись к ней лицом, и прозрачная струйка медленно потекла по щеке Лидии: не то слюна, не то слеза.

Лидия никогда нигде не появлялась одна — только с сыном. Мальчик рос, но выросл чрезвычайно медленно и как-то странно. В свои двадцать лет продолжал ходить, держась за руку матери. Когда Лидия останавливалась с кем-то поговорить, он беспокойно переминался с ноги на ногу, как ребенок, которому нужно в уборную; стоило ей на минуту выпустить его руку, как Стасик начинал испуганно трести короткопальными ладошками. «Если бы я тогда за Мишку вышла, — призналась как-то Лидия, — у меня такая жизнь была бы, что и умирать не надо. Дура я была, дурней Стасика...» И тот, уже мужчина по годам и вечный младенец, при звуке своего имени принялся еще ожесточенней колупать кровавый заусенец на пальце.

...Не случайно вспомнился Стасик. Ирине иногда казалось, что ее дочка тоже увечная, только по-другому: у Тайки это было замаскировано красотой, изяществом и красноречием, но так и оставалось увечьем не повзрослевшей души, и от ясного понимания этой горькой истины у матери сжималось сердце.

Время шло, как пишут в романах, и расставляло свои вехи. Росли молодые сосенки в лесу, который сделали кладбищем, а потом снова приказали быть лесом. Росла береза на кладбище, и оба они, Коля и Федя, лежали под деревьями.

Природа живет по своему будильнику, не столь аккуратному, как бабушкин. Иногда весна задержится, а потом торопливо влетит в город, чтобы сразу стало шумно, весело и суетно, и пока дрозды требовательно тюкают желтыми клювами в оттаявшую землю, спешит одеть деревья. В другой раз лето, разнежившись на горячем песке пляжа, не торопится уходить, хотя сентябрь тактично намекает ленивцу гладиолусами и школьной формой, что пора и честь знать.

Тоня была поглощена работой и домашними неурядицами. Ирина радовалась, глядя на жизнь сына, и тосковала по внучке. Тайка пыталась воздействовать на «матушку» через брата; Левочка от «воздействия» категорически устранился, в результате чего сестра вспылела, и отношения были разорваны. Жаль, говорила Милочка, мальчики подружались бы. Но долго сожалеть было некогда: замаячила перспектива научной работы.

Лелька выросла. Она сутулилась, говорила мало, но много читала и рисовала, особенно на тех уроках, которые не любила. К матери и отчиму относилась одинаково настороженно, зато очень привязалась к Ленечке. О том, что про-

исходило дома, рассказывала бабушке немного и неохотно: щадила, однако Ирина уже знала от сестры, что зять пьет и, как сформулировала Тоня, «похлеще Симочки».

Точка отсчета не вызывала вопросов. Ирина встревожилась, но внучку не расспрашивала. Успокаивало, хоть и слабо, что муж и жена — одна сатана, поспорят и помирятся, только бы Лельке под горячую руку не попасть. Если Тайка в первый раз за нее не вступилась, не вступится и теперь. Детей от родителей не убережешь.

Своего не тронут, думала с горечью.

Сердце успокаивалось, когда приходила к сыну. Какие разные судьбы, не уставала удивляться, и тихонько стучала по столу, чтоб не сглазить. Милочка ждала второго, сын выстаивал очереди — добывал где-то апельсины, а невестка непременно опускала ей в сумку тяжелый оранжевый мячик, и в комнате надолго поселялся праздничный аромат.

Пришло письмо из Варшавы, тонкий голубой конверт с яркими марками. Ванда писала, чередуя русские и польские слова, что живут у ее «матки», дети ходят в школу, а сама работает уборщицей в парикмахерской; а что денег нет, то не привыкать, зато «спокой»; спасибо, сестра! Звала в гости — быстро потеряла чувство реальности. Ира хранила письмо, но ответ писать не стала: к чему тревожить человека. А главное, о чем писать?.. «Ну, не знаю, — Тоня, по обыкновению, была недовольна, — я бы написала». — «Пиши!» Но на лице у сестры ясно обозначилась растерянность. О чем писать-то? О борьбе с грызунами? О происках невестки? Или... про Симочку? Махнула раздраженно рукой, совсем как мать: «Дай покой».

Дни не летели, не шли, а тащились, и хоть не были совсем одинаковыми, усыпляли своей однообразностью, как диета язвенника: ничего горячего, острого, пряного.

Весна тоже устанавливалась какая-то малокровная, и жаворонок не было слышно: то ли не хотели прилетать, то ли заскучали от равнодушного приема и не пели. Вата между рамами стала похожа на посеревший снег во дворе за сараем — или наоборот, островки того снега напоминали грязную вату, и больше всего хотелось лечь в постель и спать, но в пятницу раздался стук в дверь, вошла Лелька, держа руку в варежке у лица, и глухо выговорила сквозь варежку:

— Я буду жить у тебя.

19

С той минуты, как она переступила порог, Ирина стала только бабушкой и за внучку переживала не меньше, чем в самый первый год ее жизни, но если пятнадцать лет назад она могла полагаться на стариков, Матрену с Максимычем, то теперь была одна.

Лениво спотыкающееся время полетело так стремительно, что старый будильник захлебывался и давился минутами, едва успевая их отстукивать от завода до завода. Если бы не привычка к запасливости, то есть обыкновение спешить минут на десять — вполне извинительная привычка, а вовсе не гордыня, не попытка обогнать время — так вот, если бы он не забегал немножко вперед, то его постигла бы судьба хронометра, некогда принадлежавшего Герману. Конечно, дворняжка-будильник и сравниться не мог со своим

собратом по ремеслу, выписанным из Швейцарии: тот показывал время тютелька в тютельку, но захлебнулся от негодования из-за пустяка, когда человек в красноармейской форме, во время увлекательной экскурсии по хутору, откуда Германа с женой и малышом уже увезли, остановился перед диковинными часами и пощелкал ногтем по полированному стеклу циферблата; потом взглянул на свои наручные часы и покачал головой. Не в силах вынести фамильярности чужого служаки, хронометр, сам добросовестнейший служака времени, замер, и никакими силами невозможно было заставить его сменить гнев на милость.

Лелькины учебники и тетради заняли свое законное место в магафоне.

Зажила перебитая переносица, сошли отеки с лица, спасибо чудодейственной арнике.

Весна разогналась, наконец, и в «Детском мире» толпились очереди за летними пальто.

А как же «религиозное мракобесие»? Детская комната, прочно поселившаяся в снах бабушки и внучки? Милиционеры в синих шинелях?..

Все так же пылились игрушки в окне опасной комнаты, но ни милиция, ни женщина с вогнутым лицом не появлялись в квартире «7А».

А Тайка, неужели она сложила оружие? — Как бы не так!

Неизвестно, обратилась ли она в детскую комнату, но у матери ее не видели. Зато часто звонил телефон, к явному неудовольствию Надежды. Всегда благоволившая к Таечке, она выслушала обещание устроить скандал в школе и неожиданно зачастила раздраженным и более громким, чем требовалось для телефона, голосом: «Я ваших делов не знаю и знать не

хочу, разбирайтесь сами!» — и хлопнула трубку. Для собеседницы ли это говорилось или для беглянки вместе с ее укрывательницей, непонятно, но Надя вдруг сунула Лельке шоколадку, а все знают, что флюгер поворачивается, куда ветер дует.

Директор школы был очень высок, худ и неулыбчив. На месте потерянного на войне правого глаза — повязка. Он спешил на урок, отчего выслушал родительницу стоя, и поэтому Таечкина миниатюрность, всегда приводившая мужчин в умиление, сделала разговор затруднительным. От этого и тирада вышла неудачной, тем более что в единственном глазу собеседника не было видно сочувствия. Он дождался паузы: «Я понял, что ваша дочь не пришла домой... когда, в пятницу?»

Таечка энергично кивнула.

— То есть в последний раз вы ее видели в пятницу утром?

— Вот именно, — горестно подтвердила она бестолковому.

— Сегодня четверг, — директор старался приглушить гулкость своего голоса, которого так боялись школьники, — и вы до сих пор ничего не предпринимали? Ребенок не пришел из школы, — поднятая ладонь остановила Тайкин протест, и она не посмела ослушаться, хоть и не знала, что на войне он командовал артиллерийским взводом, — а вы только через неделю?..

Раздался второй звонок. Она успела вставить торопливую фразу о «сложных семейных отношениях», но директор, с картой и указкой в руке, взялся за ручку двери, пропустил ее вперед и пошел в класс, где его ждала история Средних веков и тридцать девять учеников. Он спускался по лестни-

це и не слышал гневного Тайкиного обещания положить конец этому самоуправству, а услышала пожилая учительница, за которой тянулся послушный хвост второклассников, обтекая чью-то сердитую маму. Высокие коридоры опустели и затихли. Маленькая нахотлившаяся женщина яростно пихнула входную дверь, но тяжелая дверь не ощутила толчка и закрылась медленно и с достоинством, как делала это почти шесть десятков лет.

Тем не менее Тайка о своей угрозе не забыла и твердо намерилась прийти еще раз. И пришла бы, наверное, если бы муж не выбил ей два передних зуба, отчего внешность сильно проиграла, а дикция утратила четкость, так что идти надо было не к директору школы, а к зубному врачу.

Когда же врач вернул ей утраченный шарм, идти в школу не было смысла: дорога ложка к обеду.

Поздняя весна оказалась очень кстати, потому что не пришлось покупать летнее пальто, а легкий голубой плащ Лельке очень шел, причем стоил намного дешевле пальто. Маленькая денежная победа, столь важная сейчас, когда стало нужно жить на те же 52 рубля вдвоем.

Надвигались экзамены. Ничего особенного, восьмой класс, но все же. Внучка уходила с подругами на речку, и потом из учебников долго высыпался песок. Перед экзаменами Ирина побывала в моленной; узнав оценки, тихо гордилась, словно сама проштудировала учебники.

Обе подгоняли время: скорее! Скорее! — Ждали осени. Осень — это день рождения, и не просто день рождения, а шестнадцать лет, что означает паспорт, а паспорт для Лельки был все равно, что «Манифест 1861 года» для русско-

го крепостного. Паспорт означал взрослость и освобождал от необходимости жить с родителями. Невзрачная дерматиновая обложка цвета солдатской гимнастерки, а внутри — странички, как новые деньги: упругие, с водяными знаками и пустые, кроме двух первых, которые заполнены блестящей тушью, почерком средней красоты, и снабжены маленькой — с почтовую марку — фотокарточкой изумленной лохматой особы. Непредставительный этот документ давал означенной особе право жениться и разводиться, прописываться и выписываться, а также ехать куда глаза глядят — и никто не воспрепятствует.

Правда, таких наполеоновских планов у Лельки не было, но жить с паспортом стало спокойней.

Она училась уже в другой школе (старая вмещала только восемь классов), ездила на другом троллейбусе, обрела новых друзей — словом, начинала жить в другом, отдельном сюжете, который, хоть и был неразрывно связан с бабушкиным, все же развивался по иным законам.

Что бы ни делала бабушка: кроила, шила, готовила, стояла в очереди, вязала внучке шапочку — она непрерывно мысленно перекраивала ежемесячный бюджет, все те же пятьдесят два рубля, стараясь увязать куцые, ускользящие концы. Из этой суммы один рубль она неизменно давала почтальонше, которая доставляла пенсию: иначе не могла.

И речи не могло быть о том, чтобы взять деньги у Таечки, как ни старалась та передать разноцветные бумажки то через Надю, то через крестную. После нескольких неудачных попыток («Что я вам, кассирша, что ли? — я ваших делов не знаю!») инициатива увяла; и слава Богу.

Помочь пытались и сын, и Тоня, и брат, но Ира отказывалась наотрез: жить в долг не умела, и поздно было учиться.

Милочка, умница, нашла решение: вы все равно любимчика своего каждый день проводываете, так давайте сговоримся рублей за двадцать, а иначе я никогда не защищусь.

«Бабушкиным любимчиком» называли малыша, который родился весной и своим появлением отодвинул Милочкину диссертацию на неопределенное время, что очень ее удручало. Ирина вспыхнула от негодования: за собственного внука — деньги брать?! А невестка продолжала, словно и не заметила ничего:

— Больно уж тема интересная, жалко упускать... Что же, опять в ясли его?

— Боже сохрани!..

Были уже ясли, были да сплыли, оставив хрипящего Любимчика, в его семь месяцев, с двусторонней пневмонией. Тогда-то бабушка и стала прибегать каждое утро. То ждала врача, то медсестру с уколами, а после ее ухода носила, носила маленького на руках, и сердце рвалось от жалости и любви.

Когда врач сказала, что хрипов больше нет, Ирина готова была ее расцеловать. Не находила слов для благодарности, а докторша только головой покачала: «Это вы его выходили, не я. Если б не вы...»

И — опять в ясли?!

Таким образом, Милочкино предложение было принято. Бюджет внезапно распух на двадцать рублей, и ох как эти рубли пригодились! Невестка засела в библиотеке: готовилась к кандидатскому минимуму, потом сдала этот непонятный минимум, но пришло время возвращаться на работу,

а после работы была все та же библиотека; все вместе называлось «писать диссертацию».

Кто-то сказал, что чужие дети растут быстро, вот свои — медленно; как же! Любимчик, тот самый малыш, которого она носила на руках по крохотной квартирке, уже ходит с ней в магазин и умиляет продавщиц голубыми глазами, трогательным хохолком на макушке и громко декламируемыми стихами. Она и рада бы не брать его с собой, но надо успеть приготовить что-то горячее для внучки, не в столовую же ходить, вон Тоня такое расскажет...

Дети растут быстро.

Лелька окончила школу и поступила в институт, однако вовсе не в медицинский, как мечтала много лет, а — здрастьте вам! — в геологический, да так, чтоб учиться по вечерам, а днем — целый день, шутка сказать! — работать, в каком-то... «горкомпром» или «стройгорпром», комковатое такое название, язык сломаешь. «На танцы — ни-ни, — горделиво жаловалась Ирина то невестке, то сестре, — все над своей геологией сидит», — и радовалась несказанно. Пусть говорят, что яблочко от яблоньки недалеко падает; где Тайка — и где Тайкина дочка?

Родная кровь...

Тайка была все там же: в машинописном бюро очередной организации, но Тайка овдовела. Всего-то хотела сделать небольшой ремонт, так называемый «косметический», а для начала почему-то покрасила пол. То ли муж ее поскользнулся по пьянке на этом полу, то ли с постели неудачно встал с похмелья, когда и так уже хуже некуда, а только упал лицом в банку с краской, что оказалось-таки хуже по-

хмелья. Только что состоявшаяся вдова отправилась улаживать формальности на еврейское кладбище, где покойный при жизни ни разу не бывал, и была приятно удивлена: не нужно тратиться на гроб, а ремонт уже затеяла... Ей очень шла черная блузка, которую стала носить на работу, и когда опускала глаза, видела собственный вырез и видом оставалась довольна. Она жила в той же квартирке, теперь только с Ленечкой, который траура не носил, но очень жалел «батю» и плакал по ночам. Он встречал иногда Лельку после работы, и они шли в Старый Город, выбирали кафе понезаметней и болтали. Правда, такое случалось редко, Ленечка боялся: вдруг она узнает, а этот аргумент сестра понимала.

В бабушкиной жизни произошли — нет, свершились — два больших и радостных события. Сначала Любимчик пошел в первый класс, а через год внучка закончила институт. «Отдохнешь, — сказала Тоня, натирая виски пахучим вьетнамским бальзамом, — попробуй: лучше твоего цитрамона, — и протянула сестре маленькую, как пуговица, золотистую баночку. — В школу-то не будешь парня за ручку водить». Когда Ирина призналась, что взялась нянчить чужого ребенка, Тоня остолбенела. Машинально продолжала водить по виску пальцами, потом раздраженно отодвинула снадобье: «Ну и вонища! Убери, — и задала неизбежный вопрос: — На кой?»

Объяснила, как могла.

Пенсия все та же — цены другие. Конечно, Лелька приносит зарплату; так ведь ей самой сколько надо! Одни сапоги, Милочка говорит, сто с лишним рублей стоят. Что могу, сошью, а брючный костюм не возьмусь: в ателье несет, а то готовый — еще сто вынь да положь. Невестка из командиров-

ки тряпки привозит заграничные, когда в провинцию едет, а у геологов командировка называется «поле». Так и есть, чистое поле: то камни ищут, а то еще породу какую...

— Уж не знаю, какую она там породу ищет, а только замуж ей пора, — решительно объявила Тоня. — Вот, кстати, у моей хорошей знакомой сын...

Сестра замотала головой:

— И не вздумай! Вспомни, как ты меня сватала. Ох, Тонька, мало я тебя за кровать швыряла, мало!

— А что? Чем тебе плох был мельник? Нет, ты скажи: чем он тебе был плох?

И требовательно ждала ответа, словно это имело какое-то значение теперь, почти тридцать лет спустя...

Человек как человек. Она пришла в тот день помочь по хозяйству и не знала, что мужчина в тесноватом костюме приехал со своего хутора специально ради нее, Ирины.

Раньше он появлялся в этом доме, чтобы Феденька поставил ему коронки. Воссоздать ход событий нетрудно: пока врач моет руки или колдует над инструментами, он занимает пациента анекдотами, общими фразами и столь же общими вопросами. Пациент, счастливый, что избавился на время от докторской хватки, с удовольствием мямлит что-то в ответ онемевшим от наркоза языком.

Выяснилось, что мельник — это не род занятий, а перевод его фамилии на русский язык: так, дескать, короче. Оба посмеялись, как неудобно иметь такую фамилию при советской власти. Как, впрочем, и хутор: все равно, что на бочке с порохом сидеть, заметил Феденька, рассматривая рентгеновский снимок на свет. Ну, это как сказать, с достоинством возразил

пациент, мой хутор еще постоит. И объяснил: русские не отобрали хутор по той причине, что хозяин всегда оказывал содействие партизанам, о чем у него имеется документ.

Доктор производил впечатление здравомыслящего человека, но мельник все же не стал упоминать, что теперь он с таким же сочувствием помогает лесным братьям, которые ничем, на его взгляд, от партизан не отличаются. Никакого размаха в хозяйстве, как в мирное время, нет и быть не может: ни к чему быть на виду, но в целом он вполне благополучен, только, к сожалению (он даже развел руками), одинок. Поймите меня правильно, заторопился он (наркоз отходил), мне не вертихвостка какая-нибудь требуется, словно Феденька намеревался обеспечить его вертихвосткой, мне степенная женщина нужна, жена. Конечно, я готов, что это и вдова может быть, но — достойная.

Как раз в этот момент рядом случилась Тоня и взяла эту мысль на зубок. Как Феденька ни морщился и ни отговаривал ее, Тоня пригласила-таки мельника «к чаю», но самой интонацией непостижимым образом дала понять, что — и не только к чаю.

Ира пришла к стирке, но чаю была рада, а про то, что чай не вполне чай, а импровизированные смотрины, ничего не знала. Человек в наглухо застегнутом костюме сидел напротив нее, пил чай и после каждого глотка аккуратно касался салфеткой рта: промокал усы. Усы были такого же густо-соломенного цвета, как брови, и свисали вокруг рта, а брови, наоборот, загибались вверх, к вискам, и торчали иглами, как у дикобраза. Добротный, без щегольства, костюм, достойный галстук, стягивающий полнокровную шею, ухоженные волосы, не знающие седины, хотя обла-

дателю было не меньше пятидесяти... Основательный мужчина, что и говорить; Тоня ликовала и подвигала гостю печенье. Попросила сестру заварить свежий чай и, заметив, с какой предупредительностью гость принял из рук Ирины чашку, убедилась в очередной раз в своей правоте.

Узнав о стратегическом плане, Ира чуть не ушла. И ушла бы, если б не замоченное белье; Ирка всегда была простофилей.

— Чем он тебе плох? — наседала Тоня на нее в тот далекий летний день. — Скажи, чем?

А что можно сказать? Тем, что он не Коля? Да избави Бог, чтобы оказался похож на Колю! Ах, сестра, сестра! Хоть какого ты мне приведи — разве ж я смогу, после Коли... с другим?

Но та, вся во власти своего замысла, никак не хотела смириться с его крушением и продолжала урезонивать, пока Ира не огорошила ее одной фразой:

— Я даже лица его не помню.

И опять склонилась над ванной.

Тоня раскрыла было рот... и ничего не сказала. Не могла вспомнить лицо мельника, как ни пыталась.

...Она поняла сестру много позже, когда не стало Феди, и одна из знакомых сообщила, из самых лучших побуждений, об очень достойном холостяке; была прервана на полуслове и чуть было не вычеркнута из списка знакомых.

— А теперь мою внучку сватаешь? — насмешливо переспросила Ирина. — Ты бы лучше вязаньем занялась или этой... макрамой, что ли. У Лельки геологов девать некуда, телефон обрывают; не засидится.

Положим, вязала Тоня не хуже сестры, а играть в такие бирюльки, как макраме, считала ниже своего достоинства, да и забот хватает, чего нельзя сказать о времени. Она не без сожаления оставила идею выдать крестницу замуж, как в свое время рассталась с мечтой устроить судьбу сестры. Как в памяти не сохранилось лицо, так же растворились и пропали брови, усы и солидный костюм основательного мужчины. Дольше всего задержалась крахмальная салфетка, которую он часто прикладывал ко рту, да и то потому, что салфетка была ее собственная.

Чужого ребенка Ирина нянчила не больше года. Силы уже были не те, а тут еще гипертония догнала, да так, что Лелька боялась уйти на работу: сама делала уколы, бегала в аптеку и на базар. Все самое свежее, не из магазина, съешь еще ложечку, а работать я тебе больше не дам, хватит.

И правда — хватит.

Радовалась: теперь-то отдохну, а уж сколько книг нечитанных! Читала много, как в молодости, но недолго: буквы стали прятаться и расплываться, будто очки не очки, а мутное стекло, вроде как у Тони в аквариуме. Пошла к главному, чтобы очки посильнее выписал, а тот головой качает: не помогут вам очки, бабушка. Катаракта у вас. И капель нет, и операцию делать рано: катаракта созреть должна.

Пока несла домой новое слово, оно несколько раз забывалось. Каракатица или раскоряка, как там доктор ее назвал, и бабушка представляла, как в глазу растет корявая корка и не дает читать. Все же выписал какие-то капли, но страницы книг неумолимо затягивало туманом. Знала, что глаз, а не страницы, но туман густел и скрывал все, что не успела прочесть.

Сестра никогда не жаловалась на здоровье, хотя работа была нелегкой, да и жизнь не баловала с тех пор, как не стало мужа. «Нас только трое осталось», — повторяла она и за праздничным столом всегда садилась между Мотей и Ириной. Спыхватываясь, поправляла сама себя: «И Симочка еще...», а в следующий раз снова называла былинное число: трое, тем более что младший брат исчез с горизонта и только изредка звонил по телефону.

Праздничные застолья все чаще устраивали у Левочки, хоть стол был меньше Тониного, а потолки ниже; зато никакой напряженности. Потолки, конечно, не последнее дело, потому как ни одно семейное торжество не обходилось без пенья.

Бабушка пела так же радостно и охотно, как много лет назад, в Ростове, когда мечтала стать настоящей певицей, которой так и не стала... но пенье не прервалось. Спасибо учителю в пансионе, который успел немного научить ее управлять голосом, сдерживать его силу и вести, бережно вести мелодию.

Бабушка пела.

Она знала, у кого какие песни любимые, и знала, что Мотя первый попросит спеть, потом сестра.

Иногда кто-то из гостей пытался подтянуть, включиться в песню. Тоня гневно поворачивалась всем корпусом и сдвигала брови: «Куш!..» — а в перерыве цедила вполголоса, но так, чтобы услышал нарушитель традиции: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Даже Лева, самый одаренный от природы и слухом, и голосом, никогда не вторгался в пенье матери.

В годы войны Ирина не пела: это было черное время.

Война взяла ее жизнь и отложила в сторону, как откладывают раскрытую книгу, корешком вверх, когда кто-то постучит в дверь.

Как странно, думала бабушка, что голос не умер за эти годы, хотя тогда она совсем не думала о своей певческой немоте, как немой от рождения человек не выбирает между молчанием и речью.

Голос не умер и не стал хуже, только после войны она никогда больше не пела тех песен, которые любил Коля.

Бабушка пела внучке, пела своему Любимчику и только огорчалась, когда вдруг забывала знакомые слова. Но это случалось не часто.

Когда умер Мотя, Тоня впервые сказала: «Нас двое теперь», хотя напротив сидел младший брат. Потом она частенько повторяла эти слова, и на семейных застольях первая просила сестру: «Спой Мотяшкину!..»

Бабушка пела.

На Лелькиной свадьбе петь не стала: боялась, что сорвется голос от волнения, и стыда не оберешься. Шутка ли, столько народу! Невеста слегка растеряна: как и бабушка, она терпеть не могла свадьбы, и собственная не была исключением.

Что ж, свадьба и свадьба.

Жениха бабушка видела мельком, раза два или три, поэтому ничего не могла толком рассказать сестре. А что рассказывать? Геолог; а может, биолог? — кто их разберет. Какая разница! Парень хороший, разве она за другого пошла бы?

Тоня на свадьбу не пришла. Еще бы — эта запыхаха прибежала «на секундочку», даже от кофе отказалась: меня внизу ждут, тетя Тоня, не могу, а вы лучше на свадьбу ко мне приходите.

Когда?! — Сегодня.

Так прямо и выпалила: сегодня.

Возмущенная крестная тут же, в прихожей, назидательно объяснила, что так не приглашают, и в четверг никто свадьбу не устраивает, а если уж так приспичило, то, надеюсь, ты маму пригласила в первую очередь?

Счастливая невеста ответствовала, что если Таечка — словом «мама» Лелька не пользовалась много лет — появится, то ее, Ольги, там не увидят.

— А вас видеть очень хочу! — Чмокнула в щеку и побежала вниз по лестнице.

Тем не менее, Тоня решила обидеться и вечером пила дома чай одна, мысленно прикидывая зачем-то, в чем она пошла бы, если бы... пошла. Да разве так приглашают, Господи! Спихватилась, что думает не о Тайке, а об Ирине: как она теперь одна будет жить?

В свои семьдесят пять Ирина еще пела, и как сестра в своем воображении выбирала наряд, чтобы не пойти на свадьбу, так, оказавшись дома одна, бабушка спела несколько Лелькиных любимых песен.

И стала жить одна.

Ах, как не хватало книг! Подходила к полке, вынимала том, но раскрытую страницу заволакивал туман.

Взамен молодой зять притащил телевизор: вот вам, Ирина Григорьевна, чтобы не скучали без Олечки.

— Какая ж я тебе Ирина Григорьевна, — засмеялась та, — я тебе бабушка!

Все шло так, как должно идти, как заведено от веку: вот и внучка замужем, дай ей Бог!.. Где-то жила свою, совсем другую, жизнь ее дочь, давно переставшая быть дочерью, но в душе болело и кровоточило место, которое она занимала.

Расторопная, легкая на подъем, бабушка успевала проведать сына, купить на базаре вкуснейшие вафельные трубочки, а потом отвезти гостинец к Лельке и вернуться к программе «Время», чтобы послушать милого диктора Игоря Кириллова. В своем киоске (неприменно своем, так уютней) покупала по привычке вечернюю газету, но читать почти совсем не могла, только заголовки, о чем жаловалась тому же Игорю Кириллову, а тот кивал с понимающей улыбкой и рассказывал все то, о чем она не могла прочитать.

Такой любезный.

Лелька ухитрялась заскочить в обеденный перерыв, и бабушка, как раньше, бережно несла в комнату джезvu с кофе, волнуясь, чтобы не остыл.

Она очень тосковала, когда молодые уезжали в отпуск, хотя внучка присылала письма и открытки. В ответ писать было решительно нечего, но все же садилась и брала непривычно легкую шариковую ручку — так, фитюлька с торчащим клювиком:

«Леля, я получила сегодня письмо от 23-го, и сейчас же отвечаю. Ну что я тебе могу писать? Нет, я не болею. Но места себе не нахожу, так что даже купила валерьянки и пью два раза в день.

Жду тебя домой, ты, наверно, будешь до конца месяца.

Приехала Милочка из командировки, передавала тебе привет.

До приезда твоего осталось 7 дней.

До свидания.

Бабушка».

Конечно, не так надо бы писать... Однако Ирина знала, что, напиши она бодрое, *ненастоящее* письмо, Лелька встревожится, начнет воображать себе Бог весть что — и весь отпуск пойдет коту под хвост. Да еще и по телефону так и не научилась толком говорить, особенно когда звонят из другого города. В трубке трещит, словно котлеты жарят, и вдруг — Лелькин голос: «Как ты там, Ласточка моя?».

Вот тебе и «ласточка», уже почти восемьдесят.

Дождалась и правнучки, а вскоре — второй. Им тоже пела, и голос все еще слушался.

Болезнь было некогда. Очереди за ситцем, за фланелью, хоть и мирное время; бабушка терпеливо выстаивала, а потом садилась за машинку и наизусть, почти вслепую строчила — зингер-зингер-зингер — распашонки, пеленки, чепчики... Потом на базар, потом снова трамвай; вечером домой.

Не может быть, чтобы вещи не обладали памятью. Наверняка эта старенькая достойная машинка, с пузатой заглавной буквой в имени «Singer», помнит себя новехонькой, окутанной запахом машинного масла, когда отец и Коля только что привезли ее из магазина. Помнит другую квартиру, где она тоже стояла в простенке между окнами, а в окна лилось солнце, и на пол ложилась причудливая кружевная тень от цветов на подоконнике. Помнит, как опустела квартира, а потом хозяин перенес ее сюда, к родителям, чтобы она дождалась Иру, а сам не дождался. Не может не помнить, как Ирина строчила на ней пеленки для внучки — тридцать с лишним лет назад! Должна помнить, как ездили по воскресеньям в телеге по хуторам, из одного в другой, втроем: бабушка, внучка и швейная машина; и работы в деревне хватало, и маленькая Лелька

на воздухе целый день, с ломтем деревенского хлеба, о котором в городе забыли. Эта машина была для Ирины, городского человека, все равно что корова-кормилица в деревенской семье; последнее дело остаться без коровы. Машина помнила многое, хотя позолота букв поблекла незначительно: так седеют платиновые блондинки, — и в работе была по-молодому резва, только шить случалось теперь намного реже.

...Бывали дни, когда бабушка знала, что лучше остаться дома и полежать — перемочь хворобу, держа под рукой веселые желтые таблетки, чтобы встать завтра.

Только бы не слечь по-настоящему, молила Царицу Небесную, только бы не слечь!

Случалось, что не было сил встать, а нужно было не только встать, но и выйти из дому. Как тогда, в Тонины именины.

— Не ходи, — уговаривала Лелька, — я сама съезжу.

Да как можно с именинами не поздравить? Поехали вместе.

Лучше бы не приезжали.

Сестра была раздражена, ни о каких именинах не думала и даже не пыталась сделать вид, что рада.

— Нас только двое, — неожиданно для себя сказала Ирина, — твои-то придут вечером, поздравят; а мы вот решили днем...

— Как же! — взорвалась сестра, — придут они, жди!

Ничего объяснить не стала, хотя сама так и кипела, зато пожаловалась вдруг на боль в боку и тут же добавила, что никому дела нет, хоть сегодня подохни. Так и сидела, отвернув лицо к окну и постукивая по скатерти костяшками пальцев. Потом повернулась к Ирине:

— Я тебе приготовила вещи мамины, как она велела. Забери уже, наконец, на кой они у меня лежат?..

Сестра не сразу сообразила, что речь идет о любимых материнских безделушках — кольцах, подвесках, цепочках, которыми покойный Максимыч баловал ее всю жизнь. Весь этот «золотой фонд» осел у Тони, и она несколько раз пыталась «выделить ее долю», и всякий раз Ирина отказывалась. Зря, наверное: золото есть золото, но как раз золота она и не любила, и так сложилось, что оно ее не любило тоже, ни одна золотая вещь не приживалась.

Отказалась и на этот раз. Вопреки обыкновению, Тоня не стала уговаривать, а равнодушно пожала плечами: как знаешь, дело твое.

Тяжелый, мутный осадок остался от встречи. «Как-то не так, — с хрипотцой отозвался старый будильник, — как-то не так».

Бабушка и сама знала, что «не так», но в следующий раз встретились уже на Новый год, у Левы: это стало уже традицией. Сестра была веселая, бодрая, ехидная — словом, Тоня как Тоня. Не было Моти, всегда нетерпеливо переживавшего оживленный гул, чтобы попросить: «Спой, сестра!». Обе сидели рядом, совсем одинаково сложив на скатерти руки замочком, и думали об одном и том же: нас теперь двое.

Внуки прибежали, с морозным румянцем на щеках, поздравить и пошутить: «долгожители наши», «геронты», «держитесь», — и торопливо убегали, снова на мороз, в свои компании.

— Нас только двое, — негромко произнесла Тоня и, спохватившись, подняла голос: — Что ж все замолкли? Ирка,

спой! — Повернулась к Милочке: — Да прикрутите вы свою шарманку! Вот сестра поет, тогда и будем «Голубой огонек» смотреть.

Как странно, мелькнула мысль: на свете остался только один человек, который может меня Ирккой назвать.

Спела Тонину любимую: «Не пробуждай воспоминаний». Пела, и отчего-то хотелось плакать, чего никогда раньше не случилось во время пения.

— Бабуль, а можешь «Арлекино», как Алла Пугачева? — спросил, под общий хохот, недавно вернувшийся из армии Любимчик.

— Могу, а на кой? Пускай Пугачева своего «Арлекино» поет, она молодая. Каждому свое. А мне — «Бублички»!

Песня взвилась, как метель, как вихрь, как юбки цыганки, и сами собой приходили на память слова, а Милочка ритмично поигрывала плечами, изо всех сил пытаясь не подпевать; завивался лихой припев, песня летела к концу:

И в ночь ненастную
Меня, несчаст...

Что-то сдавило горло, как только слезы сдавливают, но слез не было.

Голоса не было тоже.

Все молчали. С трех сторон в квартиру доносились звуки телевизора.

— Вот так, — спокойно заговорила бабушка обычным своим, не «песенным» голосом, — ушел мой голос. — Уверенно подняла маленькую ладонь, отодвигая бодрые протестующие голоса, а сестра тут же пришла на помощь:

— Да включите вы телевизор, наконец, а то что ж я соседский должна слушать в Новый год?!

Все расхохотались: Тоня и есть Тоня.

Больше Ира не пела.

Пусть Пугачева до восьмидесяти пяти попоет.

Бабушкин голос — обычный, не певческий — остался таким же звонким. Она разговаривала с любимой пальмой, выращенной лет десять назад из финиковой косточки. Пальмочка получилась пышная и веселая, с упругими перистыми ветками, похожими на зеленый фонтан. Ира ласково звала ее: «Лохматенька», а та кокетливо топорщила молодые ветви и радовалась свету, влаге и родному голосу. Бабушка разговаривала с птицами — и когда резала хлеб, и когда высыпала крохотные упругие кубики на дорожку парка. Разговаривала с Игорем Кирилловым, а в ожидании его — с дружными дамами на пожелтевшей картинке под стеклом. Читаете? Я бы тоже читала, да глаза не позволяют; вас не то что вижу — вас помню, вот на улице совсем беда: со мной человек здоровается, а я фигуру кое-как вижу, а лицо уже нет... Вчера на улице меня за рукав кто-то взял: «Здравствуйте!». Только по голосу и узнала: соседка из того дома, что напротив милиции. Плачет: «Сын не пишет и не возвращается; уже четыре месяца ни письма, ни открытки. Ему срок службы еще когда кончился. Не едет; а главное, никаких известий...» Какие же известия, бабушка гневно повышала голос, из Афганистана?! Кто не приезжает — значит, нет их больше; матери лучше и не знать.

Проходил день, а вечером она зажигала уютную настольную лампу, но не затем, чтобы читать, да и лампа, хоть по

замыслу настольная, находилась рядом с кроватью, где раньше бабушка как раз и читала, лежа и наслаждаясь покоем. Теперь можно было только читать прожитую жизнь — чем не книжка? А что не написана, так ведь и читать по-настоящему она больше не могла, а другим такое неинтересно. Как внук сказал, пишут про «замечательных», а она... Да ведь если так говорить, разве Коля был «замечательным»?

Замечательный? — Да Коля был чудесный!

В этой ненаписанной книге все было не так, как в настоящей. В книжках пишется все по порядку: детство, отрочество, юность. И все же она листала ненаписанные страницы, иногда промокая полуслепые глаза, которые так хорошо видели Колю с Германом, чугунный фонарь на набережной, нарядных гостей у Тони на свадьбе, Тайку с новым сверкающим велосипедом — и тут же почему-то маленькую Лельку, которая катила ее навстречу на маленьком трехколесном; видела маму, всю в черном, запрокинувшую лицо к небу, в то время как гроб с отцом опускали в могилу; видела плитки тротуара на углу улицы Грешников и яркие пятна одуванчиков; они уменьшались и превращались в блестящие, гладкие таблетки. На столике горела лампа — не хуже, чем у тех, на картине; бабушка на ощупь отыскивала кнопку, и свет гас.

Память коварна и норовит поставить подножку. Хочется открыть ненаписанную книгу в том месте, где Бася еще не уехала в далекую Палестину, и можно вместе посидеть «У Франца», полакомиться пирожными, с которых осыпается нежная сладкая пудра, похожая на елочный снег, но то ли страница нужная не отыскивается, то ли закладка потерялась, а только открывается совсем другая глава. «Надо ехать, родная», — говорит Коля и пытается скрутить толстое

одеяло, а оно выскользывает из рук и падает, а как не хватает им этого одеяла в зимней Михайловке, той Михайловке, которая вся — голод и холод, словно пустая одинокая дорога через степь, а за спиной — волки... Под самым потолком в детской комнате — тусклый свет, за столом сидит женщина в кителе и погонах, а между двумя милиционерами извивается плачущая внучка, и это счастье, если можно пролистать шесть лет — или страниц, — когда она снова появилась на пороге со словами: «Я буду жить с тобой».

Прошелестело восемнадцать страниц — или все же лет? — и дверь открыла взрослая женщина с неровной наметкой седины в черных волосах, совсем взрослая, которую давно называли Ольгой, но все-таки Лелька; она стащила перчатки и сказала: «Ты будешь жить со мной».

Нет, это не из книжки; это даже не успело стать ненаписанным. Внучка обняла ее и произнесла все, что бабушка знала сама. Нельзя в восемьдесят пять лет жить одной в квартире, особенно если телефон в соседней комнате, а слышишь его плохо. С твоим сердцем, с твоим давлением! Без глаз, мысленно добавила бабушка. Она так хорошо знала Лелькино лицо, что сейчас глаза ей не были нужны. Не думаешь о себе, продолжала та, обо мне подумай: сколько раз в день я с ума схожу? При том, что есть отдельная комната! Да не навсегда, Гос-споди, не навсегда: вон зима кончится, вернешься. Ласточка моя...

Уйти? Уйти из этой комнаты? Оставить иконы, бросить цветы замерзать?..

— Вот именно, — подхватила внучка, — здесь они непременно замерзнут. Я позавчера вытопила печку, а сегодня у меня руки стынут. Живешь, как... в блокаду. Цветы возьмем,

не волнуйся. Давай, я помогу собрать тебе вещи на первое время, а потом будем приезжать. Хочешь — возьмем иконы.

— И не думай. Иконы папа мой вешал. Когда помру, отдашь в моленную. Вот эта — «Нечаянная радость» — это твоя, я тебе ее оставляю.

«И стало так» — написали бы в книжке, которую не стоит писать, потому что легко передернуть для эффектности повествования, вот как сейчас, например. Между тем стало не совсем так.

Ни с того ни с сего переселиться на внучкины хлеба Ирине и в голову бы не пришло. Однако зима стояла такая холодная, что по утрам не всегда и умыться можно было: замерзала вода в кране; а не умывшись и молитву творить грех. Другая беда — печка: самой топить было уже не под силу. Значит, нужно дожидаться сына или внуков...

Откуда всплыло слово «бивуак», она не смогла бы сказать, но слово это как-то примирило с собственной нарастающей беспомощностью. «Наша бабушка живет на бивуаке», — смеялась Милочка. Пальмочка примостилась за внучкиным письменным столом и начала расправлять ветви. Напротив, на широкой тахте, тихонько дремала бабушка, наслаждаясь теплом и покоем; просыпаясь, испуганно вздрагивала: в чужом окне темнели сумерки — тоже чужие, не такие, как дома. За спиной тихо открывалась дверь, входила внучка: «Проснулась?».

— Что это за окном, Леля, — мяч катают?

— Это троллейбус, бабуся. Пойдем чай пить.

Ничего, говорила себе бабушка, скоро весна. Потеплеет, и вернусь к себе.

Дом бывает только дома.

О том, что Тоню внезапно отправили в больницу, бабушке не сказали. О диагнозе тоже решили не говорить. Тоня и сама не знала, чем больна, а если догадывалась, то делала вид, что не знает, всей душой надеясь на ошибку врачей. Заговор молчания устроили Ольга с Милочкой: бабушка недомогала и даже не стремилась домой, а желтые таблетки держала постоянно при себе, в кармане передника, чтобы не устраивать суматохи в случае чего. Непременная принадлежность ее жизни, торба, находилась неотлучно рядом с постелью. В торбе лежал «Старообрядческий церковный календарь», где Лелька вычитала, что Сретение уже на будущей неделе, и потому болеть было никак невозможно.

Услышаны ли были ее молитвы, или капризному давлению надоело испытывать изношенные сосуды, но к утренней службе бабушка поднялась почти бодрая, а проделав трамвайный путь с пересадкой, взбодрилась еще больше.

Спасибо, Царица Небесная, думала не совсем каноническими словами, спасибо, что держишь еще меня на свете. Может, и зажила я; только очень жить люблю. Дай немножко сил...

Когда служба кончилась, поднялась на антресоли: Тоня, по давней традиции, всегда стояла наверху.

Сегодня ее не было.

Люди крестились и застегивали воротники перед выходом на улицу. Сразу забросали вопросами: что говорят доктора? Как Антонина Григорьевна себя чувствует? Что, уже выписали из больницы? Туда только попади...

Даже забыла, что хотела домой заглянуть, — сразу поехала к внучке. Знает?

— Мне в моленной говорили, Тоня в больнице. Ты была у ней?

Ольга давно была готова к вопросу и ответ, вместе с выражением лица, репетировала перед зеркалом, поэтому надеялась, что он прозвучал беззаботно, как и было задумано:

— Была; ничего страшного. Гастрит, вроде. Да ты знаешь Тоню.

— Что ж ты не сказала? Я бы с тобой поехала.

Это тоже ожидалось:

— Ласточка моя, ну куда я потащу тебя в больницу? Сейчас грипп везде, все чихают; любую заразу подхватить можно. Зима кончается, а ты вдруг сляжешь?

— Кончилась зима. Раз прошло Сретение, морозов больше не будет. — Бабушка незаметно проглотила таблетку. — А в какую больницу свезли?

— В Республиканскую.

Вот оно что. Значит, Лелька ей голову морочит: ни с каким гастритом туда не положат. Да и Тоню она знала как никто, потому и была уверена, что не стала бы сестра задерживаться на казенной кровати ни одного лишнего дня. Жизнь коротка, а дел много.

Гастрит!..

Папаше, Царствие ему Небесное, тоже говорили: гастрит, потом — язва, а оказалось... И сама себя одернула: не каркай.

Нас только двое, явственно прозвучал Тонькин голос.

Как же: а Симочка? — и сейчас же отодвинула на потом и мысль о брате, и упрек самой себе, зато о сестре молилась долго и сосредоточенно. Иконы остались дома, и вначале было непривычно, но только вначале.

Образ не на стенке — в душе.

Жила ведь без моленной, икон и святых праздников всю войну, жила и творила молитву, повернувшись к окну, за которым всходило солнце.

Бог живет не в храме.

Несколько раз звонила сестре, но неудачно. Когда наконец дозвонилась, трубку взяла Тонина невестка и была приветлива как никогда: «Жорик повез маму в больницу на процедуру, вернутся часа через два».

Маму?!

Положим, Юраша повез не кого иного, как мать; однако что же это за процедура такая, если Зойка назвала свекровь мамой?

Тонечка, Тонечка, сестричка моя, твердила по дороге непривычные слова, но — странное дело! — только эти слова успокаивали. Медленно-медленно поднялась на второй этаж, прислоняясь иногда к перилам, чтобы отдышаться.

Нажала звонок.

Появилась вовремя. Бледная Тоня с кряхтением укладывалась на кушетку: «Поправь плед сбоку, а то дует».

При ярком солнце стало заметно, что сестра изменила прическу. Всегда негустые, но заботливо уложенные волосы отросли и стали пышнее, отчего лицо казалось меньше, зато сильнее выдавался вперед нос. Сходство с покойным отцом бросалось в глаза сильнее обычного, но теперь это сходство пугало. Догадка возникла сама по себе и тут же перестала быть догадкой, превратившись в уверенность, от которой во рту стало сухо, точно бумаги наелась.

Волосы ни при чем. Тонька сохнет, вот что. Потому и холодно ей.

— Что в больнице сказали? — спросила осторожно, но сестра поняла, потому что возмущенно заговорила «об этих врачах, ничего толком не умеют, разве что воду откачать; конечно, был бы Федя жив, и отношение было бы другое, ну, да ты сама знаешь».

И не выдержала, похвасталась: Таточка с мальчишками приезжала, Юраша — чуть ли не каждый день; что только не привозили! — да она там все ребятам и скармливала, диета есть диета. Навестили из месткома; шутка ли, шестнадцать лет отработала. Рассказала, что Милочка и Лелька не забывали, а «твоя курица, крестница моя любимая», — и голос задрожал. Тоня плотно сжала губы и молча разглаживала складки пледа.

— Хоть бы раз, подумай! — Опять сжала губы, потом продолжала: — А чуть что: «Танта, помогите!» да «Танта, до шестнадцатого числа, потом рассчитаюсь»... Вот и рассчиталась, — и безнадежно махнула исхудавшей рукой.

Помолчали. Ни нарядный тюль занавесок, ни малокровная пальма не могли сдержать яркое солнце.

— Понять не могу, — удивилась Ира, отряхивая с пальцев влажную землю, — отчего она у тебя так плохо растет? И кошки давно нет...

Кошки, балованной и капризной Мурки, действительно давно не было в живых. Когда еще была, считалось — и не без основания — что именно ее регулярными стараниями никакая флора в доме не выживает. Исключение составлял один только столетник, чьи толстые зеленые рога, щедро усеянные колючками, заставляли бесстыжую Мурку держаться подальше.

Позвонили в дверь. Звук этот всегда напоминал Ирине театральный звонок: низкий, приглушенный, словно обернутый в мягкую замшу. Было слышно, как невестка в прихожей

громко кому-то говорит, что «маму привезли из больницы», «у мамы гости», а остальное приглушил хлопок кухонной двери. У Ирины снова пересох рот, и она повернулась к сестре:

— Пасха в этом году поздняя. Вербное воскресенье только двадцать седьмого!

Та оживилась: «Как раз к твоим именинам!», и начали вспоминать, когда еще так поздно праздновали. Безо всякого перехода Тоня вдруг спросила:

— А ты помнишь, сестра, как Мурка?.. — не смогла произнести ни «издохла», ни «умерла», но Ира поняла и кивнула.

...В то январское утро, когда Федя упал лицом вперед, как падают, чтобы никогда больше не встать — и не встал, — в то утро Мурка беспокойно кружила по спальне и, вопреки обыкновению, протяжно мяукала, да кто обращал на нее внимание! Она вспрыгнула на подоконник, словно через махровый иней можно было увидеть «скорую», увозящую хозяина, а если и можно было?.. Известно, что к еде — Феденька по утрам всегда ставил ей блюдце со сметаной — не притронулась и воду не пила. Как вскочила на кровать, так и стояла над его подушкой, недоуменно и жалобно... не мяукая, нет: постанывая.

Тоня с детьми вернулись уже затемно. Естественно, было не до Мурки. В доме началась, как всегда в подобных случаях, суета, которая одна только может заполнить образовавшуюся пустоту, ибо если этого не сделать, то надо всем вот так же, как Федор Федорович: ничком.

А потом, после похорон, когда Тоня вошла в пустую — ох, какую пустую! — спальню, единственным лекарством оказалось самое бессмысленное действие: разложить все по местам. Галстук — к галстукам, на дверцу шкафа; подушка

съехала — взбить и положить, как всегда лежала; из-под кровати выглядывает рукав вязаного пуловера: как уронил, так и лежит. Нагнулась поднять — и отпрянула с криком.

Кошка, уже окоченевшая.

Потом, позже, нарыдавшись и оглушив себя валерьянкой, вспомнила и нетронутую сметану, и чистый песок в ящике. Вспомнила и поняла со стыдом, что единственный человек, который бы этим обеспокоился, никогда уже этого не сделает.

И сейчас, ни к селу ни к городу, вспомнила Мурку. Провела по щеке ладонью совсем Фединым жестом и сказала укоризненно:

— Ира, забери мамино... ты знаешь. Не тебе, так Лелиньке.

— На кой мне золото, сестра? Не люблю я его. И Лельке не надо. Молодые; сами наживут.

Договорились встретиться в моленной на Вербное воскресенье.

— Что ж Левка со своими никогда не придет постоять? Такая служба... — в который раз спросила Тоня, хотя ответ знала, и сестра ответила, не сомневаясь, что знает:

— Раз Милочка не ходит, так и он перестал. А мальчишки некрещеные...

Сестра не унималась:

— Ты Любимчика с рук не спускала! Нет чтобы в молену снести для святого крещения; бабка называется... Мои все крещеные!

На этот раз Ирина промолчала: сказано — и сказано. Очень больно саднило в душе то место.

...Когда малыш перестал задыхаться, и только исколотая попка, похожая на помятый абрикос, напоминала о пере-

несенной пневмонии, бабушка решилась. Дождалась, пока невестка снимет пальто, и безо всяких околичностей, прямо, как и всё, что говорила, предложила мальчика крестить. Милочка растерянно забормотала: вы так много сделали, бабушка, если б не вы...

— Не я, — поправила Ирина, — Господа благодарите: Он спас.

Невестка вспыхнула и ответила с неожиданной резкостью:

— Как знаете. Я человек неверующий, Лева тоже; никуда ребенка не понесем. Если хотите, крестите сами, только так, чтобы я ничего не знала.

Бабушка покачала головой:

— Я не ворую души.

Любимчик, как и его старший брат, остался некрещеным. Можно было, конечно, напомнить, что сами крещеные; что ж детей-то... Да мало ли что можно было сказать!

Зачем?

Разумеется, Тоне эта история была известна. Она тогда рвалась в бой: да разве так надо было! Вот я давай скажу...

Дай покой, ответила сестра; разве можно младенца тайком или силком в купель окунать?..

— Я и тесто пасхальное ставить не буду, — слукавила Ирина, глядя прямо в глубоко запавшие глаза сестры, — силы нету.

— «Силы нету...», — передразнила та, — Лельке скажешь, она сделает. — Помолчала, передохнула и добавила тише: — А мне Таточка обещала испечь, я сама-то... — И развела руками.

После таких слов — и такого голоса — встать и уйти нельзя.

— Изюм есть, сдоба есть, — вспоминая, Ирина медленно загибала пальцы, — кардамон... кардамон остался с прошлого года, я его только в пасхи и кладу; а чего-то нет, только вспомнить не могу...

— Ну! — строго оживилась Тоня. — Поздновато спохватываешься. Пасха на носу, а ты еще не знаешь, из чего печь!

И снова потек странный разговор о приятном и привычном, что не имело ни малейшего отношения к мыслям; беседа, подобная вязанию, где все решает память пальцев и нет необходимости задумываться о следующей петле, потому что пальцы сами сделали все, что нужно, узор не нарушен, и можно изящным мушкетерским движением выдернуть блестящую спицу, чтобы начать следующий ряд:

— Боюсь, дрожжей не достанем. Самое главное, чтобы дрожжи были свежие.

— Я в нашей бакалее беру. Мне кассирша знакомая оставляет, — внушительно сказала Тоня, — могу тебе взять. Сама знаешь, в последние дни такая суматоха начнется, что все будут бегать, как кошки на пожаре. Ни за какие деньги дрожжей не сыщешь.

Сестра согласилась: по знакомству так по знакомству, решив про себя, что надо самим достать обязательно. Иными словами, вязание продолжалось.

— Яйца достала? — всполошилась Тоня.

— А как же! — Ира даже не старалась скрыть гордости, — яйца Леля вчера принесла. — И тут же поникла: — Вот миндаля нет. На базаре ходила-ходила — не нашла.

На что сестра рассмеялась от души, откинув голову в непривычно пышных волосах:

— На кой тебе, старому черту, миндаль? У тебя ж ни одного зуба не осталось!..

Теперь смеялись обе, хотя что смешного? Не то что ни одного, но тех, что были в наличии, как ни крути, маловато, и дело даже не в миндале...

История короткая и невеселая. Зубы начали болеть внезапно, свирепо и почти все сразу, изводя не только многократно описанными муками, но и жестокой бессонницей. Выдержать пломбирование такого размаха — даже бывалый Феденька покачал головой — Ира не могла: залеченные зубы тоже продолжали болеть, боль захлестывала всю голову. Федор Федорович предложил протезирование: «Ира, милая, через неделю ты забудешь, что такое зубная боль...»

Уговорил.

И лекарство раздобыл такое диковинное, что рвал зуб за зубом, а ей совсем не больно было, а только почему-то смешно. Зато через неделю — правду сказал! — Ира действительно забыла о своих зубах, потому что через неделю не стало Феденьки.

Такие дела навалились, которые одинаково трудны и зубастым, и беззубым: Тоню страшно было оставлять. Пятьдесят один год, за окном зима, «Ирка, жизнь кончена», и возразить нечего; плачет, как ребенок.

И за кровать не забросишь.

Решение пришло не сразу. Уговаривать тоже пришлось долго — на то она и старшая сестра.

Зубы так и не вставила. Во-первых, не могла заставить себя пойти в «Федину» клинику, а во-вторых, не было особой надобности: орехи не щелкала, хоть челюсти со време-

нем стали очень твердыми, а хлеб или суп можно есть и без зубов.

Удивительно другое: полностью сохранилась дикция. Ни тогда, ни много лет спустя никто не мог поверить, что из отсчитанных природой тридцати двух у бабушки осталось только четыре зуба.

Осторожно приоткрыв дверь столовой, Юраша увидел мать и тетку, заразительно хохочущих во весь голос.

К пасхальному тесту бабушка относилась благоговейно. Так было при жизни родителей, так естественным образом продолжалось. Не стал исключением и этот год. Все добыто и тщательно, со строгим лицом, проверено сквозь бесполезные очки. Свежайшие дрожжи, темно-рыжие волокна шафрана, мускатный орех, изюм и миндаль, так развеселивший сестру, — все отменное; распакован тяжелый брусок сливочного масла, мука дважды просеяна. Бабушка повязывает чистый передник и, перекрестившись, приступает к священнодействию.

Подготовка к Великому Празднику, которая сама по себе есть праздник.

По мере того, как замешивалось тесто, по кухне поплыли праздничные ароматы заморских пряностей, отчего привычные запахи супа, жареной картошки и даже строгий хлорный дух жидкости с мойдодырным названием «Посудомой» застеснялись своей заурядности и, потолпившись нерешительно в дверях, ускользнули без оглядки.

Замешенное тесто накрывается крахмальным полотенцем. Теперь, когда зачин былинного действия позади, можно немножко передохнуть.

Следующий этап — вымешивание. Оно требует недюжинной мышечной силы, поэтому вымешивают по очереди шесть рук: бабушка, внучка и зять. После того, как тяжелый ароматный ком перестает прилипать к ладоням, ему дают подняться, и... снова вымешивают.

Только когда тесто поднимется вторично, можно печь куличи, издавна называемые, по ростовской традиции, пасхами.

И оно всходит мощной желтой глыбой, лоснится громоздкой сдобной плотью, как тело борца сумо, готового к бою.

Красивое тесто, любитесь бабушка, но свою мысль не озвучивает, боясь сплзнуть. Ловко укладывает колобки в формы, украшает узорами из теста и буквами «ХВ», смазывает яйцом и ставит в духовку, уже накаленную, а дальше — как Бог даст.

На часы не смотрела, однако часто подходила к плите и мысленно заклинала духовку, чтобы взошли *пасочки*, ведь такое красивое тесто! Каким оно получилось на вкус, бабушка могла только догадываться, ибо Великий Пост всегда соблюдала строго. Зато пробовали все остальные, и по одним только их лицам становилось ясно: отменное тесто.

Когда густой, одуряюще пряный аромат пропитал нагретую кухню, бабушка коротко и решительно, как полководец, сказала: пора! — и те же три пары рук вынули из духовки куличи.

Только это были не куличи.

Тесто, так прекрасно взошедшее, опало. На столе выстроилась шеренга нарядных кексов, ни один из которых не имел ничего общего ни с куличом, ни с праздником.

Бабушка и внучка молча смотрели на дело своих рук. Лелька испытывала разочарование, постигшее незадачливых невесток Царевны Лягушки, и старалась понять причи-

ну неудачи. Для бабушки причина не имела значения; важен только результат, и результат был зловещим.

Сестра?!

В Вербное воскресенье она Тоню в моленной не встретила, да и не удивительно: народу было, почти как на Пасху. Позвонить? Отчего-то не хотелось; руки не тянулись. Да еще жара эта... По старому стилю — только середина апреля, а печет, как в июне.

Тут же представила завтрашний день: праздничную службу в храме, розговены на кладбище, ярко-желтую Тонину пасху в неизменной крахмальной салфетке, разноцветные яйца. И могилы, могилы, могилы: родители, Федя, брат, Даша...

Нас только двое.

Перед Всенощной прилегла отдохнуть. «Отдай! — донеслось из детской, — отдай сейчас же, а то я маме скажу!» И Лелькин голос: «Не вопите, я говорю по телефону».

Усталость, сговорившись с желтой таблеткой, позволили задремать и даже увидеть сон, но странный и тягостный, будто не сон вовсе, а один повторяющийся кадр из какого-то фильма: женщина с узелком в руке поднимается по узкой песчаной тропке. Видна только спина в пальто, а на голове — совсем неуместная шляпка, лихо сдвинутая набок. Тусклый свет: то ли сумерки, то ли собирается дождь, поэтому не понять, кто это, но и спина, и походка выдают пожилую возраст. Вокруг зеленые холмы, и хотя ни людей, ни домов не видно, Ирине вдруг показалась очень знакомой тропка, по которой...

— Я тебя не разбудила? — тихо спросила внучка. — Не могу найти свои ключи, а мне уходить...

— Который час? — всполошилась бабушка, моментально забыв скучный сон.

— Полтретьего. Я к Тоне собираюсь; поедешь со мной?

— Мы с ней вечером в моленной...

Но Лелька замотала головой:

— Не придет она в моленную. И завтра тоже. — Села на тахту, вытянув ноги в джинсах, и закончила: — Хочу... — она помедлила, — повидаться, — и посмотрела на часики, не на бабушку, чтобы та не заметила подсунутого слова, точно ее глаза были зрячими — или нужны были глаза.

Да бабушка и не смотрела, торопливо нашаривая ногами тапки.

Третьего мая, в Великую субботу, она вошла в залитую солнцем столовую, где три недели назад они с сестрой так весело хохотали.

У кушетки, где лежала Тоня, стояла, наклонившись, Тачка в летнем платье и брызгала зачем-то из пульверизатора на подушки, простыни и легкое покрывало.

— Лосьон такой, — пояснила и обняла тетку, — ой, да вы вдвоем, вот у мамуськи праздник сегодня!

Проходя мимо Ольги, шепнула: «Недолго, ладно?»

Ирина наклонилась поцеловать сестру, но Тоня резко отвернулась:

— Не целуй; рядом сядь. Вот так.

Сестра опустилась на тот же стул, где сидела в последний раз, и от этого показалось, что была здесь только пару дней назад; а как Тонька переменялась!.. Отросшие волосы больше не казались пышными, слипшиеся пряди были зачесаны назад, и лицо резко выделялось высоким костистым лбом, а челюсть стала крупнее, и зубы выпирали насильственной улыбкой. Под легким пикейным покрывалом неподвижно

застыло что-то большое и пухлое, а руки, желтые и худые руки, лежали сверху.

— Дохожу, — ответила на незаданный вопрос, — Бог даст, дотяну до Воскресения Христова. Всенощная сегодня... — чуть повела головой по подушке, — постой за меня, сестра. Нас ведь только двое... пока еще.

Кивнула на буфет, где стоял горшок с гиацинтами:

— Невестка твоя была. Терпеть не могу цветы в горшках! Я, конечно, ничего не сказала, поблагодарила — и все. А срезать жалко. Пусть стоят... — Тут же, другим голосом: — Таточка, духовка!

И снова перевела взгляд на сестру:

— Забегалась она совсем. Спозаранку с тестом да вокруг меня танцует, а я только гоняю ее: боюсь, сгорят.

Ирина вовремя удержалась, чтобы не сказать о севших пасхах: Тоне знать ни к чему. Подошла к буфету рассмотреть цветы поближе.

— Хороши! А пахнут-то как! Я знаешь кого вспомнила? Покойного Германа жену: у нее перманент всегда такой был, точь-в-точь гиацинты; помнишь?

— Разумеется, помню, — недовольным голосом отозвалась Тоня. — Я спросила как-то, у кого она завивается. Ни у кого, говорит; у меня сами выются.

— Может, и сами, — пожалала плечами сестра, думая совсем о другом, — как знать.

— Ты, Ирка, простофиля, каких поискать! — Тоня с досадой пошевелилась, и дочь сейчас же подбежала с пульверизатором, но та раздраженно остановила ее руку: — Да убери ты эту клизму, ей-богу; дай поговорить. — И продолжала: — Перманент как пить дать. Кстати, я недавно

ее встретила. Никогда бы не узнала, да она сама ко мне подошла.

— У тебя глаза хорошие — чего ж не узнала?

— А то, что она прическу поменяла! Волосы, знаешь, теперь назад зачесаны, она отрастила их, а сзади — вроде как у тебя, шпильками заколоты, только потолще, как хороший голубец. Ты, говорю, Лариса, богатая будешь: не узнала я тебя.

— А она что?

— Заплакала. Мне, говорит, Тонечка, никакого богатства не надо, лишь бы Карлушка поближе был. Он женился на немке и уехал в Германию, в демократическую. Лариса в гости ездила, хоть так внуков повидать; а их пригласить — куда? У нее одна...

— Мамусенька, лекарство, — Тата держала стакан.

Тоня обхватила обеими руками дочкину шею и осторожно села на постели. Пока она с усилием глотала, Ольга заметила крупные желтые ключицы над кружевом рубашки и не успела вовремя отвести взгляд. «Глотать больно», — пожаловалась крестная. Сделала еще глоток и отвела стакан:

— Довольно. Сестра, чаю будешь перед моленной?

Ира покачала головой.

— А ты, коза? — Тоня повернула голову к крестнице. — Тоже не будешь? А то Таточка сделает... Как твоя голова, болит?

— Ничего страшного, тетя Тоня. Я аналгин пью.

Ольга посмотрела на часы:

— Нам вообще-то пора, я бабуся в моленную провожу.

— Сколько можно аналгин пить, — нахмурилась крестная, — надо хорошему врачу показаться, а то — аналгин... Или знаешь что? Гомеопатия очень хорошо помогает!

Какие-то капли есть, только я сейчас название не помню... Таточка, посмотри духовку, сколько раз говорить, Господи!

Когда дочь выскользнула за дверь, Тоня сказала:

— Давай прощаться, сестра. Сначала с тобой, потом с Лелинкой.

Ольга, с опущенными глазами, мысленно подбирала слова разуверений, а бабушка, несмотря на Тонины протесты, склонилась над кушеткой:

— Прости, Тоня, — и крепко поцеловала в губы и запавшие щеки, — прости.

— Сестра, — Тоня тревожно понизила голос, — не дай ей... зубы мои не дай вырвать. Мне золота не жалко — жалко Фединой работы! Да и как я, — она улыбнулась, — как я на глаза ему покажусь беззубая? Не дай, Ирка!..

Ольга поцеловала крестную, которая упрямо отворачивалась («Я совсем плохая, Лелинка»), а Тата уже вносила первые пасхи.

— Ах, какие красивые, — обрадовалась Тоня, — посмотри, сестра! Небось, у тебя такие не получились?

На кухне Ольга с Татой вытащили из духовки последние куличи. От плиты несло жаром. Занавеска на распахнутом окне едва колыхалась, и то не от прохлады, а от волны уличного тепла. Обмахивая разгоряченное лицо кухонным полотенцем, Таточка сказала, что у матери рак печени, и все исчисляется скорее часами, чем днями: «Как у тети Нади был, помнишь?»

— Хорошо, что они попрощаться успели, — кивнула Ольга, и Тата согласилась.

О том, насколько непонятно и нелепо вклинился в это прощание спор о Ларисиных кудрях, обе промолчали.

Где и кем изложен кодекс прощания навсегда?

На Таточкиных словах: «Понимаешь, у нее весь пищевод уже...» дверь столовой открылась. Обе надеялись, что Ирина не услышала.

Моленная была переполнена, как всегда в последние годы. Как странно, подумала бабушка; сколько молодых! Здороваясь и отвечая на приветствия, прошла и заняла свое место у иконы «Трех Святителей». Так уж издавна повелось: она всегда становилась у этой неразлучной троицы, и не последней причиной было то, что средний, Григорий Богослов, двумя тонкими перстами, сложенными для крестного знамения, указывал на лесенку, которую много лет назад сработал его тезка, Григорий Иванов, чтобы можно было зажигать свечи перед высокими образами.

Несмотря на то, что сестра всегда молилась на верхнем ярусе и они встречались только после службы, Ирина ощущала ее отсутствие. Нас ведь только двое; вот и стою — за двоих.

Симочка? Безотчетно взглянула на проход, рядом с которым он становился, но если брат и пришел, то различить его в пестрой толпе было невозможно. Что-то подсказывало: можно и не искать.

Нас только двое.

Первая Пасха без Тони.

Первая? — Нет; война стерла, как резинкой, все праздники, великие и малые, возместив потерю святым днем девятого мая сорок пятого года — Днем Победы, навсегда смешавшим ликование со скорбью...

Служба в Великую Субботу заканчивается крестным ходом, вернее, не заканчивается, а переводит дыхание. Смолкает — тоже переводит дыхание — хор. А спустя несколько

часов, в Светлое Воскресенье, моленная засияет несметным множеством свечей, и каждая свечка, даже самая тонкая, блеснет, загораясь, узким лучиком, как майское солнце, ибо завтрашний день непременно будет солнечным.

Ушла до начала крестного хода: так много праздных, шумных людей, что того и гляди задавят в толпе.

Дома ждала необитаемая, хорошо настоящая тишина. Темные образа ожили, как только бабушка зажгла лампадки, и теперь благодарно кивали нимбами в такт колеблющимся огонькам. «То-то, — застрекотал проснувшийся будильник, — то-то, то-то», и бабушка погладила потускневший никелированный бок. При включенном свете стали хорошо видны чисто вымытые и оттого очень темные окна, свежие занавески и начищенные оклады икон, отражающиеся в стеклах. На обоих фикусах появились новые ростки, светлые, как молодой салат, на фоне крупных лаковых листьев. Ирина осторожно лила воду в пересохшую землю и не могла не удивляться странному совпадению: сегодня, в последний день Великого поста, у нее тоже ничего, кроме воды, во рту не было.

Если б не испорченные куличи, можно было бы наслаждаться отдыхом и тем непередаваемым чувством покоя, что зовется словом «дом». Лелька, дай Бог ей здоровья, сделала большую пасхальную уборку, которую раньше делали вдвоем... давно. А тесто! — сама она теперь бы не справилась. Воспоминание о тесте вернуло к загубленным куличам, но сердце отозвалось не огорчением, а глубокой печалью: знала, что дело не в тесте и не в духовке, а просто не могли, не должны были они сегодня испечься.

Теперь, после визита к сестре, печаль сменилась горьким знанием. Такое уже было, в год смерти отца. Матрена была в смятении, а значит, сердилась на всех, и в особенности почему-то на миску, в которой так великолепно поднялось изнывающее ароматами пасхальное тесто. Сейчас Ирина уже забыла, был ли отец дома во время бури на кухне или пребывал в больничных скитаниях, но очень хорошо помнила, как раздосадованная мать разглядывала такие же нарядные кексы, как те, что остались сегодня на столе у внучки. «Не-е-ет, господа хорошие, — яростно подытожила Матрена, — это не пасхи, это... миндальные бабы, вот что это такое!»

Баба, кекс или пряник — называй как хочешь; не получились у меня пасочки.

После такого тяжелого дня, кажется, уснешь, не дойдя до кровати, но так только мнится. Печаль сильнее усталости. Тонечка, сестричка моя! Гордая, упрямая, великодушная и мелочная, вспылчивая и мудрая; ехидная, справедливая — Тоня, младшая сестра. Шутка сказать: десять лет разницы. У меня уже кавалеры были, а Тонька в школу пошла, когда из Ростова приехали. Ее мама иначе стригла, не так, как меня: Тоня с челкой ходила, волосы до плеч. Сапожки папа заказывал, на пуговичках. Смешная Тонька была: все делала точь-в-точь как мать, даже говорила похоже.

В сегодняшней Тоне, в мучительном ее золотом оскале и огромном животе, таящем боль и смерть, в торчащих желтых ключицах никто бы не узнал той независимой восьмилетней девочки.

Никто, кроме сестры.

Тонечка, сестричка моя...

Тишина, как ни удивительно, тоже мешала заснуть. Вот уже два года, как похоронили Надю, и с нею, казалось, умерла жадная страсть к квартире. Где-то в новом районе жил толстый, давно остепенившийся Генька, с женой и детьми. Статная зрелая красавица, которую Ирина называла теперь не иначе, как «Люда», поселилась в новенькой квартире, которой мать доби- лась с таким трудом и не успела ей нарадоваться.

Теперь в проходной комнате, некогда вмещавшей пяте- рых, остался жить один Людкин сын, которого бабка, покой- ная Надежда, самозабвенно любила, но звала с подчеркну- тым небрежением «малой». Сейчас Малому было уже под тридцать, но домашнее имя шутя перебарывало возраст, и он не только не обижался, когда «баба Ира» его так называла, а приветливо расплывался веснушчатой физиономией. Подо- шла его очередь спать на диване, и бабушка, как прежде, про- сыпалась по утрам от стука валика, упавшего на пол. Правда, Малой появлялся набегам, как кочевник; спал несколько ночей подряд — и тогда, лягаясь в утреннем сне, сбрасывал многострадальный валик; потом куда-то вновь пропадал на неделю. Вбегал всегда неожиданно, торопливо что-то гото- вил и ел, потом опять исчезал, оставив на сковородке мака- роны, которые к следующему его появлению скукоживались, засыхали и костенели, точно стремились вернуться в свое первозданное состояние. Время от времени приезжала Люд- ка и терпеливо убирала остатки сыновнего пиршества, пе- ребрасываясь с Ириной пустяковыми фразами. Скорей бы Малой себе жену привел, думала бабушка, хоть будет кому посуду помыть. Знала, что с появлением у внучатого пле- мянника жены — а следовательно, семьи — снова начнется борьба за квартиру. Знала, но нисколько не опасалась этой

грядущей волны, ибо, во-первых, ей нипочем не сравниться с цунами, которые устраивала Надя, а во-вторых, она, Ирина Григорьевна, до новой борьбы не доживет. Думала об этом без сожаления: ее собственная жизнь состоялась, сын и внуки, слава Богу, живут хорошо, — вот и ей место нашлось, пересидела морозы, — а чего еще желать? Пусть молодые живут; а Малому пора свою семью заводить.

...Так привычно думала о своей смерти и не могла представить, что сестра уйдет раньше, уже уходит, сегодня простились, Господи! А нас только двое.

На исходе Светлой недели, 9-го мая, эти слова утратили смысл.

9-е мая давно стал днем радости — сквозь слезы. Теперь для радости места не осталось — и уже навсегда. Какое странное слово: навсегда! — На все года. Горячий и горький день на кладбище: сестра, Тонька, уходила навсегда. Слово стучало в висках, как поезд стучит колесами, проскакивая стыки рельсов: на-все-года, на-все-года, на-все-года, все быстрее и быстрее: навсегда, навсегда, навсегда...

Рядом стояла внучка и крепко держала ее под локоть. Над Фединой потревоженной могилой шелестела береза, а за кустами изгороди шла вниз песчаная тропка, по которой сестра так часто приходила на семейное кладбище, сокращая путь.

Сегодня путь завершен.

Ирина оглянулась: где же брат? Младший — единственный теперь брат — стоял у самой могилы и недоверчиво смотрел на гроб, точно не мог поверить, что сестра уходит на все года, а сколько этих лет осталось? Ира отвела взгляд.

На гроб смотреть было трудно: двоилось в глазах, а затылок налился знакомой болью. Леля стояла в солнечном пятне, и она смогла различить припухшие веки и глубокие темные круги под глазами.

Как странно, думала бабушка сквозь накатывающую дурноту, почти все ушли, а они были младше меня. Только Сенька, хоть и с палкой, а на ногах; слава Богу. Проводил сестру; был маленький, я с ним нянчилась, вырос — Тоня.

Сенька — другой. Брат, чтобы — брать.

Гроб опустили, и все расступились. Ольга подвела бабушку к яме. Ира взяла полную горсть влажного желтого песка и бросила вслед сестре.

Нас только... нас только я. Живу зачем-то.

Царица Небесная и впрямь все еще давала силы восьмидесятипятилетней рабе Божией и держала ее на этом свете для какой-то надобности: наверное, для того, чтобы дожидаться внучку.

Ольга слегла через две недели после похорон.

21

Перед этим несколько лет боролась с головной болью, которая имеет столько же причин, сколько способов лечения, и даже ухитрялась на какое-то время укрощать ее. Тем не менее, в победители не вышла, а сама борьба разрешилась долгой больницей.

Миновал Спас. На базаре продавались яблоки нового урожая, и бабушка искала Лелькины любимые, но не находила.

Купила букетик цветов и отвезла на кладбище, к сестре. После того как убрали засохшие венки и цветы, могила как-то опростилась и обрела будничный вид. Когда осел песок, мужчины — Юраша, Левочка и кто-то из Мотиных сыновей — бережно положили на место мраморный квадрат надгробия. Федя лежал справа, Тоня слева, как и было при жизни.

Галдели ребяташки, приехавшие из пионерских лагерей, галдели их озабоченные родители, с самого утра осаждавшие «Детский мир», и Лелька вернулась домой.

Вот какая ты стала, подумала бабушка, но оказалось, что подумала вслух, потому что внучка уткнулась ей в плечо головой с чуть отросшим «ежиком» и обхватила одной рукой за плечи (вторая, согнутая в локте, была подвязана платком): «Ласточка моя, не волнуйся. Это пройдет, это не навсегда; ты, главное, не переживай!»

Обритая голова была самой безобидной частью увечья. Внучка могла ходить, только держась за что-то здоровой рукой и волоча беспомощную ногу.

Не переживай... Попробуй переживи такое, бабушка.

Ольга легла в постель и сразу уснула. «Если бы вы заночевали у нас, бабушка...» — начал зять, как будто она могла бросить внучку. Заночевала, конечно, и осталась на следующий день, а потом еще. Делала пустяковую, никогда не иссякающую работу: вытирала пыль, мыла посуду, водила по доске утюгом, а потом складывала белье. Время от времени ездила домой или на базар, а потом спешила обратно, словно оставила без присмотра несмышлениша. Прошло несколько месяцев, прежде чем походка у внучки стала ровнее, а тонкая, слабая рука могла удержать чашку с кофе — и не пролить. В разговоры о лечебной гимнастике и масса-

же она начала вставлять слова «работа», «шеф», «полставки» и вскоре добилась-таки своего: стала работать дома.

Ирина никогда не оспаривала внучкиных решений, даже двадцать лет назад; сейчас тем более не имело смысла. Нахлынуло отчаяние — и отступило, обезоруженное простой мыслью: Господи! Спасибо, что жива.

В Рождество хотелось побыть дома, но дом встретил холодом и пустотой, а в сердце не было покоя. Встретила в моленной Тату, и они вместе пошли на кладбище. Знакомая тропка только угадывалась под снегом, но Ира ни разу не оступилась. Кладбище приобрело цвет савана, и ничто: ни шорох листьев, ни птичий гомон, ни переключка голосов — не нарушали торжественный, вечный покой.

Хорошо умереть зимой, подумала бабушка. Красиво!

Пришел Новый год, и был праздничный стол у Левочки и, конечно же, «Голубой огонек». Похорошевшая Алла Пугачева громко пела и трясла красиво растрепанной шевелюрой, держа микрофон, похожий на эскимо. И были подарки «от Деда Мороза», которые вручала Милочка...

Не было рядом сестры.

Нас только я.

Наступили крещенские морозы. О том, чтобы пожить дома, нечего было и думать. Потом, поближе к Сретению, думала бабушка. Пальмочка привыкла к новому месту, распушила ветки и выпустила несколько длинных перистых побегов.

Оказываясь дома, бабушка всякий раз собиралась положить в торбу будильник, но ограничивалась тем, что заводила его, держала, согревая в руках холодный металл, и... ставила на место. Понимала, что унести его отсюда — все

равно что снять со стенки и унести картинку с читающими дамами или свой большой портрет в овальной раме.

Хватит, что я живу на бивуаке. Пусть они остаются дома.

...Когда они снова стали жить вместе, Лелька не сразу привыкла заводить старый будильник: начинала крутить, но строптивый бантик оставался неподвижным, и она чертыхалась.

— В другую сторону, — напоминала бабушка.

— Почему?! Все нормальные часы заводятся наоборот!

Ах, как жалко, что она не знала своего деда! У каждого свои «часы», говорил Коля. Новый день беспомощен и слеп, как только что родившийся котенок, но ты заводишь часы — и в нем оживает память о вчерашнем. Обернуться назад — поворот против часовой стрелки, — чтобы ступить вперед. Помни то, что было утром, вчера, в прошлом году: время движется вперед, отталкиваясь от памяти. У него нет другой точки опоры.

Сказал — и улыбнулся: «Родная, я все придумал, в шутку. Я ведь ничего не понимаю в часах». Бережно отвел ее волосы и повторил в самое ухо, шепотом: «Пошутил».

Из двоих Аяксов шутником скорее был Герман — вернее, мог рассмешить любую барышню, сам того не подозревая, своей юношеской серьезностью, которая и была особенно забавна. А Коля — нет. Он сам признавался с сожалением, что не умеет шутить. И смеялся нечасто, только улыбался задумчиво.

Она любила его улыбку.

Волосы у внучки отросли. Седину она не закрашивала, отмахиваясь от советов подруг: лень, возни много. «Возни» и вправду хватало: дети, работа, дом... Бабушка по-прежнему жила «на бивуаке», то есть проделывала сложные челночные рейсы между обоими домами и базаром, стараясь избегать магазинных очередей. Поездки становились все труднее: не было сил.

Весной, говорила она себе, весной будет лучше. Однако весна затянулась, тротуары были скользкими и потому страшными, как никогда раньше, ибо глаза не различали, где обрывается асфальт, и нога вдруг оставалась без точки опоры, в которой нуждается даже время, что ж говорить о бренном человеческом теле. Все было серым, небо сливалось с туманом, а туман сгущался в сумерки. От промозглой сырости разбухали оконные рамы, двери открывались неохотно, будто ждали чаевых. Лелька на нее сердилась и кричала: «Зачем ты ходишь одна, я же сказала, что встречу!» Потом виновато садилась рядом и молчала, только целовала бабушкины руки. Ты будто не внучка, а кавалер какой, смеялась Ирина, хотя так уже давно сложилось, а смеялась, чтобы отогнать тревогу: у Лельки под глазами снова появились темные круги, а на столе — таблетки в крохотных желтых картонных пенальчиках. Она вытряхивала сразу по две и запивала водой. Пенталгин какой-то, вроде того, где гонка вооружений. Раньше люди ничего от головы, кроме пирамидона и цитрамона, не знали, а теперь тьма-тьмущая лекарств, а Лельке худо, хоть она твердит одно и то же: «Ничего страшного, пройдет. В общем-то, мне намного лучше. Ты, главное, не переживай».

Я только и делаю, что *переживаю*, горько думала Ирина. Почти всех пережила, один младший брат остался.

Симочка жил не то чтобы далеко от нее, но в стороне. После того, как Ванда уехала в Польшу, он совсем отстранился, не приходил и не звонил. Впрочем, он давно уже появлялся только у Тони. После ее похорон так и не виделись, хоть скоро год будет. А недавно Милочка обронила: «Дядя Сеня, кажется, приболел».

Нет, дернулось и замерло в груди, нет! Не может быть, чтобы Сенька... он самый младший. Поставила стакан с чаем, чтобы не расплескать, а невестка, не отрываясь от вязания, спросила: «Сколько ему уже?»

— Семьдесят четыре будет, — ответила бабушка, тщетно стараясь заглушить смятение в душе, но не выдержала, — а что с ним?

Милочка не знала — или делала вид, что не знает, и вывязывала ряд за рядом, внимательно глядя на мелькающие спицы. Берите печенье, бабушка.

«Ты позвони мне, когда узнаешь про Симочку», — попросила у сына, провожавшего ее на трамвай. По дороге и после, уже дома, убеждала сама себя, что ничего опасного у брата нет и быть не может, ведь он младший! В танке горел — и то остался невредимый, так сейчас-то что?!

...Левочка позвонил через неделю. Спросил, пойдет ли на похороны — погода, мол, тяжелая для сердечников; может, не стоит?..

Погода? — Не тяжелее, чем похороны брата.

Достала из шкафа большой черный платок, мамин еще, полностью покрывающий плечи, и встретила сына без слез.

Похороны были короткие и малолюдные. Яму быстро засыпали мокрым, как и всё вокруг, песком, и вскоре рядом с Мотиным надгробием вырос свежий холм: все, что оста-

лось от брата. Могильщики сновисто, почти весело, обхлопали лопатами горку песка, разровняли лишнюю землю и теперь с преувеличенной медлительностью отряхивали руки — ждали. Старший сын, похожий на отца крупным лбом и упрямым подбородком, но с тонкими, как у Ванды, чертами лица, рассчитался с работягами и пригласил родных «помянуть, выпить за упокой». Ирина отказалась, сославшись на пост, перекрестила могилу и пошла к выходу. Лева догнал: «Я провожу».

Они шли, почти не разговаривая, и молчание не напрягло ни мать, ни сына: оба не отличались разговорчивостью.

— Тайка была; ты видел? — спросила наконец Ирина, переводя дыхание между толчками сердца.

— Видел.

— Он... как Тоня?

— Нет, — Лева курил в сторону, но дым не улетал, а лениво висел рядом, у него за плечом, — у тети Тони рак был. А у дяди Сени цирроз.

— Что это — цирроз?

— Ну... с печенью что-то, когда отказывает. От водки.

— И ничего сделать нельзя было?

— Да пробовали; разрезали — и зашили. Сказали: поздно.

— До Пасхи не дожил, — одной рукой крепко держалась за сына, другой поправила платок, — жалко.

— А когда Пасха? — спросил не потому, что интересовался — интерес давно угас, — а чтобы сделать матери приятное, и она с готовностью ответила:

— Девятнадцатого апреля. Хоть бы уж скорее тепло стало!

— Скоро, — обещал сын и добавил: — Леле привет!

Вот и самого младшего брата пережила, а меня все еще земля держит. Скорее бы Пасха!

В этом году ждала великого праздника с особенным нетерпением — эта Пасха должна была стать очень важной. Ожидания бабушка не скрывала, но ни с кем не делилась замыслом, даже внучке ничего не говорила. Бывают мысли, которые нельзя облечь в слова, разве что наедине с иконами.

И снова — как мало времени прошло, а двоих уже нет на свете! — снова было замешено тесто. На этот раз помогал зять, а Лелька с детьми разрисовывала яйца. Ирина замесила вдвое меньше, чем обычно: нужны были силы для другого, а где их взять в восемьдесят шесть лет?

Правда и то, что ничего нельзя делать вполсилы: сколько вложишь, столько и получишь. Пасочки выпеклись лучше, чем в прошлом году, но все же не такие, как бывали прежде. Правда, и печали, как в прошлом году, Ирина не чувствовала: вкусные — и слава Богу! Что-то кончается, уходит навсегда. Может быть, она утратила многолетний навык, как знать?

Еще не было пяти, а бабушка заторопилась:

— Поеду. Мне домой надо, переодеться перед моленной.

Дома, наоборот, собиралась безо всякой спешки и тщательно: апрель — обманный месяц, не застудиться бы. По старому календарю сегодня только пятое, да март вон какой холодный стоял. Строго осмотрела себя в зеркало: темно-серая юбка — последнее, что глаза позволили сшить, — любимая сиреневая вязаная кофта, невесткин подарок; пальто, туфли. Надела — и засомневалась: рановато в туфлях, ноги застынут. И сама же возмутилась: на Пасху — в сапогах?! Шелковый кремовый платок аккуратно проложила изнутри шерстяным: так теплее, а снаружи не заметно.

С трех сторон плыл в вечернем воздухе благовест, но бабушка была убеждена, что в моленной он звучит иначе. Свой, особенный звон, какого больше не услышишь нигде, и хор тоже особенный. Раньше во время праздничной службы она негромко подпевала и вдруг осознала, что и сейчас поет: чуть слышно, в какую-то долю голоса, исчезнувшего два года назад; а она уже забыла. Теперь вспомнила, но петь не перестала; да никто и не услышит...

После крестного хода люди (те, кто пришел не молиться, а полюбопытствовать) стали расходиться. Свечи, истаявшие до прозрачных шелковых лепестков, заменяли новыми. Они послушно загорались крохотными огоньками, а свечник быстро и ловко брал из связки новую, зажигал, крестился и переходил к следующей иконе. От праздничного сияния алтаря невозможно было отвести взгляд.

У всех на глазах и вместе с тем незримо вершилось таинство: рождался новый день. Рука, не знающая усталости, завела часы. Начинался день Воскресения. Хор запел быстрее, торопясь сообщить об этом миру. В настезь раскрытые двери входили люди и шли к длинному столу в центре, куда ставили куличи для свячения. Тот, кто сегодня обрел бессмертие, едва ли мог вообразить, что Его скромная вечеря с опресноками превратится в роскошное пиршество, в буйство хлебной плоти — той, что сегодня с трудом умещается на столе в храме. Высокие окна постепенно светлели. Вот стали видны переплеты — и вдруг зажглись воскресшим солнцем. Сгоревшие, как вчерашний день, свечи опять заменили новыми.

Перед тем как погаснуть навсегда, свеча вдруг вспыхивает ярче, и пламя вытягивается ввысь, покачиваясь от послед-

него усилия и растягивая тени; они задрожали и легли прямо перед бабушкой на мозаичный каменный пол. Подняла глаза — и узнала мать с отцом и всех троих братьев. Слева стоял муж. Он держал за руку сынишку, в новом матросском костюмчике, другая рука лежала на Тайкином плече.

Диво какое, изумилась Ирина, радостно вглядываясь в знакомые силуэты, какое диво! А это кто же, рядом с Тайкой, никак?.. И догадалась прежде, чем узнала внучку; один белый чулок с кисточкой сползал...

А сестра? Ах, да: сестра с Федей наверху. Нет: вот они, рядом с мамой! Как странно, подумала уже без удивления, а только с радостью, вот мы опять все вместе! Между матерью и отцом стоит невысокая девочка с длинными, до пояса, волосами; кто?.. — и узнала себя. Как же? ведь мое место рядом с Колей; вот я.

С ним — и с ними.

*Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть поправ! —*

пел хор, она тоже тихонько пела вместе с ним, а солнца стало так много, что огоньки свечей растерянно замигали и сделались прозрачными; тени исчезли, а с ними исчезли и те, кому они принадлежали.

Как странно, Ирина улыбнулась, хотя давно уже ничего странного в происходящем не видела, — так и должно быть, я ведь одна стою за всех.

Людей, веселых и нарядных, становилось все больше. Кто осторожно, кто небрежно обходил маленькую прямую фигур-

ку... не старушки, нет — бабушки, стоявшей ровно, со сложенными на животе руками. Она подняла взгляд от пола — она помнила эту каменную мозаику с раннего детства, а ничего больше на полу не было, и теперь смотрела прямо на распятие, безмолвно повторяя — что? Все освященные традицией слова уже были произнесены, но она боялась, что самое главное сказать не удалось, и теперь в канонические обороты вливались простые слова. Никто не слышал этой молитвы, кроме Того, Кому она была адресована.

От себя и от всех, за кого одна стою, молю Тебя: дай силы рабе Божией Ольге, внучатке моей! Спаси, Господи, помилуй и сохрани! Возьми мою душу грешную, только позволь отмолить внучатку мою. А потом возьми. Ты, дающий жизнь, даешь и хлеб наш насущный; рука Твоя не оскудеет, потому и прошу: дай здоровья рабе Божией Ольге! Когда она в больнице лежала, отмолила я ее у смерти, милостию Твоею отмолила. Неисповедимы пути Твои, Господи; так ведь и милости Твои неисчислимы. Ты, смертью смерть поправший, спаси и сохрани ее от немощи!

Домой не шла — летела. Оказывается, так бывает не только в юности и в книжках — так случилось ранним пасхальным утром с бабушкой меньше чем за неделю до ее восьмидесят шестого дня рождения. Явление полета объясняется просто: от многочасового стояния ноги совсем окоченели и, как в моленной не чувствовали холода каменного пола, так сейчас не ощущали под собой тротуара, а несли по привычке или по инерции. Наверное, кто-то незримый охранял ее все еще не старческий шаг, потому что не споткнулась, не упала, но невредимой одолела весь путь — не домой, нет, а до кладбища, где должна была по-

здравить со Светлым Праздником всех живых и мертвых, за кого отстояла всю ночь.

Пришла одной из первых, и это было хорошо. Потом народ повалит толпами, и могилы покроются разноцветной яичной скорлупой, точно осколками разбитого сервиза. Громкие голоса заглушат звон апрельского утра, а когда люди разойдутся, птицы начнут склевывать желтые ароматные крошки, кося блестящим круглым глазом на голые кусты, где валяются пустые водочные бутылки.

...Сразу бросилось в глаза, что могил больше, чем собравшихся родных. Пришли сын с невесткой, несколько племянников и внука. Похристосовались, разговелись — и замолчали. Не хватало Тони, бессменного режиссера всех семейных застолий. Всеми овладела какая-то грустная неловкость, и только Левочка с Юрашей независимо курили за изгородью — не оттого, что хотелось курить, а просто говорить было не о чем. «Поехали к нам, Ласточка!» — предложила Лелька, и бабушка без колебаний согласилась. Немного кружилась голова, и хотелось скорей попасть в тепло, выпить горячего чая.

Этот день, родившийся на ее глазах, весь прошел в состоянии счастливой отрадной усталости. Горячий чай (вприкуску, как всегда) помог согреться. Пасхи оказались вкусными, небо ясным и солнечным, и от бессонной ночи осталось только легкое головокружение, да временами проходил озноб по спине, несмотря на вязаную кофту и шерстяной платок. Уснула рано, а ночью проснулась от жажды. Хотелось пить, но не чаю, а воды, холодной воды. От воды озноб усилился, но бабушка только улыбалась: это разве озноб?

Вот когда малярия была, тогда трясло по-настоящему. От радости за все сразу: что сейчас не война, не голод, а покой, уют, тепло и праздник, она задремала.

Утром, когда проснулась, выяснилось, что и озноб проснулся вместе с нею. Першило в горле — от холодной воды, не иначе; першило и царапало. Голова была тяжелой, и бабушка попросила: «Ты, Леля, разбуди, если присну немножко, а то в моленну опоздаю», — и с наслаждением вернулась в теплую постель.

Ольга осторожно заглянула через час, но будить не решилась: бабушка улыбалась во сне, как улыбаются дети. Потом закашлялась, открыла глаза: «Что ж ты не разбудила меня? Так и Царство Небесное просплю», — и откинула одеяло.

— Потому и не будила, что не нравишься ты мне. Ночью кашляла, и сейчас.

— Вот те на! — Бабушка на ощупь закалывала свою любимую янтарную брошку. — Всегда нравилась, теперь разонравилась! Помоги, Лелечка, не вижу ничего.

— Как доктор скажет, так и сделаем. — Внучка заколола строптивую брошку. — Меня не слушаешь, послушай врача.

Когда она успела позвонить? И как получилось, что докторша появилась так скоро? Славная: лицо румяное, обветренное, и улыбка такая простая — не скажешь, что докторша, баба и баба. Она внимательно прослушала бабушку и села выписывать рецепты, все еще улыбаясь, но больше по привычке, потому что не было причины улыбаться по-настоящему.

Пневмония. Антибиотики, витамины. Давайте лечиться, бабушка.

Возражать, даже если б силы оставались, было нечем: последний голос пропал, в горле точно опилки насыпаны. Смирившись с неизбежностью, Ирина снова прилегла, и хоть давилась глухим стариковским кашлем, проспала бы до завтра, да внучка заставила пить таблетки.

Когда у Любимчика была пневмония, то натерпелась страху. Так то малый, а я уж старая.

Оказывается, именно в этом крылась главная опасность, о которой врач предупредила Ольгу: возраст преклонный — дай Бог нам всем, как говорится, — но у вашей бабушки «история» сложная: инфаркт, гипертония. Старики — хрупкий народ; опять-таки, весна... Пневмония может спровоцировать криз; следите за давлением.

Как странно, думала Ирина, я точно маленькая. Ее трогало до слез озабоченное Лелькино лицо, когда она обматывала ей предплечье широкой манжеткой, а потом накачивала воздух. «Как в парикмахерской, — смеялась сквозь кашель, — ты еще одеколоном брызни!»

Миновала Чистая неделя, но бабушка знала: если бы и нашлись силы уйти домой, не ушла бы сейчас, когда Лелька так истово отвоевывала ее у болезни, не ушла бы и потому, что сама отмаливала внучку — третье свое нежданное дитя — всю Святую ночь.

Болезнь проходила тяжело, а болеть — вот так, в уюте и внучкиной заботе — было почти сладко. Бабушка закрывала глаза и моментально оказывалась в получасе езды и восьмидесяти годах отсюда, в маленьком домишке на Калужской улице, где она тоже болела, и самым страстным желанием было пробежать босиком по прохладному полу к печке, что-

бы прижаться горячим лицом к холодному кафелю: сначала одной щекой, потом другой. *Бабуся, градусник.* Как хорошо: холодный! Верно: бабушка здесь, у нее большая, мягкая рука. *И таблетку, Ласточка; сядь, запить надо.* Внучатка моя. Я сама бабушка. А печка кафельная не там, печка на Московской. Там никого сейчас, только цветы.

И часы, которые некому завести.

Засыпала снова и видела деревянную лошадку, которую папа сделал для маленького Моти, а Андрюша плачет, оттого что мама не позволяет с ней играть. Ирочка жалеет брата, но оказалось, что плачет кто-то другой, потому что слышен внучкин голос, и плач смолкает. Где-то играют на пианино. Значит, они с мамой и папой живут на взморье, а пианино на той даче, где днем играют в крокет. «Тебе не надо так много спать, — это опять Лелька, — врач говорила, что надо побольше двигаться, чтобы легкие дышали как следует».

Как объяснить невыразимую прелесть прошлого? Болезнь не мучила бабушку, а если и мучила, то щедро откупалась подробными, красочными и бесконечно дорогими сновидениями.

Пневмония кончалась вместе с месяцем маем. Хотелось скорее домой. Витамины можно и дома пить, ворчала она.

Значит, выздоровела.

... Чувство дома, обостренное болезнью, долгим отсутствием и тоской, сжало сердце, как сжимает при встрече руку старый друг, радостно и сильно, и долго не отпускало. Радость возвращения была окрашена виноватостью перед смолкшими будильниками, перед цветами — на растрескавшейся корке земли валялись сухие листья — перед запыленны-

ми слепыми лампадками. На стенке пустого стакана острым клином, как перелетные птицы, застыли сухие чайники. Вина ощущалась тем сильнее, что вещи не упрекали, смирившись с «бивуаком» и с жизнью без хозяйки. Старый будильник опять стал безропотно отстукивать время, только звук изменился, словно кто-то сокрушенно цокал языком.

Уснуть долго не получалось: отвыкла от тишины. Ветра не было, ночь казалась совсем летней. Напротив окон темнели липы. Бабушка помнила их тоненькими деревцами. Должно быть, их сажали одновременно с теми, около школы.

Как четко видится минувшее, особенно детство! Девочки тогда носили поверх платья передники; Ирочка тоже носила, и до сих пор пальцы помнили застежку. Над входом в школу висела икона. Азбука — главное потрясение от первого класса — была с красивыми картинками, а теперь ни предметов тех, ни картинок не сыскать: *верста* с полосатым столбом; рогатый, как и полагается, *ухват*; *ямщик* в высокой деревенской шапке... Первое стихотворение, про Степку-Растрепку, выучила на слух. Высокий, статный батюшка ласково гладил по голове тех, кто отличился на уроке Закона Божьего, и всех, первых учеников и двоечников, ласково звал: «Чадо мое...».

Слова «чадо» и «чудо» похожи. Чудо, извечное и всегда вызывающее изумление: *чадо*, ребенок. Он растет и становится взрослым, как тонкие саженцы превращаются в большие деревья. Судьба дерева в руках человека: он может сломать юную березку на веник для бани или спилить раскидистый клен, чтобы тот не застил свет, а потом спокойно проходит мимо пня, порой и несколько раз на дню; человек может посадить дерево — положить начало лесу. Странно

ли, что человек может погубить дерево, если люди убивают себе подобных?

Убивают, и убитые остаются лежать под деревьями, в лесу.

Теперь, когда болезнь позади, снова мучительно потянуло в тот лес, где Коля. Хорошо бы в конце лета, когда вереск цветет, — они с Колей так любили вереск! Или пораньше — неизвестно, что с тем лесом произошло за столько лет. Все меняется, по всей стране. Игорь Кириллов что ни день повторяет: «Перестройка во всех сферах хозяйственной и политической жизни». А там какое-то хозяйство и было; Бог знает что с лесом могут сделать. Настроят высоченных домов, люди и знать не будут, что — на костях.

Надо спешить.

Сколько его осталось, моего времени? Эта мысль и мешала, и торопила: *можно не успеть*.

Бабушка спешила. Если знаешь зачем, можно успеть очень многое. Бивуачная жизнь, к которой она вернулась, позволяла принести внучке в дом «пару пустяков», как она сама скромно именовала свои магазинные трофеи. Отдохнуть на тахте, уже привычной, а потом сесть за кухонный стол, чтобы долго и тщательно чистить овощи, принесенные зятем из магазина, хотя по виду — прямиком с колхозных полей, со щедрым гарниром липкой земли. Руки после чистки темнели, как у землекопа, и, чтобы вернуть им нормальный вид, бабушка мыла посуду. Лелька сердилась, выхватывала мокрую скользкую тарелку, и обе долго горячились у раковины под укоризненное журчание воды.

Жизнь, беспардонно нарушенная пневмонией, вернулась на привычное место, как рука в послушную перчатку.

С одной странностью: старый будильник начал отста-
вать. По правде говоря, удивительно было, что он вообще
работал и даже показывал время с десятиминутным опере-
жением. Бабушка так привыкла к этим запасным минутам,
что теперь при заводе стала переводить стрелки вперед на
десять, а то и на пятнадцать минут.

Будильник выводил ее на чистую воду.

Ладно бы только это, однако он взял моду отставать — на
те же десять минут, что характерно. Получалось, что рань-
ше он выдавал хозяйке немножко времени авансом, а потом
стал регулярно удерживать то же самое количество.

Налог на старость?

Впрочем, все это — игра воображения. Ежу понятно, как
выражались внуки, что будильник — старое барахло, а если
уж так ей дорог, то надо отнести в мастерскую и почистить.

Посмеялись-посмеялись, а кончилось тем, что сын при-
нес ей новехонькие часы. Будильник.

— Вот, держи. Его и заводить не надо.

— Как — не заводить?!

— Та-а-ак, — передразнил, — он на батарейках. А рух-
лядь эту выкини.

Так я вас и послушалась. Этот будильник Коля принес
в самую первую их квартиру. И с ним расстаться?!

Теперь под лампой у бабушки стояли целых три будиль-
ника — любопытная интерпретация «Трех богатырей» —
и тикали на три голоса.

Пусть отстает, нам некуда торопиться. Вот только успеть
бы в лес...

И время замедлило торопливый бег, как сердце после та-
блетки задерживает свой утомительный галоп и начинает

биться ровно и спокойно. Может быть, это и есть пульс жизни? Исчезли темные круги у внучки под глазами, а с ними пропала надобность в таблетках. Она ходила быстро, почти ровно и даже пробовала кататься на велосипеде. Теперь ехать с ней в Колин лес было совсем не страшно. Наоборот, никак нельзя было ехать одной, с ее-то глазами.

Вернее, без глаз.

Лелька не задавала вопросов, кивнула и согласилась. Дети были на даче; на работе затишье — лето есть лето, половина сотрудников в отпуске, вторая половина завидует первой: одни курят на лестничной площадке, другие делают маникюр. В перерывах работают. Вот дожди кончатся — и поедем.

В ожидании солнечной погоды — хотелось, чтобы день был таким же ясным, как тогда, в первый раз, — Ирина ночевала «на бивуаке». Ночью понадобилось встать. Тихонько, стараясь не шаркать, открыла дверь комнаты, но ушла недалеко, потому что вдруг не стало ног. Слабо крикнула: «Леля!..» — не разбудить, а от страха. Зять вскочил и подмышки отволок ее, внезапно отяжелевшую и неловкую, назад в постель, и «скорая», никого не будя пронзительной сиреной, подкатила к дому с двумя горящими окнами.

Инсульт не зря называют «ударом». Бабушка была в полном сознании и сама объяснила доктору: под колени ударило, будто качели отпустили; только совсем не больно. Один мерил давление, другой записывал, что говорила Лелька, а третий наполнил шприц и уже выпустил вверх тоненький фонтанчик.

Так, наверное, рубят деревья, подумала Ирина, засыпая. Значит, им тоже не больно. Просто падают и больше не встают.

Бабушка встала.

Уже день — нужно спешить; скорее. Быстро нащупала тапок, сунула ногу. Второго не нашла, да и Бог с ним. Не вышла — выбежала из комнаты и нетерпеливо дернула входную дверь.

— Бабуся, — бросилась следом внучка, — куда ты?

— Скорее, Лелечка, меня Коля ждет, — замок наконец поддался.

— Ласточка, дождь на улице; куда ты? И как ты в халате, без сумки...

— Так что — дождь? Меня Коля позвал, он меня дома ждет! А ключей... ключи-то у меня, у него нету! Пусти, не держи меня!..

Отпустить Ольга не могла — и удержать тоже не могла: бабушка рвалась с неистовой силой.

— Я его сейчас видела, Колю, — объясняла торопливо, — он домой вернулся, слышишь? А я — тут! И ключей у него нету!

Коля сказал, что будет ждать дома; он поднимался по лестнице, Ира видела, и за это время надо было добежать, чтобы встретить, обнять — и никогда больше не расставаться!..

Ее удерживали втроем: Ольга с дочкой и свекровь, которой случилось зайти в гости. Изловчились захлопнуть дверь и накинуть цепочку.

И бабушка поняла: не успеть.

Горький беспомощный гнев, пылающий румянец, а потом тихий, безнадежный плач — все это досталось Ольге. Бабушка видела, как захлопнули дверь и набросили цепочку. За дверью остался Коля, запах сосен и вереск, который они так любили! — а рядом сидела внучка и говорила не-

нужные слова. *Надо одеться и причесаться, выпить чаю, и тогда мы с тобой вместе поедем, вот увидишь.*

Поздно. Коля больше не придет. Как она не понимает, Господи!

Нет, это не конец, но начало конца, о котором не хочется — и очень трудно рассказать.

Можно отложить книгу, не дочитав, но нельзя не дописать. Жизнь прожить — не поле перейти, как уверяет пословица, но чему уподобить прожитую жизнь, не говорит. Вон они стоят, прожитые жизни, за стеклом книжного шкафа. Бывает, что хочется взять чью-то хорошо знакомую жизнь — и перечитать снова, хотя знаешь, как больно станет от последних страниц.

Больше таких ошеломительных эпизодов не случилось. Бабушка, тихая и слабая, точно все силы ушли на попытку бегства домой, лежала и радовалась, что Лелька рядом. В лесу давно цвел вереск, но туда уже не попасть.

Как не попасть и домой, где так уютно читают свою книжку неутомимые дамы, а будильник больше не отстаёт, потому что остановился.

Пальмочка заскучала, и несколько веток пожелтели, словно принадлежали каштану за окном, а не домашнему внесезонному деревцу. Любимчик сколотил и принес новехонькую кадущку, куда и пересадили капризную пальму, похожую на упругий зеленый фонтан. Засохшие ветки Ольга аккуратно срезала и повернула кадущку так, чтобы бабушке не было видно желтизны с другой стороны.

Никто не знал, помнила ли она о странном видении; об этом не говорили.

Она была в полном сознании, только очень слаба. Часто засыпала, а открыв глаза, видела рядом внучку.

— Я хочу, чтобы ты вот так что-то делала около меня, а я бы тогда и умерла.

Слова прозвучали мечтательно, и Ольга поняла, что смерти она не боится.

— Не говори так... — начала, не зная, что скажет дальше, но бабушка помогла:

— Пора мне, Лелечка. Меня ведь там уже заждались. А здесь все равно больше не успеть, Господь меня простит.

И только теперь рассказала, как ездила в больницу («А мы, идиоты, думали, что она ничего не знает...»), как ждала ее и как отстояла всю Пасхальную ночь. «Ласточка моя», — внучка сидела рядом, гладила загорелую руку с тонкой-тонкой кожей и вспухшими суставами, но ничего, кроме одних и тех же слов: «Ласточка моя», выговорить не могла.

Как хорошо, думала бабушка. Какая я счастливая!

Сейчас Лелька посмотрит на часики, вскочит и побежит за таблетками. Носится, как носилась раньше, до больницы — и хоть бы хны! Рука совсем хорошая стала, а то висела подбитым крылышком, газету не могла взять со стола.

И как раньше явилось откуда-то слово «бивуак», так сейчас память подсказала: *отпускная грамота*. Теперь — пора.

Нельзя жить бесплатно.

Другие это поняли раньше. Надя, цветущая и крепкая, с брусничным румянцем, не от того умерла, что работала на вредном производстве, а молоко сберегала для детей; вовсе нет. Больше всего на свете Надя хотела квартиру; получила — и умерла. Выкупила своей жизнью, а не взносом в кооператив.

А Тоня, Тоня за что? Ведь Тата с Юрашей уверены, что, не носи мать сумки с ядами, так жила бы вечно! Как они не понимают, что яд был не в сумках... Если бы сестра не пошла работать, тот яд убил бы ее намного быстрее. А теперь в доме мир и тишина, столовая опять столовая; и невестка благостная, и зять за ум взялся...

Брат? — Брат выкупил свое достоинство и покой, потому и ушел так рано.

Колина *отпускная* кровью была написана, кровью и слезами.

Как странно, думала она, не замечая, что из глаз медленно текут слезы, прямо в подушку. Как странно: умершие оставляют нам свою недожитую жизнь, мы подхватываем — и живем уже не только свою, но и жизнь тех, кто ушел, только не так, как она могла бы сложиться, — кому ж это ведомо? — а так, как свою собственную, останься они с нами. Мы продолжаем с ними разговаривать, и не только разговаривать — советоваться, спорить, и ждем, что вот-вот откроется дверь — и войдет...

А ведь это я — выйду, вот как. Тогда и договорим.

У болезни свои законы. Они распоряжаются человеческой жизнью, хотя ничего не знают о ней. Перед тем как окончательно распорядиться бабушкиной жизнью, то есть передать ее в другое ведомство, insult давал короткие передышки. Тогда она медленно и с наслаждением выпивала стакан чаю вприкуску, заходила в детскую и вешала в шкаф школьную форму, а потом медленно двигалась назад к постели. Никто не знал, что принесет следующий день; шел ноябрь.

Каштан за окном облетел. Пальма больше не давала новых побегов; Ольга срезала еще несколько засохших ветвей.

Между подушкой и валиком тахты у бабушки стояли фотографии родителей, Максимыча и Матрены, и она молча смотрела на них, пока не засыпала. Тогда Ольга вставала из-за письменного стола и на цыпочках выходила.

Бывали дни, когда они подолгу разговаривали, и это было самое хорошее время.

И — самое печальное.

Померив в очередной раз давление, внучка улыбнулась:

— Скоро выйдем с тобой погулять!

— Я не встану больше, Лелечка, — бабушка погладила ей щеку. — Вот сыночек придет, попрощаюсь с ним. Кто знает, сколько дней мне Бог еще даст...

И стало не нужно больше лукавить, можно было молча сидеть рядом, смотреть в любимое морщинистое лицо и целовать родные руки.

А еще стало можно спросить о том, что давно мучило Ольгу:

— Скажи, Ласточка: ты хочешь с Таечкой увидеться? Я могу узнать, где она живет... Ты скажи только: хочешь?

Бабушка отпрянула в испуге:

— Нет! Не надо, не пускай ее сюда, Боже сохрани!..

Знать бы, какой панический страх вызовет вопрос, не стала бы спрашивать. Однако Ольга опасалась, что Тайка узнает о состоянии «матушки», заявится сама, и как себя вести в случае этой немой сцены, было совсем не понятно. Однако все изнурительные предположения оказались не нужны: Тайка не появлялась.

— Мама!

Ольга вбежала в комнату. Бабушка лежала с закрытыми глазами и медленно водила головой по подушке, жалобно повторяя: «Мама! Мама!..»

— Здесь твоя мама, Ласточка. Вот фотографии, и мамы, и папы. Попить хочешь?

— Мама... — Не открывая глаз, бабушка улыбнулась, — не уходи, мама.

Это походило бы на игру, если бы не было еще одним флажком на карте инсульта.

Первое слово ребенка, осторожно трогающего мир, стало последним бабушкиным словом. Отныне она звала внучку не по имени, а — *мамой*.

Следующий удар лишил бабушку последнего слова. Теперь она только стонала.

Новый Год пришел, как не вовремя и некстати приходит случайный гость. Через неделю наступило Рождество, но бабушка об этом не ведала, а значит, и Рождество не считалось, потому что Рождество без бабушки — все равно что незажженная елка в Новый Год.

И все же Рождество сияло по вечерам в окнах разноцветными огоньками на елках, доживающих свой праздничный век, а днем продолжало сиять ослепительным холодным солнцем. Бабушкины глаза были закрыты, и не нужно было задерживать занавески, как стало не нужно поворачивать пальмочку зеленой, пышной стороной к постели, тем более что, если немного зелени еще оставалось, то о пышности говорить не приходилось.

Собаки и кошки умирают у одра хозяина; пальма тоже умирала долгой и мучительной смертью.

Как бабушка.

Она жила, хотя дыхания не было слышно, а только стон. Иногда стон затихал, и она лежала, погружаясь в никому не ведомые глубины. Тело, истончавшееся на глазах, давно не принимало ни еды, ни даже питья, кроме капель воды, которые оставались на смачиваемых губах. Едва слышно отзывался пульс.

В детстве Ольга прочитала в какой-то восточной сказке: «Отец простился с сыном и ушел туда, откуда не возвращаются». Да, *оттуда* не возвращаются; возвращаются *туда*. Смерть — это и есть возвращение.

В доме звенел будильник; стучали дверьми, топали у порога, сбивая снег; говорили по телефону, что-то роняли — бабушка не слышала. «Ну, заяц, погоди!» — кричал под веселую музыку волк в мультфильме, и дети смеялись, — бабушка не слышала. На экране корректный Игорь Кириллов рассказывал о новостях, так доброжелательно глядя на зрителей, словно был уверен, что бабушка тоже смотрит на него. Но бабушка не слышала о достижениях перестройки и ничего, кроме своей боли, не чувствовала; лицо было напряженным.

Боль ушла, оставила навсегда на рассвете 11-го января. Бабушка лежала улыбаясь, и утреннее солнце падало на еще теплое лицо.

Это не смерть, нет! Бабушка не умерла — она вернулась, и поэтому улыбается. Ласточка, наконец-то тебе не больно...

А смерти не было, просто не было! Ольга радовалась, как радовался человек из только что перечитанной жизни; но только сейчас она поняла его полностью. Действительно, не было. Инсульт — был, муки смертные — были; была даже панихида, и Ольга впервые в жизни увидела бабушку в моленной улыбающейся. Было и погребение; но смерти — не было!

Бабушка вернулась, — вот почему она не разрешила плакать на своих поминках: «Я хочу, чтоб весело было, чтобы вы песни пели, а я послушаю...»

И я не умру, Ласточка, никогда не умру. Я состарюсь и тоже стану бабушкой. Буду так же неистово и нежно любить внучку — или внука? И пусть они зовут меня бабусей. Или бабушкой Лелей.

А потом я вернусь к тебе.

Литературно-художественное издание

Елена Александровна Катишонок

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

роман

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Ирина Машковская

Подписано в печать 26.09.2010.
Формат 70x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 17,5.
Гарнитура Charter. Печать офсетная.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 750.

«Время»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25
<http://books.vremya.ru>
letter@books.vremya.ru
(495) 951 55 68

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>
book@uralprint.ru

ISBN 978-5-9691-0590-4



9 785969 105904

Елена Катишонок



ПРОТИВ
часовой стрелки

2008
Kalyush V.J.

роман